

Апрель' 2025

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Издается с января 1958 года

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Иван ПЛОТНИКОВ. Но это только эхо... <i>Стихи</i>	3
Яна ЖЕМОЙТЕЛИТЕ. Перстень волхва. <i>Повесть</i>	7
Анастасия ВОЛКОВА. Деревья сгорели в парке. <i>Стихи</i>	68
Саша НИКОЛАЕНКО. Любимый город. <i>Рассказ</i>	74
Богдан БЕЙК. Стихотворения из цикла «Тысячептичник»	79
Александр ЛИВЕНЦОВ. Во всём чистом. <i>Рассказы</i>	83
Александр ГРИГОРЬЕВ. Я возьму бытовой поджанр... <i>Стихи</i>	99
Константин АБАЕВ. В поисках серебряной пыли. <i>Рассказы</i>	105
Петр ВОРОТЫНЦЕВ. Концерт. <i>Рассказ</i>	132
Артем МОРС. Остановить, обнять, запеленать, приклеить... <i>Стихи</i>	139
Филипп РЕЗНИКОВ. Поэма о старом доме. <i>Рассказ</i>	143

ДРАМАТУРГИЯ

Николай КОЛЯДА. Сарафанное радио. <i>Комедия в двух действиях</i>	153
---	-----

ПОЧТИ БЕЗ ВЫМЫСЛА

Александр КЕРДАН. Роза ветров

183

БЕЗ ВЫМЫСЛА

Андрей ПОПОВ. Слон и Ельцин

193

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Кирилл ЯМЩИКОВ. Всё хорошее быстро горит.

Ностальгия как метод

200

Павел ГЛУШАКОВ. Литературные отражения. Из записей и выписок

209

ТОЛСТЯКИ НА УРАЛЕ: ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА

Елена САФРОНОВА. Призрак во плоти.

Геннадий Воронин. В шкафу: Повесть. — «Знамя», 2024, № 12

219

Владислав ТОЛСТОВ. Уходим под землю.

Игорь Воеводин. Раскопки: Рассказ. «Дружба народов», 2025, № 1

221

Александр РЯЗАНЦЕВ. Простые, страшные слова.

Лидия Слонимская. Блокада. — «Звезда», 2024, № 8, 9, 10, 11

223

Станислав СЕКРЕТОВ. Отрывки памяти.

Яков Гордин. Взгляд и нечто. — «Звезда», 2024, № 1, 3, 5, 7, 9, 11

225

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ

Сергей СИРОТИН. Будни каллиграфа.

Ито Огава. Канцтовары Цубаки

227

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

С.В.С. Побочные эффекты.

Субстанция (2024). Реж. Корали Фаржа. Великобритания, Франция, США

230

СЛОВО И КУЛЬТУРА

Андрей ПЕРШИН. Цветущая древность

233

Иван Плотников

Но это только эхо...

На ночь глядя видишь больше,
если смотришь далеко, —
темнота края полощет,
словно двигает рукой

и едва перемещает,
что оставит за спиной.
Солнце землю освещает —
тень становится иной.

Глядя на ночь, не заметим
её тёмные следы,
только солнце ярко светит
за спиной у темноты.

Вскрывая подземные реки,
мы видим глубинную связь.
Она была скрыта навеки,
при свете она прервалась.

Вода наполняет озёра
и переполняет порой.
Когда не открыта для взора,
мы слышим её под землёй.

Иван Плотников (1993) — окончил институт иностранных языков Уральского государственного педагогического университета (специальность — английский язык). Аспирант УрГПУ. Работает учителем в школе. Печатался в журнале «Урал». В 2021 г. стал лауреатом премии им. Александра Верникова «За молодую зрелость». Живет в Екатеринбурге.

И весело и сухо
Земля шумит в ушах.
A. Тарковский

Врастают корнями в бумагу
концы кириллических букв,
когда заменяющий влагу
и надфонетический звук
подземной становится речкой,
бегущей сквозь каждый зазор.
И то, что казалось засечкой,
однажды сломает топор.
Легко разошлись под ногами
растений больных вензеля,
когда, отзываясь корнями,
в ушах зазвенела земля.

Так в дыханье человека
виден пар его речей.
Кровь земли в подземных реках
с холодами горячей,

чтобы тёмное движенье
продолжалось подо льдом,
и вода без отраженья
обретала прежний дом.

Или белый — цвет свободы
и для слов даёт размах,
или воздух — кровь природы —
остывает на губах.

или свет заполняет дыхание,
если пар изо рта в холода.
обращается чувственным знанием
обращённая в воздух вода.

или знание в поисках формы
обретает дыханья черты,
если в воздухе мысли просторно
повторять опыт теплой воды.

или нам невесомый подарок
в утешение шлют холода.
мимолётно свечение пара,
постоянно свечение льда.

Начало месяца, и чёрная луна
чёрна от солнца, поднимая веко,
берёт разбег, но так ещё сильна
борьба меж тьмой зимы и светом снега.

И глаз привыкнуть пробует с трудом
то к темноте, то к свету, а хрусталик
луны кружит, не думая о том,
что кружит человечий календарик.

А эта буква не читается,
несёт на месте крест.
Но, может, что-то поменяется
от перемены мест,

перемещения по лестнице
до середины вверх,
и птица неземная встретится,
беззвучная для всех.

Что звезде невыразимо,
прозвучит в полтишины
и останется незримой
частью выпуклой луны.

Свет и тьму уравновесив
бледной утренней звездой,
небо прячет полумесяц
под изогнутой косой.

Холодной весной тоже пахнет черёмухой,
она за воздушную долю в борьбе
пробьётся едва из осеннего вороха.
А воздух горячий всё держит в себе —

и запахи лета, и птичье пение,
в тепле воздух чище и песня легка.
Но громче весною и запах растения,
и песня, чуть слышная издалека.

Не видно солнца, снег идёт.
По облакам рассеян
холодный свет, толчёный лед,
и к темноте сильней он.

Нам не оставить и следа
на ангельской дорожке,
свет опредмеченный всегда
оставит только холода
и тающую крошку.

Мне эхо отвечает по-другому
в лесу, а в городе ещё иначе.
И всё это не я, а лес и город
мой голос прячут, ничего не знача.

И странный диалог ведут пространства,
а человек — не больше чем прореха,
в которой свистом ветер отзывался
и звук разнёс, но это только эхо.

Яна Жемойтелите

Перстень волхва

Повесть

1

— А вот еще был такой случай, — Егор Баженов отправил в рот огурец и аппетитно захрустел, тяня паузу и нагнетая напряжение.

Егоровы гости насторожились: хозяин любил травить занятные истории. Кстати, и погода за окном располагала всякие страсти слушать: с полу дня ветер завывал, срывая с деревьев листья, еще не успевшие побуреть, а в доме на самой окраине городка печь жарко дышала живым огнем, и в трубе гудело так, что настоящая жуть брала. Ну и выдался денек в аккурат на Егоров день рождения. Благо что суббота: придется гостям заночевать у хозяина. Не вызывать же такси в такую непогоду.

— Мне баба Маня рассказывала. Она у меня в Заонежье выросла, в большой деревне, — неспешно продолжал Егор. — Наш дом до революции кулак Опрышкин построил, он в Гражданскую еще в Финляндию ушел и все хозяйство бросил. А прадеду моему как председателю колхоза этот дом выделили, и он всю советскую власть вроде неплохо жил...

— Ой, брось заливать! — встярл Колян, который в любой разговор норовил вставить свои пять копеек. — То-то колхозникам хорошо жилось на свои трудодни!

— Так он, говорю, председатель был! И вот бабушка рассказывала, что стала она плохо спать по ночам, хотя молодая была еще. Проснется часа в три, лежит, будто спички в глазах, а сердце так и ходит в груди. Тревога не понятная то есть.

— Валерьянку надо пить перед сном, — опять вклинился Колян. — А то еще пустырник заваривать, тоже помогает.

— Ну, про пустырник я не знаю, — продолжал Егор. — А только как-то мимо церкви шла и увидела на паперти бабку одну, типа блаженной. К ней все еще советоваться ходили...

— Так ты же говоришь, при советской власти дело было! — встрепенулся Ваня Захаров, который, порядком приняв на грудь, почти уже закемарил под стеночкой.

— Да! Сразу после войны, — ответил Егор. — Но церковь в деревне была, и люди ходили молиться. А бабушка, говорю, просто мимо шла. И

Яна Жемойтелите — родилась и всю жизнь живет в Петрозаводске. Окончила Петрозаводский государственный университет по специальности «финский и русский языки и литература». Работала преподавателем финского, переводчиком, заместителем директора Национального театра, главным редактором журнала «Север». В настоящее время — библиотекарь, директор издательства «Северное сияние», председатель Союза молодых писателей Карелии. Лауреат премии журнала «Урал» за лучшую публикацию 2013 года в номинации «проза».

вот подарила она той блаженной какие-то бусы и говорит: «Скажи, чего я не сплю-то?» А та как заорет: «Ночью придет мужик бородатый, а ты его топором!»

— Бородатый мужик придет? — усмехнулся Ваня.

— Да помолчи ты! — одернул Ваню Колян.

— Бабушка решила, что в дом ночью могут нагрянуть воры, — продолжал Егор, — поэтому стала спать с топором. Рукой сожмет топорище — так и засыпает. И вот однажды проснулась она среди ночи, а вроде кто-то в горнице ходит. Половицы скрипят, что-то с полки упало... Глаза распахнула — а в дверях мужик какой-то стоит. Это лунный свет в окошко проник...

— Ой, давай-ка еще по одной, — не выдержал Колян.

Егор разлил водку по рюмкам, друзья, дружно крякнув, выпили и, едва занюхав стопки, подготовились слушать дальше.

— Ну, она топор схватила и метнула его в этого мужика, — едва выдохнув, продолжил Егор. — И тут что-то треснуло и рассыпалось. Ночью баба Маня побоялась глядеть, забилась под стеночку, затаилась и боялась пошевелиться до самого утра. А когда очнулась — весь пол был усыпан царскими золотыми монетами. И еще на полу валялась очень красивая фарфоровая кружка.

— Фига се! — присвистнул Колян.

— А чего случилось-то? — спросил Ваня.

— А это топор угодил в стенку и выбил заслонку, за которой оказалась ниша. А в ней был замурованный клад. Его кулак Опрышкин припрятал, когда в Финляндию собрался тикать. Видать, думал еще вернуться. Ну, баба Маня была умная, поэтому клад властям не сдала. Зато все ее дети высшее образование получили и в городе обустроились.

— Иди ты! — присвистнул Ваня. — А как же она умудрилась эти монеты продать? При советской-то власти!

— Ну, видно, нашла лазейку. Говорю, умная была моя баба Маня.

— Не, я не понял, — уточнил Ваня. — А что за мужик-то ночью приходил? Зачем?

— А это, Ваня, клад ей явился. На кого клад заложен, тому и явится.

— Так это кто же на нее клад заложил? — опять спросил Ваня. — Кулак Опрышкин, что ли?

— Я так думаю, клад на сирот был заложен, — Егор почесал затылок. — Дед-то мой недолго прожил. Утонул на рыбалке, дети маленькие остались.

— А то бывает, клад в виде жеребенка является или петуха, — добавил Колян. — Ну, я про это читал. Правда, какие сейчас клады...

— А я вон специально металлоискатель купил, — признался Егор. — Весь огород обошел. Так, для начала. Попалась пара мельхиоровых ложек, видать, еще с советских времен. Да тут земля ископана до самой середки, даже неинтересно. Черви одни попадаются.

И он ненадолго замолчал, погрузившись в себя и воспоминания ушедшего лета.

— В основе любого кладоискательства, Егор, — высказался Колян, — лежит извечное стремление к легкому обогащению.

— Так а чего такого? — встрепенулся Егор. — Сколько на государство ни паши, а богаче не станешь. Мне вон дом бы достроить да баньку во дворе.

— Пить вообще надо меньше, — заключил Ваня. — Вот так решишь сто грамм пропустить, а в результате пол-литра хряпнешь!

— Да что там водка! — возмутился Егор. — На водку денег не жалко. А вот хорошую вагонку достать — уже репу чешешь. Потому что доска подорожала раза в полтора. Не разбежишься.

— А что, бабкин дом в деревне жив? — спросил Ваня.

— Жив. Только машиной далеко пилить в это Заонежье, а кометой через озеро дорого. Не наездишься.

— А ты там с металлоискателем ходил? — не унимался Ваня.

— Ну да. Прошелся по двору взад-вперед. Правда, в окрестных полях еще мелких монеток накопал, чешую. Рассказывают, там некогда ярмарка большая была.

— Чешую? — Ваня присвистнул. — Так это еще при Иване Грозном...

— Ну, при Иване Грозном. И что? Эта чешуя на Озоне триста рублей штука. Так что пусть уж лучше у меня дома лежит. Как память, что ли.

— Как память о чем? — удивился Ваня.

— Об Иване Грозном, твою мать! — выругался Егор. — Умеешь ты, Ваня, достать человека.

— В полнолуние надо попробовать поискать, — сказал Ваня.

— С какого перепугу в полнолуние?

— А когда еще? У меня жена астрологией увлекается, так вот считает, что все важные события связаны с полнолунием.

— Ага. Обострения, блин, — встрял Колян.

— В том числе обострения. Кстати, я заметил, что в моем детстве луна была гораздо меньше и висела на небе выше. А зимой светила ярко, с таким синеватым оттенком, при ней читать можно было. А сейчас луна огромная, висит ниже и светит желтым, бывает, что и с красноватым оттенком. Может, Земля как-то боком развернулась и луна стала ближе к экватору?

— Да иди ты! — ругнулся Колян.

— Ладно, мне завтра с утра на смену, — ретировался Ваня. — Пойду я, пожалуй.

— Эх, Ваня-Ваня, — протянул Колян. — Не умеешь ты поддержать компанию.

Когда он вышел вон, в осеннюю непогоду и сумерки, друзья еще покумекали, какие места можно исследовать с металлоискателем до первых заморозков. Колян некстати вспомнил, как прошлым летом разбирал на даче старую крышу и нашел мумию крысы, прибитую гвоздями между досками. Порча это была или не порча — все это, конечно, херня, но трупы обычно воняют. А крыса не воняла. Или же вонь уже выветрилась с прошедших времен.

За окном противно вил ветер, навевая мысли о тщете человеческих усилий, и не только человеческих. Резкие порывы разметали по земле последние цветы и запоздалых шмелей, не успевших залечь в спячку где-нибудь между рамами. Впрочем, в спячку впадают шмелиные королевы, а мужики живут от силы две недели и умирают, успев или не успев спариться со своей королевой. И это было тем более грустно, потому что за тридцать с хвостиком лет своей жизни Егор так и не успел обзавестись семьей и даже порядком обустроить собственное гнездо на зaimке, которое баба Маня некогда купила на деньги от продажи царского золота.

Давно пора было поставить септик, провести водопровод, только руки не доходили. Да и поблизости обитали такие же полуустроенные невезучие люди, на фоне которых Егору не больно-то хотелось выделяться. Окраина их считалась районом криминальным, то и дело возле кафе «Огонек» случались пьяные разборки, а то и просто какой-нибудь сосед, порядком залив в горло, боянил во дворе, нагоняя страх на дворовых псов.

С такими мыслями Егор поднялся в свою мансарду, оставив приятеля ночевать на диване возле стола с остатками трапезы. К исходу вечера Колян дошел до кондиции и все порывался выйти во двор с металлоискателем, пешарить у сарая или под кустами, когда у самого уже и ноги не ходили, и Егор его едва укомкал, накрыв пледом.

И еще некоторое время Егор лежал без сна, прислушиваясь к завыванию ветра в дымоходе, вспоминал бабу Маню и тот случай из юности, когда в один из приездов в Заонежье помогал ей в огороде. Жара стояла египетская, еще и комары донимали. Вот он и решил сходить на озеро искупаться. Значит, идет он по дороге к берегу — слева перелесок, справа — заросшие бурьяном поля. В озеро окунулся пару раз, а потом в тени под деревом об-

сохнуть прилег. Спешить-то некуда. Глаза прикрыл и вроде как задремал. Очнулся от холода. Да такого, что пар от дыхания повалил столбом и зуб на зуб не попадает. Голову поднял, а перед ним девушка стоит в белом сарафане. С серпом. Красивая, лицо такое загорелое и глаза горячие, карие. И так строго эта девушка его спросила, чего это он тут валяется без дела. Полдень в самом разгаре. А он ответил, что где хочет, там и валяется. Тогда она ему руку протянула: вставай, говорит, хватит тебе валяться, лучше мне помоги. Рука у нее жилистая, сильная, только ногти на ней острые и длинные. И вот провела она этими ногтями ему по ладони, к локти и выше — и такую длинную царапину оставила. Только вдруг охнула, резко отдернула руку и в поле убежала, в самый бурьян. Травы сомкнулись, и след ее прости.

Тогда Егор вообще ничего особенного не заподозрил. А домой вернулся, царапину перекисью обработал, а потом в зеркало посмотрел — да у него же старая татуировка на плече «Спаси и сохрани» и крест линялый. Как-то по дури сделал, ну и забыл со временем. Стоит он перед зеркалом, татуировку гладит, а голова кружится, и пот градом течет. Баба Маня взялась его горячим молоком отпаивать. Как позже выяснилось, острый бронхит где-то подхватил в такую-то жару. В общем, Егор так и не понял, кого это он в поле встретил. И сейчас тоже не понимал. Но, может, так до сих пор и не женился, потому что крепко запал тогда на ту смуглую девушку с острыми ногтями. Да и вообще после того случая жизнь как-то вся косяком пошла.

Вот поступал Егор после школы в училище на электрика, потому что больше не придумал, куда поступать. На экзамене у него спросили:

- Объясните, почему крутится электромотор.
- А потому что там электричество.
- Да? А почему тогда утюг не крутится?
- Потому что он не круглый.
- Хорошо. А лампочка? Электрическая, круглая?
- Так лампочка как раз и крутится.
- Как?
- А вот когда вы ее в патроне меняете, вы же ее крутите! Без электричества вообще ничего не крутится!

Ладно, выучился на электрика, пошел работать на целлюлозно-бумажный комбинат, в цех каустизации и регенерации извести. Там две гигантские трубы примерно вращались под наклоном, в них обжигался известняк, и выходила известь, потом она поступала на конвейер и в огромные баки, в которых гасилась содой... Адский шум, ужасная пыль везде и температура воздуха местами до плюс пятидесяти. Егор бегал по цеху в резиновых сапогах и респираторе. В первый же день его обдало водой, ударило током и всего обсыпало пылью. Ему кричали: «Сотый двигатель греется, проверь». А он не знал, какой из десяти двигателей сотый. На него кричали все рабочие цеха, и, когда огромный слесарь подошел и крикнул ему прямо в мозг: «Горит двигатель, что расселся, бегом давай что-то делай», Егор ответил, что думает про двигатель, слесаря и производство в целом. Тогда они вместе пошли смотреть на этот двигатель, и Егор как-то сразу нашел, где его можно обесточить, выключил и подал напряжение на другой двигатель, резервный. А главное — повесил табличку: «Не включать, работают люди», и это было его первое и лучшее решение. Впоследствии, если ему что-то не хотелось делать, он вывешивал именно такую табличку.

На этом комбинате Егор научился работать, не работая. Медленно двигаться, не спорить с начальством, но и не спешить выполнять указания. Научился спать на работе на лавочке, под голову телогрейку, второй накрыться. Научился отменно играть в домино и карты. Научился общаться с усталыми от жизни и работы трудягами, но главное — усвоил, что на производстве не останется ни за какие коврижки. Честно отработал год и устроился обслуживать ЖЭУ. Оказался на подхвате. Пару раз опять ударило током, да так, что еле откачали. Волосы еще неделю дыбом стояли, и мужики подтруни-

вали над Егором, что это-де издержки профессии, но ты не расстраивайся. По лысому-то электрику непонятно, когда он ошибается. А что электрикам платят мало, так зато деньги верные два раза в месяц. Чего, мол, тебе недостает, все так живут.

Даже праздник у электриков был свой — самый короткий день в году, самая длинная ночь: то-то электричества нагорает! Старики помнили, что эта дата — день рождения ГОЭЛРО. Егор, хоть был и электрик, однако не знал, кто такой был этот ГОЭЛРО и что такого он сделал. Ему рассказали в подробностях. И еще предупредили, чтобы в этот день свет не гас, нужно запастись электричеством загодя.

В общем, всяких приключений на работе хватало. Но вот чего-то Егору все равно недоставало, это точно. Не денег, нет. Но вот чего? Он и сам не знал. Поэтому и металлоискатель купил.

2

Прибыв на место, прошуршили по окрестностям металлоискателем — нашли какие-то тазики, вилы, топорики, лопаты — все в хлам, ржавчиной поедено. Иного и ждать не приходилось: деревню, конечно, порядком потрепало при советской власти, и все же жизнь в ней замерла только после крушения социализма, когда регулярная навигация накрылась, а крытое асфальтом шоссе в глубь полуострова так и не проложили.

Егор-то не больно и хотел ехать: Колян уговорил. Тем более день был воскресный, а у Коляна во дворе стоял газик с полным бензобаком. Почему бы не прошвырнуться в Заонежье туда-сюда. Пока морозы не ударили, много чего интересного можно найти. Так Колян утверждал по крайней мере. А Егора вдобавок мучило похмелье, так что он не смог сопротивляться. В общем, поехали.

Дни стояли еще долгие, до темноты вполне можно управиться, да и бабкин дом не мешало проведать, стоит ли на месте. Дом, конечно, на месте стоял еще крепкий, только крыша почти провалилась да крыльце перекосило так, что дверь открыли с трудом, только наполовину, и едва протиснулись внутрь. Наскоро перекусив бутербродами и тем, что там осталось со вчерашнего праздника, обследовали заросший огород, обошли вокруг сарая, обшарили яму на заднем дворе... Ничего интересного. Колян разочарованно ворчал, что, мол, только и рассказов про это Заонежье, какие тут места заповедные, а на деле...

— Да что на деле? — Егор рассуждал трезво, по-деловому. — Деревня, как все деревни. Некогда богатая, да.

— Вот именно: богатая. А это значит, что откопать тут можно хоть черта лысого. Тем более говоришь, этот дом какой-то купец построил.

— Опрышкин. Только все, что он в свое время припрятал, давно уже тютю. А что богатая деревня, так то уже при советской власти было. Большой колхоз, картошку выращивали на всю республику. Баба Маня рассказывала, сюда два раза в неделю вертолет летал. Билет стоил рубль!

— Иди ты!

— Да я, по-твоему, вру? У меня еще отец к бабе Мане летал. Он ее в город забрать хотел, да она говорит, жизнь здесь прожила...

— А вот я читал, что в нашем озере эхолоты обнаружили на глубине каких-то огромных зверюг.

— Чего-о?

— Ну... типа этих... мозазавров вроде. Во-от с такими зубами, как у крокодилов. Так про них еще в газете писали. Что эти ящеры как бы вымерли, но теперь получается, что нет.

— Ну ты загну-ул, Колян. Сколько раз здесь купался, но никаких зверюг не видел.

— Да я же говорю, эхолот под водой засек! Не у берега же.

Металлоискатель призываю запищал, показывая на глубине полметра цветной металл.

— Ну, всё! — воскликнул Колян. — Кажись, повезло нам, Егор. Никак горшочек царских монет: компактно металл лежит.

Егор сосредоточенно взял лопату и решительно воткнул ее в землю. Колян сбежал за второй лопатой и тоже начал копать. Вскоре возле сарайя выросла приличная яма. Егор опять поводил металлоискателем — прибор показал, что надо копать еще на полметра глубже. Громко выругавшись, Егор углубился в землю и, одолев еще полметра, снова проверил металлоискателем — теперь прибор упорно молчал, как будто там никогда ничего и не было.

— Ну ё-пэ-рэ-сэ-тэ! — Выбравшись из ямы, Егор воткнул лопату в землю и присел на бревно перекурить.

— А если землю ситом просеять? — предложил Колян. — Пищало же, сука! Я сам слышал.

— Колян, ты еще на что-то надеешься? Ты еще не понял, что я вот просто человек такой невезучий. За что ни возьмусь... Эх!

— Да ладно, погоди жаловаться-то. Клад — штука такая. Абы кому в руки не дается.

— А мы с тобой разве не абы кто?

— Как это абы кто? Ты наследник этой своей бабы Мани. Это твоя земля.

— А на кой она мне? Я тут огород разводить не собираюсь.

— Тогда продай. Деньги, что ли, лишние?

— Еще бы кто купил. Держи карман шире!

— Дай-ка мне агрегат!

Колян решительно обследовал яму по периметру — агрегат молчал. Тогда Колян отошел от края, пошарил туда-сюда, и вдруг металлоискатель ответил! Запищал как миленький, указывая, что цветмет находится в метре от того места, где они только что копали!

— Чертовщина какая-то!

Схватив лопату, Колян энергично углубился в землю, и вскоре рядом с первой выросла вторая яма. И агрегат снова замолчал! Как будто кто-то играл с ними, перепрятывая клад или не клад, а что там за штуковина бродила в земле.

— Сито тащи! — скомандовал Колян, перехватив инициативу.

Егор послушно поплелся в дом и через некоторое время вернулся с большим решетом с налипшими ошметками сероватой ржаной муки.

— Баба Маня калитки любила печь, — мечтательно протянул Егор. — С картошкой, пшеном...

— Давай сюда! Тут не до калиток. — Колян отобрал у него сито и принялся тщательно просеивать выкопанную землю. Однако ничего особенного не обнаружил. Обычная супесь, как и повсюду в этих местах.

— Я же говорил: пусто. Давай лучше на чердаке пошарим. Наверняка там много чего найдется, — предложил Егор.

— Ага, типа старых черепков и газет. Нет уж, я не отступлюсь. Зря, что ли, бензин жег? — Колян вернулся к первой яме, опустил в нее металлоискатель, и вдруг воздух разрезал резкий звенящий звук. — Ого! А ну-ка копни!

Егор прыгнул в яму, вонзил лопату в суглинок, выхватил влажной почвы огромный ком, выбросил его наружу и с силой шмякнул о траву, разбив на ошметки. На влажном разломе почвы на поверхности оказался огромный перстень, почти черный от времени, однако без всякого изъяна.

— Ого! — Егор потер его о штаны. — Может, золотой?

— Да где там! Видно, что станинний. Наверняка медный. Золотых у нас в старину не носили.

— Ты-то откуда знаешь?

— Читал. Я вообще люблю про всякую ерунду читать.

— Ага. Вроде крокодилов в озере.

— А что? Животные они пресноводные. Рыбы у нас хватает...

— Иди ты! А перстень и вправду медный. — Егору удалось оттереть патину времени на выпуклых местах.

— Давай-ка еще землю просеем. Может, еще какую-нибудь мелочь найдем.

Но Егор его уже не слышал. Его целиком занимал перстень, разукрашенный какими-то витиеватыми линиями.

— Ну и чего ты с этим перстнем будешь делать? В музей предложишь? Так у него таких наверняка навалом. Потом, бюджетная организация, денег у них, как всегда, нет...

— А зачем кому-то предлагать? — ответил Егор. — Я его хорошенъко отдраю и еще сам носить буду. Моя земля, значит, и перстень мой.

— А разве можно чужой перстень носить? — усомнился Колян.

— Почему нельзя-то? Нет, в самом деле, чего добру пропадать?

И воодушевленный Егор водрузил перстень на левую руку, на указательный палец. Смотрелся он на руке не больно-то симпатично, как большой черный нарост, но Егору нравилось.

Они еще поводили металлоискателям по краям обеих ям, но больше ничего не обнаружили. Засыпав ямы землей, напоследок обследовали чердак. Нашли старинный глиняный кувшин с небольшим сколом, который Колян решил забрать на дачу, репродукцию картины «Грачи прилетели» и пару слоников из известной довоенной коллекции. Слоников Колян решил предложить антиквару, за них можно было хоть что-то выручить. Небогатая получилась добыча. Можно было еще поскрести по сусекам, но уже начинало темнеть, поэтому Колян завел газик, и приятели пустились в обратный путь, надеясь к ночи оказаться дома.

3

В лето 1071 от Рождества Христова случился в Белоозере повальный голод. Даже рыба повыселась в водоемах либо организованно ушла куда-то в более приличное место, поскольку на родных просторах развернулись крокодилы. Известно, что в древние времена край этими тварями так и кишел. И соответственно немало водилось идолопоклонников, каковые у себя во дворе прикармливали змеев с четырьмя лапами, отличавшихся черным и жирным телом. Некоторые звали их гивоитами, однако слово это иностранное, посему мы не будем его употреблять, а назовем ящеров крокодилами по старинке. Так вот, в положенные дни люди очищали свой дом и всем семейством благоговейно поклонялись им, выползающим к поставленной пище. Крокодилы к тому же источали зловоние, так что в дни их кормления следовало покрепче зажимать нос, иначе внутрь проникали ядовитые миазмы.

Из летописей известно также, что еще сын князя Словена Волхов был чародей бесоугодный и своими бесовскими ухищрениями умел превращаться в лютого зверя крокодила и пожирал тех, которые отказывались ему поклоняться. А когда Волхов умер, его похоронили с великой поганской тризной и насыпали на могиле высокий холм, однако по прошествии трех дней земля под ним просела и поглотила мерзкое тело крокодилово. Ну, летописи умные люди сочиняли, так что им можно верить.

Так вот, великий голод 1071 года в Белоозере был спровоцирован непомерным размножением местных крокодилов, которые кроме рыбы питались еще и мимо проходящим скотом, не брезговали и рыбаками, так что множество скота и народа в то лето погибло, и по осени случился недород: люди боялись выходить в поля, а тем паче ловить рыбу.

Тогда оголодавшие жители открыли охоту на ящеров. А так как мертвые ящеры тем более безбожно смердели, великая вонь установилась в Белоозере, и несколько человек нашли свою смерть, задохнувшись от мерзких миазмов. Вдобавок волхвы, которые почитали крокодилов за живые божества и велели крестьянам им поклоняться, испугались, что вместе с крокодилами

иссякнет всякое уважение к ихнему волхвованию. И вот, когда доведенный до крайней нужды народ, вооружившись вилами и топорами, решился поднять восстание, волхвы на правах местных авторитетов повели возбужденную толпу от села к погосту, выкликая имена зажиточных жен, якобы те прятали припасы внутри своих тел. И столь велика была у крестьян вера в злых колдуний, что они вытаскивали несчастных жен из домов, резали ножами им плечи и выбрасывали в толпу жито, рыбу, а когда и живую белку. А может, просто кидали зачарованным людям куски тел этих несчастных.

Голодные крестьяне в потрясении набрасывались на окровавленную плоть и жадно пожирали ее на месте. И так толпа двигалась от погоста к погосту, и повсюду волхвы вспарывали ножами живых женщин, выбирая самых богатых. И ничуть не лучше крокодилов делались люди, пожирая женское тело. И успели они погубить множество народу, прежде чем остановил их воевода Ян Выштич, собиравший в Белоозере дань-полюдье со своей дружиной. Богатырь разогнал людей, то ли одурманенных, то ли убежденных в волшебной силе волхвов. Нескольких колдунов удалось схватить. Во время допроса они рассказывали Яну всякую ересь типа творения мужа из ветоши, которой Господь утирался в бане, и прочую бесовскую чушь.

А далее Ян не стал мешать тем вельможам, у которых погибли жены, расправиться с волхвами. Искalеченные трупы их повесили на дереве, а ночью пришел медведь и разорвал тела волхвов — наказал их за то, что не сумели они до конца довести задуманное. Медведь же тварь хитрая и непредсказуемая, живет своим умом и поди знай, что там себе втихаря замышляет и что вообще думает о людях. Ежели плохо думает, так и прав. Поскольку род человеческий как был издревле глуп, так глупым и по сей день остается.

Потомкам же тех волхвов удалось бежать на Север, в места пустынные, где о христианстве и слыхом не слыхивали, а по старинке поклонялись идолам и всяким лесным чудищам, коих по глухим углам обитало немало. А поскольку волхвы переняли от родителей заповедные обряды и ритуалы, приняли их там любезно. И вскоре стали они избранными жрецами среди местных племен: силой обладали немалой, священный огонь поддерживали у подножия каменного четырехликого идола выше человеческого роста, который стоял в священной чаще на священной скале. В знак особого почета племена со всей округи присыпали им богатые подношения. И древняя весь платила им дань, и корела, и с дальнего Поморья присыпали дары. Особенным же богатством отличался главный волхв Бажен. Именно ему приносили все награбленные в набегах ценности.

Время шло, селились на островах лихие новгородцы, засевали землю, строили мельницы, а за ними и кузни. Минуло триста лет. Постарел волхв Бажен, потерял зубы и волосы, на ногах стоя шатко, подчиняясь воле ветра, и глаза потеряли зоркость. Понимал Бажен, что нужно будет кому-то передать силу, иначе смерть за ним придет лютая, или, не обретя покоя, станет он слоняться упырем по заповедным местам и нападать на путников в жажде напиться христианской крови. Был у него на примете Тихомир, сын Бессона, такого же потомка волхвов Белоозера, да не пережил Тихомир последней весны, провалился под лед, шествуя по озерному полотну, которое набрякло в оттепель и порвалось в тонких местах.

Ушел Тихомир, а более вокруг никого и не было из числа тех, в ком замечал Бажен зачатки колдовского дара. Поэтому в последнюю свою баню — перед тем как испустить дух — подержал Бажен во рту свой колдовской перстень, напитав его колдовской силой. А перстень Бажена был приметный: знаки Земли и Солнца на нем, а еще древний Ящер воспроизвели само мироустройство. Перстень этот был не просто для красоты, но и для охраны хозяина от навий, полуденниц и прочих напастей. И вот ближе к ночи закопал его Бажен на заднем дворе, сделав такой заклад, что пускай его колдовская сила до поры до времени в земле полежит. И перейдет она в руки только тому человеку, который не своей жизнью живет и будто бы сам про-

это знает. Что бы он ни делал — ничего особо не получается, потому что он по рождению волхв, а не пахарь, вот поэтому-то живет да мается, не находя применения своей внутренней силе.

4

На выходных опять выпивали у Егора Баженова. Картошку Егор уже выкопал, яблоки собрал, а робкие ростки последнего укропа побил ночной заморозок, так что и проблема исчезла. Теперь он иного занятия не находил, кроме как поговорить с друзьями за жизнь, тем более что Колян на днях засолил сига каким-то хитрым способом, а сиг со свежей картошкой — закуска весьма богатая. Ну и Ваня Захаров с получки принес вискаря. Он всегда покупал вискарь с получки, будто интеллигент какой. Жена у Вани была сильно культурной, работала в библиотеке, и Егор даже подозревал, что водку жена запрещает Ване пить, якобы водка — слишком сермяжный напиток. Зато бутылка вискаря на Егоровой кухоньке смотрелась как элемент явно чужеродный, будто залетевший из иного времени. Поскольку и дровяная плита, и крашеный дощатый пол, и коврик с оленями, который некогда привезли из Заонежья, — все это создавало эффект давно прошедшей эпохи. Но Егору это нравилось: получалось, будто во всем мире время ушло вперед, а здесь притормозило...

— Ну, еще по одной! — Колян лихо хрюпнул полстакана.

— Магический перстень, — завелся Ваня, будто только и ждал момента, — это фокусировщик энергии, которую ведун использует для колдовства. Он рукой махнет — и пожалуйста! Все что хочешь! — Ваня Захаров показательно повел руками, но ничего, естественно, не изменилось.

— Ты где такую херню прочел? — спросил Колян.

— Почему херню? Все очень серьезно, — продолжал Ваня. — Взять, например, Чингисхана. У него было свое волшебное кольцо с рубином, а на рубине магическая гравировка. Это кольцо и Чингисхан носил, и его племянник Хубилай-хан. Они всегда носили его на правой руке, на указательном пальце.

— Вань, зачем ты мне рассказываешь про какого-то Хубилайна? — ничего не понимал Егор. У него с утра болела голова, хотя с прошлой субботы он ничего не пил, на похмелье не спишешь. Но вискарь он сегодня употреблял исключительно для расширения сосудов, а не для того, чтобы тупо напиться.

— Как зачем? — Ваня подхватил на вилку сочный кусок сига. — Историки до сих пор задаются вопросом, как человек без образования мог возглавить кочевников, чтобы завоевать более развитые народы.

— Ну и как? — спросил Колян.

— Так говорю, перстень у него был.

— Я про сига спрашиваю, — уточнил Колян.

— Засол знатный. А на перстне Чингисхана была надпись...

— Матерная? — загоготал Колян.

— Нет, я серьезно, — не унимался Ваня.

— Вань, вот ты вроде человек со специальным образованием, — сказал Колян. — А веришь во всякие рассказы. И жена у тебя в библиотеке работает, не хухры-мухры, у нее бы спросил.

— Так я и спросил. И книжку она сама дала про магические кольца. Очень интересную, кстати. Вот еще был случай, что такое магическое кольцо подарили Карлу Великому. И он под влиянием этого кольца влюбился в какую-то немку по самые уши. А она взъярилась да помри. Тогда он стал поклоняться ее мертвому телу. Но стоило Карлу отлучиться на несколько дней, как епископ Терпен снял кольцо с пальца покойницы, и она тут же начала разлагаться. Тогда Карл велел ее похоронить и влюбился в епископа...

— Твою мать! — выругался Колян. — Епископ, видать, сам был не рад, что кольцо сламзил.

— Так он пошел и кольцо в озеро бросил. Тогда Карл влюбился в озеро и велел построить рядом с ним дворец...

— Ну, в меня пока что никто не влюбился, — с тоской произнес Егор. — Палец вот опух, это да.

— От перстня? — спросил Колян.

— Ну да. Я его едва-едва снял. И мылом намыливал, и ниткой палец обматывал... Теперь в кармане ношу.

— Зачем?

— А на всякий случай.

— На кой ты его вообще напялил, — разворчался Колян. — Обычное медное старье.

— Сам ты старье, — обиделся Егор.

— Да какое там старье! — возмутился Ваня. — Уникальное изделие. Я ведь его сфотографировал и в Москву отправил.

— Прямо в Кремль? — уточнил Колян.

— Зачем в Кремль? У жены подруга в Москве живет, магистр Магии Пчел. Я ей фото выслал, что это за перстень такой.

— Чего-о? — переспросил Егор. — Каких еще пчел?

— Ну, есть такой вид магии. Это как бы живые энергии, которые помогают нам постичь такие процессы, что не укладываются в конкретную схему. Чтобы люди поверили собственной мудрости...

— Ну а пчелы-то тут при чем? — спросил Егор. Голова после глотка виски не прошла, но мысли разбрелись.

— Я особенно не вникал, — признался Ваня. — Я только про перстень хотел узнать. Так вот, она сказала, что на нем изображены энергии Солнца и Луны, а также символ лозы. И что, скорее всего, это кольцо волхва, вещь точно дохристианская.

— Чего-о? — протянул Егор. — Какого еще...

— Волхвы — это древние колдуны, маги. Этот перстень, возможно, обладает огромной силой. Нужно только спросить кольцо, можно ли его носить.

— Так уже пробовал. Говорю, палец опух.

— А может, ты его просто не на тот палец надел. Или не на ту руку.

— А на какую надо?

— Чингисхан на правой носил.

Егор уставился на свои руки. Были они мозолистые, рабочие, с кряжистыми короткими пальцами. На правой руке перстень можно было носить разве что на безымянном пальце: правая рука была крупнее левой, как у всех трудящихся. Хотя и перстень был работы грубой, даже топорной по нынешним временам. Наверняка изготовили его где-нибудь в деревенской кузнице, а не в ювелирной мастерской. Да какой там спрос с этих древних!

Вздохнув от души, Егор послушался, достал из кармана перстень и надел на правую руку. Как Чингисхан, только на безымянный палец.

Странно, но голова вскоре прошла. Может, сказался накопительный эффект выпитого в тот вечер виски, а может, магнитная буря за окном улеглась, только заснул Егор легко и спокойно. То есть не отрубился по пьянке, как бывало не раз, а тихо отошел ко сну, и виделись ему странные какие-то картины природы: рощи, скалы и буйные травы.

Только в середине ночи он неожиданно встрепенулся, и в голове почему-то застряла фраза «И внял я неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход...». Какой еще ход? Каких гадов? Пушкин, что ли, это написал? Егор присел на кровати. В окошко лился яркий бело-луны свет, от которого в комнате парили сиреневатые сумерки и контуры предметов размывала легкая аура. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли» — строчки, когда-то давно, в школе еще, впечатанные в извилины головного мозга, сами собой поперли наружу, и Егор удивился, что он вообще что-то помнит из уроков литературы. И странное такое ощущение наполненности возникло в груди, как будто помимо внешнего мира для Егора открылся еще и мир

внутренний, о котором он, конечно, слышал, но за собой не замечал, или же просто этот самый внутренний мир был ему без надобности.

А вот древние предки знали что-нибудь про внутренний мир? Наверняка они жили намного проще: пекли хлеб, варили брагу, ткали грубое полотно, из которого сами шили себе одежду, и даже если и задумывались о мироустройстве, то были уверены, что с этим все предельно ясно: Солнце ходит вокруг Земли, а недра стережет древний змей. Но даже если с тех пор минуло несколько столетий, уменьшились ли тревоги и боли ушедшего бытия?

Егор сам себе удивился, что за странные мысли посетили его среди ночи и почему вдруг так разбередили нутро.

5

Скрипнула входная дверь, и Бажен-ведун оказался во дворе, залитом лунным светом. У крыльца серебрилась трава, тронутая утренним заморозком, легко колыхались под ветром последние листья на старой яблоне у забора, белесые облака проплывали над головой, несомые вершинным течением. Бажен-ведун сделал несколько шагов по заиндевелой траве, не чувствуя холода.

Зрение в темноте будто обострилось. В синеватом свете Луны Бажен отчетливо видел каждый камешек, каждую трещинку, и его неприятно поразили мутные окна собственного дома, за которыми угадывался изрядно драный тюль занавесок, подгнившие доски крыльца, перекошенная входная дверь... Как будто в его доме никто не жил, даже он сам. Теперь каждый ночной шорох вплоть до возни полевок под яблоней у забора стал отчетливо слышен, более того: звуки сделались какими-то выпуклыми, объемными и неожиданными. В один миг ожило всё вокруг: щепки возле поленницы, ведро у колонки, старая газета, забытая на крыльце, — всё будто обрело душу.

Странное шипение привлекло внимание Бажена. Это шипел соседский кот, взгромоздившийся на забор. Выгнув спину, он воинственно вздыбил холку и распушил хвост. С приближением Бажена кот с утробным мяуканием спрыгнул вниз и исчез в зарослях шиповника.

Бажен пересек двор по направлению к дороге, но тут его ноздрей коснулся странный запах сырой земли со сладковатой примесью тленя. Запах настойчиво дразнил его нос, усиливаясь возле забора. Как будто сосед только этим вечером собрал урожай, разворотив весь огород, и случайно откопал какую-то падаль.

Бажен услышал, как в доме через дорогу старуха маётся бессонницей, как скрипят половицы под ее покалеченными, скрученными подагрой ступнями, как она ставит чайник, чтобы хоть чем-то заняться в отсутствие сна, и будто бы услышал даже несколько фраз, которые она произнесла или даже не произнесла, а так, подумала. Вот и Муська лежала у нее под столом, скоро должна котят принести. Если в помете будет черный котенок, Бажен его себе возьмет, надо бы предупредить, чтоб не топили. А вот Светка Анищенко домой крадется от Федьки. Красивая девушка, а Федька — парень ненадежный, напрасно она с ним замутила. Светкина мать тем временем не спала, чутко прислушиваясь к каждому скрипну, поругивая Светку заочные гулянки, однако, когда в замочной скважине повернулся ключ, выдохнула с облегчением: теперь можно было наконец-то уснуть, а с утра снова на смену. И так без продыху уже двадцать пять лет, ну и где, скажите на милость, личное счастье. Вот так жила — все лучшее Светке. И сережки золотые, и джинсы, и... как там его... худи с капюшоном. Себе ничего. Теперь Светка выросла — и что? Шофер Жора из дома возле самой остановки только что вернулся из рейса и теперь перекуривал на крыльце, размышляя о том, что жена ему ничуть не обрадовалась, а только сонно обронила: «А-а, это ты», даже с постели не встал, и это весьма подозрительно. Соседский пацан Мишка, проснувшись среди ночи, размышлял, заметит ли отец, что тройка

по географии в дневнике исправлена на пятерку, как будто от этого зависела вся его маленькая жизнь...

Мир вокруг все наполнялся ночными звуками и мыслями, которые Бажен теперь отчетливо слышал. В воздухе витали сказки — не сказки по-таинственного мира, неотъемлемой частью которого был он сам, Бажен-ведун. И так спокойно было на душе и даже немного радостно. Последнее чувство не навещало Бажена уже много лет.

Он поднял глаза к небу: Стокар — Полярную звезду незыблемо закрывала плотная пелена белесых облаков. А под облаками бежали электрические провода, по которым стремительно несся электрический ток, причем тек он супротив движения отрицательно заряженных частиц. В электротехнике считалось, что так и должно быть, хотя оставалось непонятным, почему частицы и ток бегут в разные стороны. Но лампочки зажигались, приборы работали, поэтому ответа вроде никто и не искал. Теперь Бажен отчетливо видел, как это происходит, но все равно не понимал почему.

А выше проводов, в облаках, сгущалось атмосферное электричество. И это означало, что завтра будут осадки.

Бажен еще удивился, вот как человек может работать электриком, если он этого тока никогда не видел. Нет, ясное дело, что явления внутри земной атмосферы вообще не больно-то понятны людям. Носителям славянского гена, по крайней мере. Потому что славяне — не коренные жители Земли, они прибыли на Мидгард, то есть Землю, из далекого космоса. Сперва в течение многих веков Землю облагораживали боги, которые жили на Венере, Марсе, лунах Земли и планете, которую называли Фаэтон. Лишь в 957524-е Лето на Мидгард прибыли боги Стрибог, Ний и Перун. Спустя тысячи лет началось массовое переселение носителей славянского генома.

А в 604390-е Лето на небе появилось три Солнца. Произошло это из-за сближения Солнечной системы с двумя другими. Наше солнце оказалось самым ярким, второе возле него в два раза меньше, причем зеленоватое, а слева от них располагалось самое маленькое из светил. Это событие так поразило предков, что они посчитали его началом Даарийского летоисчисления. Даарийцы прибыли на Землю из созвездия Малой Медведицы. Её славяне сами называли по-другому, Зимун, — в честь Небесной Коровы, которую создал сам Род. Ростом даарийцы были под три метра, с глазами темно-серыми, стальными, и светло-русыми волосами. У них была первая группа крови, и только потом в результате мутации появилась вторая.

Все это помнил и отчетливо представлял себе Бажен-ведун.

6

— Баженов, чего в небо уставился? — Окрик мастера вернул Егора на землю.

— Я смотрю, там это... магнитное поле глючит.

— Чего-о? Ты его видишь, что ли?

— Нет. У меня просто эта... электрорецепция.

— Ну и засунь ее поглубже в задницу. Тебе сказано занулить систему, вот и зануляй!

— Изоляция, говорю, с дефектом.

— Да где она с дефектом?

— Там, на самом верху.

Мастер отмахнулся, а буквально через минуту коротнуло так, что синяя дуга чуть не пришила его к месту. Долбануло под самым носом. Мастер упал на спину плашмя и так застыл, раскинув руки. А брови, ресницы и усы у него выгорели под корень.

— Жив? — Егор испугался и осторожно торкнул мастера палкой в живот.

Мастер открыл рот, несколько раз шлепнул губами, как рыба на сушке, потом длинно выругался.

— Чего лыбишься? — Мастер, кряхтя, приподнялся на локтях.

Егор перевел дух.

— Я же предупреждал, — принялся оправдываться Егор.

— Плохо, значит, предупреждал. Сказал бы, что так и так, Иван Петрович, изоляция с дефектом.

— Я так и сказал.

— Значит, тихо сказал. Решительней надо говорить. Понял меня? А действовать еще решительней. Ладно. Собирай манатки. Я сюда аварийщиков пришлю. Знаешь, как называются похороны электрика?

— Как?

— Заземление. Однако не наше это дело — смерти искать.

Егор вот-вот бы и сказанул, что смерть-то он бы сразу почуял, но прокусил язык. Разве людям такое объяснишь?

Разве людям вообще можно что-то объяснить. Люди — они такие. Вот, например, недели две соседка из дома напротив попросила розетку починить. Кто-то криворукий ей так подрозетник установил, что он в стене на честном слове держался. Пришлось делать нормально. Егор аккуратно подмазал стену гипсом — теперь розетка держалась на славу. Спустя три дня соседка купила люстру — попросила установить. Установил. И ладно, если бы хоть угостила чаем-нибудь. Там чай, кофе, печенье. Так она вообще с претензией, мол, когда ей Егор розетку доделает в спальне. Он как-то не понял, что с ней не так. Включил лампу в розетку — работает. А соседка на полном серьёзе спрашивает, кто ей будет обои переклеивать в комнате. Егор от наглости слегка припух. Уточнил, ей только вокруг розетки обои переклеить или во всей комнате. На миг её лицо озарилось улыбкой, и она выпалила, что хорошо бы во всей комнате. Без разговоров вышел вон. А она с ним теперь не здороваётся. Нет, есть же люди...

Однако с некоторых пор в жизни Егора стали происходить всякие странности. Соседи больше не наглели, за мелкий электроремонт исправно платили. А дворовые собаки, которые прежде пугали Егора своим лаем и даже однажды пытались уцепить за штаны, теперь со страхом наблюдали за ним из подворотен, поджав уши и хвосты.

Случилось еще, что в воскресенье он зашел в магазин ИП Мамедова новые кроссовки купить. Только приценился, а продавец его за руку схватил и не отпускает: купи да купи. И тут внезапно в этом магазине вся обувь с верхних полок сама собой посыпалась, а полки не дрогнули. Продавец аж перекрестился, хоть и был азербайджанец с огромными волосатыми руками и выдающимся носом. Мусульманин то есть.

Но самое странное происшествие случилось, когда, возвращаясь с работы, он встретил на улице соседа, который мирно так стоял возле своего забора, вроде никуда не торопясь, и даже не поздоровался с Егором, а только пристально на него посмотрел. Егор секунды на две перевел взгляд на почтовый ящик, прибитый возле калитки, — и сосед успел испариться, а возле забора появились траурные венки с лентами «Дорогому отцу и мужу». Егор, конечно, удивился, какому это отцу и мужу приготовлены вдруг венки, а потом понял, что отец и муж — и есть тот сосед, который под забором стоял. Ё-моё! Так вот почему с соседнего участка тянуло землей и тленом. Сосед-то помер!

От ужаса Егор даже забыл соболезнования соседям принести, а заодно узнать, что там и как случилось. Затек в дом, воровато оглядываясь, будто сам чего натворил.

С этого дня Егор стал чуять близкую беду. Чаще всего она именно так и пахла: тленом и сырой землей. Случилось,电工ник Мышкин отправился на объект, а Егор с самого утра унюхал, что пахнет от него не очень, но предупредить постеснялся, да и кто бы его послушал. А напрасно: порваный провод затерялся в траве, и тот电工ник прямо на него наступил, ну и нога у него обуглилась до колена.

И вот еще лопоухую собаку, которая обычно валялась возле магазина, он не спас. Егор-то учился, что смердит, но не понял от кого. А на следующий день узнал, что Булку сбила машина. Жаль. Булку все подкармливали и любили.

Егор ужаснулся своему открытию, насколько же тонка грань между жизнью и смертью. Вот идет себе человек на работу, не ощущая, что сегодня он с утра еще жив — дышит, слышит, видит и даже не подозревает о том, что это — всё, для него уже всё. Какой-то час-полтора, а там он заденет провод, который каким-то образом оказался под забором, или на него нападут в подворотне... Но почему же люди живут и как бы не чувствуют биения жизни? Так, какие-то мысли плещутся в голове, но в основном про то, с кем бы выпить. Разве же это правильно?

Однажды в воскресенье Егор наблюдал за мальчишками, которые с дикими воплями носились по улице туда-сюда. Им было весело и, наверное, не хотелось ничего другого, кроме что вот именно так носиться друг за другом, не заботясь более ни о чем. Наверняка никто из этих мальчишек не мечтал вырасти и стать забулдыгой. Интересно, кем же хотели стать в детстве местные забулдыги. Моряками, танкистами или космонавтами? Почему же в результате они превратились в обычных алкашей? Может, потому и превратились, что детские мечты не исполнились, а других не случилось? Прежде ничего такого Егору просто не приходило в голову. Жил себе, будто плыл по течению.

Тем же вечером к Егору зашел местный алкаш Вася Сazonов, правда, трезвый. Попросил электрочайник отремонтировать. Мол, только в розетку сунул, как пламя вырвалось и дым повалил, чуть дом не спалил на хер. Егор отнекивался: чайники не его профиль, да и просто не хотел возиться. Но потом все-таки взялся: от Сazonова, конечно, неслыханно всем чем можно, но к обычному человеческому духу примешивался знакомый сладковатый душок. Вдруг не возьмешь чайник, а Сazonов сам полезет чинить — ну, и того. Током его долбанет.

— Вот что, Вася, чайник я тебе починю, но ты там, смотри, с электроприборами аккуратно. Да и проводку у тебя в доме не мешает проверить. Еще раз коротнет — точно ведь дом сгорит.

— Да я сам вроде не дурак, в этих делах разбираюсь.

— Ага, лампочку вкрутить умеешь.

— Когда готово-то будет?

— Да на днях.

— Ну, дак с меня причитается! — Сazonов криво улыбнулся, обнажив осколки зубов, и побрел себе восьмови, меся ботами осеннюю грязь.

Чайник Егор разобрал в тот же вечер, чтобы не тянуть с починкой. Наверняка какая-нибудь ерунда. Так и оказалось, Егор за пятнадцать минут справился. Хотя давно было пора отправить этот чайник на помойку. Контакты засалены, капсула заляпана, ручка поцарапана, но раз уж обещал... Хороших вещей у Сazonова быть не могло: он их сразу же пропивал, зато хламу во дворе порядком было навалено. Такого хламу, что гадко глядеть, не то что в руки брать. Чайник этот Егор для начала слегка от грязи оттер, а то и прикоснуться противно. И вообще как-то нехорошо стало Егору, пока он чайник чинил. Голова заболела, в глазах помутуилось. Захотел прилечь, со стула встал — пошатывает. Едва до кровати доковылял, лег и тут же вырубился, будто глухая чернота навалились, и сразу все кончилось — то, что наяву творится. То есть в сущем настоящем мире, или Яви.

А еще Егору во сне открылась правь, которая была миром правды и мудрости. В ней обитали добрые духи, которые сказали, что Егор — работник света, и это определение ему очень даже понравилось. Он во сне даже прикинул, что надо бы в трудовой книжке исправить «электрик» на « работник света», так будет правильнее, то есть по прави. Это означало, что на своем рабочем месте Егор призван был противостоять нави, темному подзем-

ном миру, в котором обитали злые духи, бесы и гивоиты, очень злобные и прожорливые твари вроде крокодилов. Они водились на самом дне озера, в темных погаенных местах, зарывшись в ил по самые уши. Иногда молодых особей принимали за крупных щук, но горе тому рыбаку, который умудрился поймать гивоита в сети. Тварь пожирала рыбака со всей амуницией. Поэтому и не находили пропавших на озере: лодка есть, а человека нет. Случалось и так, что гивоиты прикидывались людьми и даже умели устроиться на хлебные должности. Такие, чтобы делом особенно не заниматься, а денег и социальных благ получать в избытке. Начальники такого рода обычно бывали совершенно лысые, и французским одеколоном от них сильно тащило, дабы естественную вонь отбить. Это ему во сне так баба Маня поведала, сама-то натерпелась при жизни от больших и малых начальников-гивоитов.

Утешало только одно: помимо темной нави существовала еще и светлая навь, или славь, в которой обитали давно ушедшие предки. Вот баба Маня, например, там устроилась. Егор к ней в домик заглянул. А домик был примерно такой же, как в родной деревне, только справный и как бы в зеркальном отражении. И баба Маня сказала, что в нави время течет иначе, чем в яви. Хроновещество там иное. Там каждый миг каким-то образом равен вечности.

А еще привиделся ему Даждьбог. Был он статный мужчина со светлыми волосами и ясным взглядом пронзительно-голубых глаз. Мчал по небу на своей колеснице, сжимая в руке поводья и чудесный щит, который лучился ослепительным светом. И ежели гивоиты-живоглоты или другие недобрые твари решали подступиться к волшебной колеснице, Даждьбог метко поражал их своим копьем, хотя по натуре и не был воин. Кроме того, верными помощниками бога были львы, запряженные в его колесницу. Не так-то просто было управлять этими огненными животными, от которых исходил сильный жар. Но Даждьбог с нимиправлялся.

Все, что Егору показывали во сне, он вроде понимал прекрасно. Ну, все это: явь, правь, навь. Но вот как время может течь иначе, чем слева направо, ну, то есть как оно обычно течет?

С этим недоумением Егор очнулся. Вечер успел сгуститься за окном до непроглядной темноты, которую не умела пробить скучная лампочка на крыльце. Продрав глаза, Егор поднялся и собирался, что ли, выпить чаю, но ноги слушались плохо. Пошатываясь, он побрел на кухню и выпил воды прямо из-под крана, судорожно и жадно глотая. Слегка отпустило. Взлохматив волосы пятерней, Егор прикинул, что, если не слишком поздно, стоит отнести Васе Сазонову отремонтированный чайник. Очень уж не нравилась Егору эта чужая вещь в доме.

Накинув куртку и вдев ноги в ботинки, Егор отправился вдоль заборов к дому Сазонова, который выделялся в череде частных строений общей сиротливостью и крышей, латанной битым шифером. У калитки стояла «скорая». Егор удивился, хотя скорее не удивился. Или даже так: он удивился своему предчувствию, которое его не обмануло и на этот раз. Как выяснилось, Вася полез менять электролампочку над крыльцом, ну и звездануло его как следует, потому что с этой самой электролампочки здорово капало: дождевая вода просачивалась сквозь дырявый навес. Хорошо, что происшествие случилось на крыльце: соседи увидели дугу и сразу вызвали «скорую». В общем, Вася вскоре пришел в себя и заодно протрезвел.

— Говорил я тебе: аккуратнее с электричеством! Тоже мне нашелся Кинг Конг! — При чем тут Кинг Конг, Егор и сам не знал, так, к слову пришло.

Вручив Василию чайник, Егор отправился досыпать, так как с утра нужно было идти проверять электросчетчики в доме по адресу Халтурина, 8. Ничего особенного, конечно, обычная трудовая рутина, только вот теперь, при входе в очередной подъезд, Егору всякий раз хотелось плакать. Потому что он попросту перестал понимать, как и зачем тут живут люди. То есть почему они до сих пор не сгорели и каким образом их древнее электрообо-

рудование все еще в строю. Теоретически этого никак не могло быть. Но еще больше Егора удивляло, что, по данным проверки, всякий раз выходило, что некоторые граждане не только совсем не потребляют электричество, а даже производят его и совершенно бесплатно заливают в городскую электросеть.

Возвращаясь с проверки по улице Халтурина, Егор размышлял, где же на самом деле обитает Даждьбог. На самом деле — весьма условное выражение. Потому что и дураку понятно, что Даждьбог — это древнее мифологическое существо. В библиотеку, что ли, сходить. Спросить у жены Вани Захарова книжек каких-нибудь умных про славянских богов. Да только в библиотеку Егор не заглядывал со школьных лет. У них в школьной библиотеке библиотекарша больно строгая сидела: эту книжку не бери, рано тебе еще, туда не заглядывай и т.д. С тех пор он библиотекарей избегал. Не боялся, но предпочитал не связываться. И даже Ванину жену видел только издалека. Солидная такая, в очках. Наверное, читает перед сном каждый вечер и засыпает с книжкой в руках. Может быть, даже очки не снимает, когда спит, чтобы сны лучше видеть.

А тут вот еще приключилась такая история, что после удара током Вася Сазонов совершенно бросил пить. Как отрезало. И даже хлам со двора вывез. И забор починил. Соседи именно так и полагали, что шарахнуло его как следует, он и одумался. Но Егор-то понимал, что, если даже до полусмерти человека током шарахнуть, ничего в мозгах у того не повернется. Сколько раз такое бывало, что едва в себя трудяга придет, как тут же к бутылке тянетсѧ. Так что все не так просто...

В общем, решил Егор сперва с Ваней Захаровым посоветоваться. Ваня по обыкновению с бутылкой вискаря приперся и закусь прихватил благородную: селедку в сливочном соусе. Только Егору сам дух вискаря отвратительным показался, ацетоном из рюмки тащило. Ну а Ваня принюхался — нормально, говорит. Мы люди простые, нам бы градус повыше, остальное не так и важно. В общем, с горем пополам выпили и селедкой закусили. Так что, осмелев, Егор поведал Ване, что де странные сны видит в последнее время. Про Даждьбога и каких-то крокодилов, которые умеют начальниками прикидываться. Однако Ваня ничуть не удивился.

— Так это еще со времен Салтыкова-Щедрина известно, что начальники все как один твари зубатые. Съесть норовят трудащегося человека вместе с сапогами резиновыми. А того не разумеют, что если всех съедят, кто же тогда работать станет. Одно начальство останется.

— Дак это... — Егор почесал репу. — Может, и к лучшему? Начальству ведь что надо? Отчет о проделанной работе вовремя отправить наверх. А как оно там на самом деле было — это давно никого не интересует. Вот и будет начальство эти самые отчеты писать. Цифры правильные не нарисует, что ли? Нарисует. И премию себе выпишет. А остальное уже не важно.

7

В лето 1071 гивоиты, изгнанные из Белоозера, подались вместе с волхвами на Север и там, зарывшись в ил на глубине, впали в оцепенение, поскольку вслед за листопадом грязнул такой заморозок, что озера покрылись пленкой льда, и ничего другого не оставалось. Великое же оцепенение гивоитов длилось несколько веков, и зашевелились твари только тогда, когда появилась ясность с государственным порядком родной державы. Вот тут-то гивоиты поняли, что настало наконец пора расправить хвост и лапы, потому что пришло их время. За время долгой спячки гивоиты успели поумнеть: эволюция-то у них продолжалась, несмотря на анабиоз. А люди, напротив, поглупели, одурманенные госпропагандой, которая лилась из каждого утюга. Вдобавок внешность теперь приветствовалась любая, главное — одежду подобрать поприличнее. В дорогом костюме от Armani любой крокодил за человека сойдет.

Ну, Егор до этого допер чисто эмпирическим путем. Вот так однажды отремонтировал телевизор, включил, чтобы проверить, все ли каналы показывают, а там по новостям как раз транслировали заседание Госдумы. Глядит Егор — а с трибуны настоящий гивоит вещает. Большеротый, племешивый и с ног до головы весь какой-то гадливо скользкий, хотя в приличном пиджаке и с галстуком. Но Егор как-то вот нутром почувял, что этот — точно гивоит. Он сперва даже хотел жалобу отправить на первый канал, что вы, мол, разве сами не видите. Но вскоре передумал, потому что, когда камера наехала на зал, выяснилось, что гивоит там не один, таких очень много, тварей зубатых.

А тут еще письмецо обнаружилось в почтовом ящике. А в письмеце было велено демонтировать веранду, пристроенную к дому со стороны огорода, потому что-де эта веранда в свое время не была внесена в кадастровый план. И ежели Егор не демонтирует эту веранду к 1 января, то придется ему штраф заплатить в размере кадастровой стоимости участка. И сумма была нарисована такая страшная, что Егор даже засомневался, а не приписан ли к цифри лишний ноль. Вдобавок собственный огород ему предлагалось зачем-то взять в аренду.

Вот тут он в очередной раз репу почесал и всерьез задался вопросом «Что делать?». Вроде бы какой-то русский писатель что-то подобное написал. Но вот что именно — Егор не помнил и решил-таки обратиться в библиотеку. И по поводу славянской мифологии, кстати, тоже. Может, были в древности какие-то легенды о гивоитах, хорошо бы их почитать, чтобы при случае знать, как с этими тварями обращаться. Голову отрубить — как-то неприлично. Еще статью пришлют о жестоком обращении с животными. Но должен же быть иной действенный способ!

В общем, с этим письмечком Егор решил пока ничего не делать, авось пронесет. Можно ведь в конце концов сказать, что отстаньте, не получал я никакого письма!

Но в воскресенье с самого утра он намилился в библиотеку. Оделся по-приличнее, ботинки начистил, хотя последнее оказалось совсем зрячным делом: пока к остановке по грязюке греб, ботинки обрели прежний вид, о чем Егор заранее вроде бы догадывался, что так именно и случится. Но втайне надеялся, что нет, ну а вдруг. И еще Егор надеялся, что библиотека в воскресенье отдыхает. Люди же тоже эти библиотекари. Борщи варят. Дети дома, мужья. Уж очень он сомневался, пустят ли его в эту библиотеку. Может, простым электрикам туда путь заказан. Да и какая именно книжка ему нужна, Егор так и не решил. А допытывать у Ваниной жены стеснялся. Еще подумает, что он малообразованный, посмеется про себя, а то и на людях. Смотрите, мол, кого принесло.

Входную дверь Егор приоткрыл осторожно и столь же осторожно про ник внутрь, прислушиваясь к тишине. Это была та особая тишина, которая случается только в библиотеке. По крайней мере, он так всеми фибрками или жабрами — что там у него за ушами было, почувствовал, что в библиотеке даже воздух особый, насыщенный интеллектуальными флюидами, которые с дыханием затекали внутрь. Оставив куртку в гардеробе, он осторожно заглянул в читальный зал, где, по его представлению, должна была сидеть жена Вани Захарова, но в зале совершенно никого не было, ни единой души. И тут Егор совсем оробел от непонимания. Он, не спеша и даже чуть приседая от волнения, двинулся вдоль книжных полок, изучая имена авторов на книжных корешках в надежде найти хоть одно знакомое. Это было все равно что оказаться в чужой компании, в которой не то что выпить — и время спросить не у кого. Заметив на полке Шопенгауэра, Егор совсем сник. Куда только его занесло? Зачем? Со свиным-то рылом...

— Вы что-то конкретное ищете? — откуда-то из глубины книжных полок раздался почти торжественный голос, и Егор вздрогнул, ожидая, что сейчас ему навстречу выплынет дама-крейсер с высокой прической и в массивных

очках. Однако перед ним возникла высокая тоненькая девушка с острым носиком и яркими черными глазками.

— Я... это... мне бы Ольгу Львовну Захарову... — едва вылепил Егор, от волнения судорожно глотая воздух.

— Ольга Львовна сегодня выходная, — невозмутимо ответила девушка. — Может быть, я смогу вам помочь?

Егор собрался с мыслями. Он едва вспомнил, зачем и пришел в эту библиотеку.

— Так это... книжка вроде такая была... то есть есть. В общем, «Как жить?», кажется, называется. Или нет, «Что делать?».

— «Что делать?» Чернышевского?

Егор пожал плечами, но этот жест можно было расценить и как что, мол, вы тут спрашиваете. Сами, что ли, не знаете.

Девушка скрылась среди полок и появилась оттуда с пугающе потрепанной книгой в черном дерматиновом переплете. Издали эта книга напоминала Библию, и у Егора даже пронеслось в голове: «Библия революции». Где-то он слышал такое определение, но вот к чему конкретно оно относилось, он так и не вспомнил.

— Пожалуйста. — Положив книгу на стол, девушка села за компьютер. — Ваш читательский.

— А я... это... давно у вас не был. То есть... — Егору было стыдно признаться, что в городской библиотеке он вообще никогда не был, даже во время учбы.

— Тогда вас, наверное, нет в нашей базе, — библиотекарша углубилась в компьютер, выстучав что-то на клавиатуре острыми фиолетовыми коготками.

Егор вздрогнул. Он узнал эти коготки. Таким же острым когтем некогда смуглая девица в поле процарапала ему руку от локтя к плечу, и вылинявшая Егорова татуировка «Спаси и сохрани» противно заныла.

— Я вам выпишу новый читательский билет, — бесстрастно произнесла библиотекарша. — Паспорт у вас с собой?

— С собой.

Егор полез в карман за паспортом, и в этот момент ему стало немного стыдно за свой потрепанный документ, который вдобавок однажды пострадал от удара током и поэтому был подпален в уголке.

Библиотекарша брезгливо, как показалось Егору, двумя пальчиками взяла его паспорт и опять залезла в свой компьютер, что-то ловко щелкав на клавиатуре.

— Я вас не отвлекаю? — не в силах выдержать паузу, спросил Егор.

— От чего вы меня отвлекаете? От работы? Моя работа заключается именно в том, чтобы помочь читателю найти нужную информацию.

— Тогда вот что, девушка...

— Светлана Игнатьевна.

— Да. Светлана Игнатьевна, мне нужно найти информацию о крокодилах...

— Пожалуйста. Вон на той полке стоят энциклопедии животного мира, подробно расписаны все виды крокодилов.

— Нет, мне нужно о других крокодилах. Наших, северных.

— Крокодилы на севере не живут. Здесь для них очень холодно, — усмехнулась Светлана Игнатьевна.

— А вот у меня другие сведения. Я слышал, что некогда в Псковской и Новгородской губерниях водились крокодилы, ну, или такие твари, на них похожие. Их еще называли гивоитами. И будто некоторые из них дожили до наших дней и теперь скрываются на самом дне в глубоких местах...

— Откуда вы только черпаете такие сведения? — хмыкнула Светлана Игнатьевна. — Ну что ж, давайте в поисковике наберем.

И она снова что-то отстучала на клавиатуре своими фиолетовыми коготками.

— Ой, смотрите-ка! — Лицо ее выразило крайнее удивление. — Тут действительно пишут, что 26 июня 1889 года крестьяне деревень Чеболакша и Лукин Навок, Петрозаводского уезда, Олонецкой губернии наблюдали в водах Онежского озера зверя, похожего на крокодила. Один из крестьян видел такого зверя в книге про Африку!

— А я что говорю! — возрадовался Егор. Возрадовался он не собственно крокодилам, а тому, что сны его получались не каким-то полночным бредом, а истинными видениями.

— А вот еще цитата. Якобы в 1517 и 1526 годах австрийский дипломат барон Сигизмунд фон Герберштейн посетил русские земли. А потом подробно описал Великое княжество Литовское, которое изобилует рощами и лесами. Там много идолопоклонников, которые кормят у себя дома как бы пенатов...

— Кого? — уточнил Егор.

— Пенатов. Тут так написано... Кормили пенатов или каких-то змей с четырьмя короткими лапами наподобие ящериц, с черным и жирным телом, имеющих не более трех пядей в длину и называемых гивоитами.

— Гивоитами! Точно! — воскликнул Егор. — А я еще сомневался, есть ли такое слово. Значит, действительно гивоиты. Умеют же втереться в доверие, гады! Ну-ну, а что еще там написано?

— В положенные дни люди очищают свой дом, — продолжала Светлана Игнатьевна, — и с каким-то страхом со всем семейством благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище. Несчастья приписываются тому, чье божество-змея было плохо накормлено.

— Нет, ты гляди, какие гады! — возмутился Егор. — Им бы только брюхо набить!

— А чему вы удивляетесь. Крокодилы ни о чем другом не умеют думать.

— Вот именно! О народе, что ли, им думать? Или о проблемах городского транспорта?

— Это вы о крокодилах говорите? — уточнила Светлана Игнатьевна.

— Нет, это я так, к слову, — спохватился Егор. — Большое вам спасибо.

— Да не за что. Вот ваш читательский. Книгу Чернышевского я записала в ваш формуляр, выдается на месяц.

— На месяц? Вот это здорово. А можете мне еще каких-нибудь книжек дать?

— Каких именно?

— Интересных. Ну, там, по славянской мифологии, например. Такие у вас есть?

— Разумеется, — Светлана Игнатьевна покинула свой пост за компьютером и поплыла вдоль полок. Купол ее юбки красиво колыхался вокруг ног. — Вот, например, «Пантеон славянских богов» Жуковского, «Славянская мифология для детей»....

— О, вот Жуковского дайте обязательно. И эту, для детей. Я все возьму.

— Вы пишете научную статью? — поинтересовалась Светлана Игнатьевна.

— Да, то есть... А, у меня просто перстень появился старинный. В Западной славии случайно откопал. Хочу вот узнать, что там на нем изображено.

— Как интересно! — всплеснула руками Светлана Игнатьевна. — А можно посмотреть?

Егор протянул ей кулак, демонстрируя перстень:

— Видите, тут змей лежит. А может, и не змей вовсе, а гивоит. И еще какие-то знаки.

— Ну, это нужно в музей обратиться. Там работают специалисты...

— Ага, и перстень этот сразу себе в коллекцию конфискуют. Нет уж. Знаем мы этих музейщиков!

— Дело ваше, — пожала плечами Светлана Игнатьевна.

На этом Егор откланялся. Поход в библиотеку вверг его в еще большее недоумение. Во-первых, зачем он взял домой книгу Чернышевского «Что

делать?». Он-то имел в виду, что делать с этими гивоитами, а книга, по всей вероятности, была вовсе не о крокодилах и уж тем более не о том, как отстоять право на свой огород. Ладно, можно будет перед сном почитать, чтобы потом при случае похвастаться, что Чернышевского читал.

Но более того Егора смущали фиолетовые коготки Светланы Игнатьевны. Разве могут быть у человека такие ногти? Впрочем, прежде он на ногти мало обращал внимания. А тут вдруг царапнуло.

8

И вот приснился Егору пятый сон Веры Павловны. То есть прямо во сне Егор уже знал, что это сон не его, а Веры Павловны, который видит он, Егор.

Ну, сперва какой-то дракон, облетая окрестности, запутался в проводах и погиб. А когда Егор выдвинулся на место аварии, за ним погнался гивоит на кривых коротких лапах. Жирным хвостом он подметал дорогу так, что пылевой шлейф тянулся за ним до самого горизонта. Наконец Егору это надоело. Он остановился и напрямую спросил у гивоита, зачем тот за ним гонится. А гивоит ответил, что он очень переживает по поводу развода и ему нужно это с кем-то обсудить. Жена, видишь ли, ушла от него, федерального чиновника, к простому слесарю ЖКХ. Егор во сне подумал, что правильно сделала.

А потом Егор устроился работать в ад. Наставник недружелюбного вида объяснял, что его работа заключается в том, чтобы отыскивать живых подонков и подстраивать обстоятельства вокруг них так, чтобы они поскорее погибли. Случайные жертвы не поощряются: штраф. И действовать напрямую тоже нельзя, все должно выглядеть как простое стеченье обстоятельств. За удачно проведенную операцию ад выплачивал Егору проценты в виде энергии. И чем гаже был подонок, отправлявшийся на тот свет, тем больше получался процент. С мелочью возиться не имело смысла. А чистая энергия была чем-то вроде местной валюты.

На этом месте Вера Павловна проснулась и попросила чаю со сливками. А Егор еще некоторое время спал и слышал сквозь сон, как под окнами пьяницы выясняли отношения, что было довольно странно. Тем более что пьяницы были какие-то интеллигентные, выражались витиевато, будто из Питера приехали. А когда сам Егор проснулся, выяснилось, что это два кота под окном друг на друга орали.

В общем, вчера, вернувшись из библиотеки, Егор сразу же открыл книгу Чернышевского и обнаружил, что первая глава называется «Дурак». Определение напрямую относилось к нему. Совершенно верно: полный дурак, что поперся в эту библиотеку, изображая из себя интеллигента, а в результате вляпался. Вдруг, когда он теперь пойдет эту книгу возвращать, Светлана Игнатьевна спросит, понравилось ли ему и какие выводы он сделал из Чернышевского. Однако, судя по первой главе, это был какой-то исторический детектив, так что все не так страшно оказалось. Непонятно только, зачем этот Чернышевский кривлялся, мол, нет у меня ни тени художественного таланта, я даже и языком-то владею плохо. Все бы так языком владели, как он, может, народ бы и потянулся в библиотеку, а не к телевизору. И сны Веры Павловны Егору тоже понравились, содержательные.

А «Славянские боги» Жуковского оказалась еще лучше. Читает — и все сразу становится понятно. Дурак он был в самом деле, что раньше книжки не читал. И душе полезно, и интересно. Но главное, что вынес из чтения Егор, — это то, что вещь находит хозяина не случайно. То есть она его долго ждет, а потом сама в руки дается. В смысле кольцо. А еще он вычитал у Жуковского, что если на кольце изображен змей, то хозяину никакой змей как раз не страшен, потому что он, то есть хозяин, над всеми змеями начальник.

Тут случилась еще такая история, что, когда Егор книжку Чернышевского закрыл и на комод положил, чтобы завтра еще почитать перед сном, ладонь его пронзило будто слабым током. И такая мысль в голове мелькнула,

что библиотека сгорит. Даже что-то вроде дымка обозначилось в воздухе. Егор вздрогнул: что еще за мысли дурные? Теперь специально ладонь положил на книжку — и точно понял, что библиотека со дня на день сгорит, если не принять меры. Какие меры? А вот это станет известно на месте.

В понедельник после работы он, завернув Чернышевского в газетку, чтобы был реальный повод, отправился в библиотеку. Почему-то ему представлялось так, что если Светлана Игнатьевна работает по воскресеньям, то и по вечерам должна быть в библиотеке. Может быть, она вообще жила в библиотеке и на улицу выходила только за хлебом.

Егор не ошибся: Светлана Игнатьевна сидела за кафедрой, и ногти у нее по-прежнему отливали фиолетовым, и черная челка вздрагивала всякий раз, когда она поворачивала голову.

— Здравствуйте! — громко поздоровался Егор, а сам осторожно осмотрел стены: не повреждена ли где электропроводка, не искрит ли.

Снаружи все выглядело спокойно, однако чуть заметный запашок гаря в воздухе проклевывался. Незаметный для других, но явный для Егора.

— Вот, я Чернышевского за один вечер прочел, — произнес Егор, а сам уставился на розетку за кафедрой, из которой торчал тройник, плотно уплотненный штепселями. Вокруг тройника роились вихорыки микротоков, грозя свиться в один пожароопасный клубок.

— Мне очень понравилось.

Принимая книжку, Светлана Игнатьевна взглянула на Егора с интересом, но ничего не сказала, а только понимающе кивнула.

— Так это... другие книжки я еще почитаю, они дома остались, — объяснился Егор.

— Пожалуйста, — ответила Светлана Игнатьевна. — Потом можем еще продлить.

И тут синяя молния выскочила из розетки и пропорола пространство прямо по направлению к потолку. Егор даже охнул от неожиданности, только вот Светлана Игнатьевна, кажется, ничего не заметила. Оторвавшись от монитора, она спросила:

— Что-то случилось?

— А вы разве не видели?

— Нет. А что в самом деле...

— Да вот же, молния! Светлана Игнатьевна, нужно срочно всех эвакуировать. Сейчас начнется пожар!

— Пожар? С чего вы взяли?

— Я же электрик! А у вас розетка искрит.

Светлана Игнатьевна с удивлением посмотрела на розетку:

— Все в порядке. Ничего не искрит.

— А я говорю: искрит. Вызывайте пожарных и срочно эвакуируйтесь!

Есть в зале еще читатели?

Светлана Игнатьевна растерянно огляделась:

— Никого и не было. За целый день вы один.

Егор сокрушенно покачал головой. Как же так? Однако нужно было спастися.

— Пожарных вызывайте, я говорю! Гарью пахнет, не чуете разве?

Светлана Игнатьевна растерянно пожала плечами.

— Ну ладно. Только я скажу, что это вы вызвали, электрик.

— Да говори что хочешь! — почти закричал Егор. — Пора когти рвать отсюда!

Светлана Игнатьевна в еще большей растерянности набрала номер.

— Алло! У нас пожар. То есть почти. Где? В городской библиотеке. Что горит? Пока ничего не горит, но так электрик сказал... Ну вот, они отключились.

— Гады! — Егор сам набрал второпях 112. — Алло! Соедините с пожарной частью. Вам русским сказано: выезжайте в городскую библиотеку! Тут гарью тянет. Кто говорит? Электрик Баженов! Я и несу ответственность!

Обесточив библиотеку, Егор вывел Светлану Игнатьевну на улицу. Она едва успела надеть пальто и теперь стояла в нерешительности, пряча нос в воротник. Из темных окон библиотеки изливался липкий сумрак.

— А почему ничего не горит? — прервав молчание, спросила Светлана Игнатьевна.

— Потому что я вас обесточил, — объяснил Егор.

— А зачем тогда пожарных вызвали?

— Затем, что в другом месте загореться может. Здание старое. Проводка давно сгнила. Я замыкание за полчаса чую.

— Ну, я не знаю... — в голосе Светланы Игнатьевны прорвалось возмущение.

— Вы не знаете, а я знаю! Моя б воля — я бы весь дом эвакуировал.

— Ха-ха. Вот сейчас приедут пожарные...

И в этот момент на втором этаже прямо над библиотекой, куда давеча ударили синяя молния из розетки, полыхнул в темном окне яркий сноп искр, а следом занялась тюлевая занавеска, и едкий черный дым вырвался из форточки, потянувшись струйкой в сумеречное небо, — это загорелись пластиковые потолочные панели. Тут же из-за поворота выскочила пожарная машина и, тяжело развернувшись в узком проезде улицы, выпустила из своего чрева команду пожарных.

— Хозяева где? — указав на пламя в окне, крикнул высокий пожарный с густыми усами.

— Нет дома, скорее всего, — ответил Егор. — Проводка у них загорелась.

— А ты откуда знаешь?

— А я электрик. Сперва сноп искр выскоцил — значит, коротнуло, потом занавеска занялась.

— Понятно.

Пожарный велел вытянуть штурмовую лестницу и, подхватив огнетушитель, сам полез к окошку, из которого дым валил густыми черными клубами. Выбив топориком стекло, он скрылся внутри, а еще двое пожарных разворачивали рукав на земле.

Минуты через две-три черный дым поредел, а там и вовсе превратился в жидкую струйку. В окне показался тот самый пожарный:

— Отбой. Пеной все залил. Воды не нужно. Тут полстены успело выгореть: замыкание, не иначе.

На улице тем временем уже успели столпиться зеваки. Раздавались ре-пле-ки: «Да это Зинки-алкоголички квартира», «Она в вечернюю смену ушла. Раньше десяти не вернется», «А чем она виновата? Дом старый, у меня счетчик сгорел на выходных»...

Егор видел, как в небе над крышей мелькают электрические разряды, заключенные будто в облако плазмы. И это облако готово излить в электросеть скопившееся напряжение через любой маломальский дефект.

— Весь дом нужно обесточить, — сказал Егор.

— С чего вдруг? — поинтересовался усатый пожарный.

— А чтобы вас повторно не вызывать. Тут такая проводка, что я тебе дам. Сейчас кто-то выключателем щелкнет, искра пробежит — и привет.

— Тоже мне теоретик, — хмыкнул пожарный. — Сматывай рукава, ребята. Мы свою миссию выполнили.

— Зря вы так, — вмешалась Светлана Игнатьева. — Он пожар еще до пожара предсказал.

— Как это?

— А вот. Сказал, что сейчас загорится, мы вышли на улицу — и вот, загорелось.

— Да? — пожарный внимательно посмотрел на Егора. — Это подозрительно. А ты часом сам ничего в квартиру не подложил?

— Счас, — хмыкнул Егор. — Говорю: я электрик. Еще не загорелось, а я уже чую. Да я, между прочим, целую библиотеку спас!

— Тогда я пойду снова свет в библиотеке включу, — сказала Светлана Игнатьевна. — У меня рабочий день еще не закончен.

— Нет, не делайте этого! — воскликнул Егор.

— Почему?

— Библиотека сгорит!

— Не боись, теперь не сгорит, — подбодрил пожарный Светлану Игнатьевну.

И тут с крыши, с раскоряченной на коньке антеннами, сорвалась вниз синяя молния и прошила дом до самого низу. Сеть электропроводки, окутавшая все стены наподобие клубка змей, вдруг зримо обозначилась сквозь кирпич, огни окошечек ярко вспыхнули и разом потухли.

— На чердак! Живо! — первым очнулся усатый командир пожарных.

Раздался треск, будто кто-то зубами перекусывал несущие балки. С чердака повалил дым. Раздались крики, вокруг поднялась суматоха. Отовсюду высекали люди, бросались друг к другу, стремглав куда-то бежали. Пожарные вспыхах снова выпростали рукав. А Егор стоял и смотрел на разгоравшийся пожар в сокрушении, что вот теперь он точно ничего не может поделать и что библиотека сгорит дотла, или же ее зальют водой, чтобы не сгорела. От воды ли — от огня, но книжки погибнут. Чего тогда стоят его предчувствия, если он ничего не может спасти?

Однако пожарные успели потушить очаг возгорания на чердаке, прежде чем огонь ушел в глубь здания. Библиотека не пострадала, никто вообще не пострадал, кроме драного кота, обитавшего на чердаке. Кот успел наглотаться дыма, его спустили по лестнице вниз, и он, пошатываясь, добрел до ближайших кустов и там упал, откинув лапы в бессилии. Егор нашел кота, вытащил из укрытия и прижал к себе. Кот сперва тяжело дышал через открытую пасть, выдувая из бронхов остатки дыма, потом дыхание выровнялось, кот даже замурлыкал. А вот у Егора закружилась голова, и он сам уже не понимал, где он и зачем стоит на улице с котом на руках.

9

Сейчас сложно в это поверить, однако еще в девятом веке на Руси ни в одном доме не было ни одного самого завалящего котяры. Первых котов в нашу страну завезли мореплаватели. Эти пушистые твари были настолько редки, что за их воровство человек должен был заплатить штраф гораздо больше, чем за воровство коровы. А ежели кому-то случалось нечаянно или специально убить чужого кота, кроме денежной компенсации ему полагалась предоставить владельцу другого котика.

Во времена языческие коты считались священными спутниками бога скота — Велеса. Кроме того, они охраняли дом от лихих людей и злых сил, а также проводили усопших в мир мертвых. Ну а когда христианство запретило поклоняться славянским богам, вместо Велеса покровителем скота стал святой Власий. От этого имени произошла кошачья кличка Василий. Но далеко не каждый человек на Руси способен был держать Василия дома. Дорогое было удовольствие. Поэтому коты жили исключительно в домах обеспеченных. Даже в Москве.

Еще рассказывают, что у Петра Великого был любимый кот по кличке Василий, которого он в 1724 году приобрел за большие деньги у некоего купца из Голландии. Петр I быстро понял, насколько полезными могут быть коты, и издал специальный указ, обязывающий держать этих усатых тварей в каждом амбаре.

А в 1745 году Елизавета Петровна распорядилась, чтобы ей привезли тридцать лучших пород кошек из Казанской губернии, а также человека, ухаживающего за ними. Тогда считали, что животные из этого региона лучше остальных охотятся на грызунов. В домах же обычных крестьян кошки появились только к концу восемнадцатого века, когда они размножились в

достатке и уже не стоили таких больших денег. Напротив: хозяева уже не знали, куда девать этих котят. А до этого времени простые люди не могли позволить себе их завести.

Только вот Егору животное попалось на редкость пакостное. Во-первых, которая смердел, поскольку хорошей жизни не знал с рождения. Чердак — не лучшая среда обитания. Вероятно, он привык охотиться на крыс и прочую живность, поэтому, попав к Егору в дом, первым делом припал к щели в кухонном углу и почти целиком в нее затек, изучая, чем бы поживиться. От предложенного молока отказался, но отрезок колбасы проглотил с жадностью, урча и давясь.

Егор попробовал вымыть его в тазу с шампунем и щеткой — едва остался жив. Когти у котяры оказались, как у саблезубого тигра, и клыки соответственные. Тварь вырвалась и с диким криком забилась под шкаф, сводя на нет Егоровы гигиенические усилия: под шкафом было полно пыли и пауков.

— Эх ты! А я-то тебя по доброте пригрел, — сокрушился Егор, обрабатывая раны перекисью. — Думал, оклемаешься — еще человеком станешь.

Кот с ненавистью глядел на него из-под шкафа и пофыркивал, сдувая пастину с усов. Только когда наступила ночь, он выполз и пометил поочередно углы, ощущив себя хозяином положения, а также стянулся со стола остатки вечерней трапезы. Под утро, однако, утомился, присмирился и даже пристроился в постели у Егора в ногах, выражая благодарность.

Перебить кошачий дух оказалось непросто. Егор обработал углы «Кометом» и побрызгал освежителем воздуха, но стойкий кошачий дух упрямо пробивал обоняние, и тогда Егор в сердцах выставил кота на улицу, надеясь, что бродячая жизнь животине больше по душе. Проветрив комнаты, Егор сварганил яичницу с колбасой, и, когда уже плотно обосновался за столом и поднес вилку ко рту, в форточку влетел полосатый супостат и, ловко спланировав на пол, заголосил, требуя своего.

Егор ругнулся, но завтраком поделился. Отправляясь на службу в свою жилконтору, он плотно закрыл все форточки и выставил котяру во двор, напутствовав на новые приключения.

Не тут-то было. Домой Егор возвратился уже в сумерках. И вот еще от калитки уловил во дворе какое-то движение, потом два огонька зловеще загорелись под окошком. Хитрая тварь и не думала уходить. Еще бы! Лучше в тепле возле печки лежать, чем гонять по чердакам голубей.

Заметив Егора, кот пару раз приветственно мяукнул и устремился в ноги хозяину, потерся о штанины головой и туловищем, норовя заглянуть в глаза. Очевидно, кот сам так решил, что остается на ПМЖ, и Егор не сумел противиться: скотина хоть и себе на уме, да все же с ней веселей. Живая душа.

Разделив с котом вечернюю трапезу, Егор подкинул в печку дров и еще немного почитал Жуковского на сон грядущий. С книжкой легче засыпалось вообще. Не то что с телевизором. Вот так настыришься на ночь дурацких фильмов и глаз не сомкнешь. Эх, да что говорить!

И хотя ответа на вопрос о том, что делать с верандой, Егор так и не обнаружил в книжке, заснулось легко и незаметно, как в детстве. Вера Павловна успокоилась и больше не тревожила Егора своим чаем со сливками. Однако едва минула полночь, которая взгромоздился ему на грудь всем своим мощным телом и серьезно придавил шею когтистыми лапами. Егор мгновенно проснулся. На груди у него сидело чудовище размером с небольшого льва с огромными зелеными глазами.

— Вставай! — велело чудовище человеческим голосом. — Отдели Янь от Нави, свет от тьмы и день от ночи.

Стряхнув чудовище с груди, Бажен-ведун встал на ноги и, ведомый чудовищем, проследовал во двор.

Синеватая луна висела в зените, проливая на землю мертвенно-бледный свет. Давно погасли огоньки в домах, и более никакого источника света не наблюдалось, кроме лунного, тем не менее Бажен-ведун видел все вокруг

ясно, как днем. Кот его внушительных размеров неспешно ступал впереди, прокладывая путь мягкими лапами. И вот они вышли к шоссе, залитому тьмой, как и все окрест. По обочинам его не светилось ни одного огонька, только вдалеке иногда мелькали фары случайных машин.

Бажен-ведун воздел руки к темным небесам, и тотчас же первые робкие огоньки загорелись в мертвых доселе фонарях. Ток побежал по цепи, общая радость разлилась в воздухе, и вскоре горевшие вполнакала лампы засияли во всю свою мощь, и каждая выбоина на шоссе сделалась зримой. Следоможили огоньки во дворах, не ко времени заголосил спугнутый внезапным светом петух, залаяли дворовые псы...

Света, больше света!

Электрические импульсы исходили из самой земли. Все правильно: Земля круглая и крутится на собственном электричестве! Без электричества само по себе вообще ничего не крутится. Бажен-ведун ногами ощущал, как бродят в глубоких слоях почвы природные токи, как верхние слои атмосферы накапливают энергию, подобно электрическому полю. Гигантский природный конденсатор заряжался в одних местах и разряжался в других, создавая глобальный электрический контур. Работала огромная атмосферная электростанция, которая аккумулировала электричество из воздуха. Вскоре сияло и пыпало все вокруг. Он неспешно шел вперед по дороге, ведомый своим котом, и по ходу их шествия оживали давно мертвые фонари, и дажеочные облака в самом поднебесье начинали светиться таинственным желтоватым светом.

Полуночная машина, заблудившаяся в переулках, вынырнула из-за угла на свет и резко, с визгом притормозила. В ярком электрическом свете прекрасно читалось крайнее изумление на лице водителя. Едва очнувшись, тот громко выругался и, высунувшись из окошка, спросил сиплым голосом:

— Эй, мужик! А чё вообще происходит?

Егор мгновенно очнулся, и свет в округе потух. Теперь он едва различал силуэт машины метрах в двух от себя. А чё вообще происходит? Он сам готов был задать этот вопрос, обнаружив себя стоящим в домашних тапочках на обочине шоссе. Как он сюда попал?

Поежившись от холода, он отмахнулся от вопроса и рысью потрусил домой, чертыхаясь по пути и стряхивая остатки наваждения.

Кот следовал за ним. Но в облике его теперь ничто не напоминало того клыкастого чудовища, что восседало у Егора на груди. Кот стал обычным драным котом. Хотя уже не совсем и драным. За пару дней домашних условий он слегка отъелся и отлежался, приняв почти приличный вид. Он успел прошмыгнуть в дом вслед за Егором и предпочел залезть под шкаф, чтобы не попадаться хозяину на глаза.

Егор вскипятил чайник, влез в шерстяные носки и, наскоро глотнув горячего чаю, завалился спать.

В эту ночь ему приснилось, как работает природная электростанция. Если в атмосферу запустить воздушные шары, которые способны притягивать электричество. Эти шары нужно соединить проводами, а провода в свою очередь закрепить на земле в резервуарах с водным раствором электролита. Если такой шар поднимется до низких, ионизированных слоев атмосферы, постоянный ток потечет по проводу через электролит, из-за чего вода в резервуаре разложится на водород и кислород. Далее эти газы можно собрать так же, как в любом другом электролитическом устройстве собирают газы. Водород станет горючим для топливных элементов или автомобилей на водородном топливе. Но велики ли запасы электричества Земли и существуют ли токи утечки?..

Тут на самом интересном месте кот громко заорал, требуя то ли еды, то ли просто внимания хозяина. Проснувшись, Егор еще некоторое время лежал, глядя в потолок и размышляя над тем, что это такое ему приснилось и почему он лежит в шерстяных носках. Ночные приключения представля-

лись ему теперь обрывком странного сна, да и последующий сон об атмосферном электричестве казался поутру полубредом, потому что глобальные вопросы изобретательства его никогда не волновали.

Утром на службе Егора встретили почти радостно, засыпав вопросами о ночном происшествии, которое случилось в пределах его окраины. Что да как. В самом деле, что ли, вспыхнули перегоревшие фонари, как долго продолжалась иллюминация и чьи же это могут быть шутки. Егор отнекивался. Мол, он спал беспробудным сном, а что там на улице происходило, его как-то и теперь не волнует. «Дурак ты, Егор», — заключили товарищи электрики, в которых еще не потух окончательно исследовательский дух. А Егор и не возражал, памятуя Чернышевского, который прямо признавался: я дурак, хотя по всему выходило наоборот.

Вдобавок еще звонок поступил откуда-то свыше. В смысле не из верхних слоев атмосферы, а из головной конторы. Разыскивали Егора Петровича Баженова, который пару дней назад то ли предупредил, то ли сам организовал пожар в городской библиотеке, когда вспыхнуло сперва внизу, а потом и на чердаке. Но главное, что этот самый Баженов будто бы заранее знал, что все именно так и случится.

— Баже-енов! — громко кричал начальник. — Баже-енов! Тебя сам директор Главсети Бурдалюк вызывает. Что еще натворил?

Егор пожал плечами.

— Приказано явиться в Главсеть. Так что ноги в руки — и дуй! И чтоб через пять минут духу твоего здесь не было!

Начальник раскраснелся от натуги, переживаний и немного оттого, что в Главсеть вызывают какого-то Баженова. Может, тот и организовал пожар, чтобы обратить на себя внимание?

Егор послушно пустился в путь. Благо головная контора располагалась в десяти минутах быстрой ходьбы. В дверях его никто не задержал, хотя Егор по привычке слегка робел при входе в любую контору, в которой теплилась своя особенная жизнь, тем более в Главсете сидели большие начальники.

Найдя кабинет директора, Егор осторожно постучал, а потом, когда никто не ответил, тихонько приоткрыл дверь и на возглас «Входите!» уже целиком затек в просторную приемную. Ему достаточно было сказать: «Я Баженов», как секретарь с пониманием кивнула и доложила по телефону, что пришел Баженов. Еще через пару минут его пригласили в кабинет к главному.

За столом сидел гивоит. Едва Егор вошел, как тот распахнул зубастую пасть и рявкнул что-то вроде «кто тебе позволил» или что-то в этом роде. Егор растерялся. Нос к носу с гивоитом он сталкивался впервые, хотя уже был готов к тому, что в производственной практике гивоиты рулят.

— Кто позволил, простите, что? — переспросил Егор.

Гивоит выдал длинную тираду о том, что какой-то там электрик, электришко, посмел вызвать целую пожарную команду, когда пожара как такового не было, и вообще никто ничего не понял, что там в конце концов произошло.

— Пожар и произошел, — спокойно ответил Егор. — У меня электро-рекцепция. Ни х на аварии. Любое замыкание за полчаса чую.

— Ты мне рассказывай! — взвился гивоит, тряся дряблым телом. — Ты мне рассказывай! — повторил он, упирая на «с-с-с», и высунул язык изо рта, как змея.

— Так а чего?.. — Егор в волнении крутанул перстень на пальце и тут заметил тревожный взгляд гивоита. — Там провода грелись от утечки тока, изоляция постепенно обуглилась, ну и — короткое замыкание.

Бурдалюк вперился глазами в волшебный перстень и затрепетал внутри своего костюма. Лицо у него зrimо позеленело, а зрачки превратились в две узкие щелочки.

— Ты... это... простите. Сразу бы сказали... — странным образом процидил сквозь зубы Бурдалюк.

— Сказали что? — удивился Егор.

— Нет, я никак не мог подумать... Мы не могли подумать... То есть... Галя, чаю! — Он неожиданно заорал так, что окна зазвенели.

Галя вошла с подносом, на котором стояли две чашечки с дымящимся напитком и початая коробка конфет.

— Не могу отказать себе в сладком, — говоит признался с любезной улыбкой. — Угощайтесь. Нам предстоит обстоятельный разговор.

— Электричество — вообще штука обстоятельная, и заниматься им нужно только по обстоятельствам, то есть когда припечет, — расплывчато ответил Егор, но сам при этом очень удивился: какой еще обстоятельный разговор?

Слегка дрожащими от волнения пальцами он взял с подноса фарфоровую чашечку, ощущив в этот момент что-то вроде хрупкости самой жизни. Чашечка в его трудовой ладони была точно как скорлупка. Но чая он все же отпил и конфетой закусил. Зачем отказываться, если угощают?

— Так вот, Егор Петрович, — продолжил Бурдалюк, нервно покручивая большими пальцами. — Вы, значит, простым электриком трудитесь?

— Работаю по специальности, — ответил Егор.

— Так-так, по специальности, значит, — Бурдалюк прошамкал толстыми губами. Но по его интонации было совсем непонятно, хорошо это или плохо.

— А дальше учиться не думали? — неожиданно спросил Бурдалюк.

— Учиться? — У Егора с языка чуть не сорвалось: «Зачем?» Зачем в самом деле, если и так неплохо живется? — Нет, как-то не задумывался. Да и лет мне уже немало, чтоб учиться.

— Ну, учиться никогда не поздно, — по-учительски заключил Бурдалюк.

Именно так некогда говорил учитель физики в Егоровой школе. Лысый занудный дядька Давид Самуилович, который физику объяснял так, как будто ученикам мстил — за то, что вынужден работать в школе, а не в более приличном месте. Каждый раз во время контрольной Егор спрашивал у него, сколько нужно сделать на тройку. И каждый раз Давид Самуилович ему честно отвечал, что для этого нужно сделать правильно хотя бы половину. Егор делал ровно половину заданий — и ни примером больше. При проверке его работ Давид Самуилович неизменно находил не менее трех ошибок. И Егор снова получал двойку...

Вот так случайно нахлынуло, захватило воспоминание. И все же Егор все никак понять не мог, почему вдруг начальник проявил к нему такую любезность и зачем заговорил об учебе. Какое ему вообще до него дело?

— Я насчет производственной карьеры, — уточнил Бурдалюк. — Нам нужны молодые перспективные кадры.

— Да какой же я кадр! — удивился Егор. — И в начальство ничуть не стремлюсь.

— Вот это напрасно, — сказал Бурдалюк. — Не всегда человек про себя всё знает. Вот и вы не знаете. Но если вы настолько хорошо электричество чувствуете, вам самое место в управленацах.

— Это же на месте легко определить, где сейчас заискрит. Атмосфера сгущается, синие разряды проскаивают.

— Неужели? — удивился Бурдалюк. — Никогда такого не замечал.

— Это потому что вы в кабинете сидите! — Егор прикусил язык: не сболтнул ли он лишнего. Однако говоит и ухом не повел, сохранив любезное выражение лица.

— Электрик вообще должен быть грамотным в своем деле, иначе он не только сам себя покалечит, но и других! — в запале продолжил Егор. — Я уже устал от людей, которым объясняешь простейшие правила, предупреждаешь, что пожар может случиться, а потом у них розетка загорится на бетонной стенке, и вот они смотрят баранным взглядом: «Мы же не знали, что это так быстро может случиться. Мы думали, еще месяц-другой потерпит!»

Он еще рассказал, что электричество — такая таинственная субстанция, которая одним открывается, а другим совсем не открывается. То и другое,

скорее всего, зависит от личных качеств потребителя. Он бы мог еще долго рассуждать о загадочных силах, которые за всем этим стоят, но Бурдалюк жестом его остановил и сказал, что направляет Егора на курсы повышения квалификации, чтобы впоследствии продвинуть по службе. Учиться можно дистанционно.

К фантазиям начальника Егор отнесся скептически, но на курсы пойти согласился, чтобы впоследствии, так сказать, подвести научную базу под личные отношения с электричеством. А вообще он так и не понял, что означал этот его разговор с начальником и почему гивоит пристально и даже с волнением изучал его исторический перстень. Неужели все дело в нем?

Жаль, проверить свою теорию в тот же день Егор не успел, потому что в жилконторе гивоитов не было, да и на улице они встречались нечасто. Гивоиты передвигались в основном на машинах и работали в таких учреждениях, куда простого трудящегося, простолюдина в их понимании, без пропуска не пустят. Ну, если только проводку починить. Однако проводка в начальственных зданиях была надежной и починки не требовала.

10

— Егор, дело такое, что... — Колян не договорил, выставляя на стол поллитру. — Давай-ка сперва хряпнем, а там я все подробно расскажу. Закуску сообразишь?

Егор неохотно достал из холодильника початую банку огурцов. Водку пить ему не то что не хотелось — его просто воротило от одного вида бутылки. Колян тем временем уже разлил водку по стаканам, заученным движением залпом хряпнул сто граммов и пальцами выудил из банки огурец.

— Слышишь, чего говорю... — выдохнув, сказал он.

— Да ты присядь, в ногах правды нет. — Егор указал ему на стул и немного сам удивился, какую фразу слепил. Откуда только выдернулось это «в ногах правды нет», из каких глубин? У Чернышевского, что ли, вычитал?

Колян тяжело плюхнулся на стул.

— В общем, так, — без предисловий начал он. — Разговаривал я сегодня с одним антикваром. Слоники в салоне продались, я за деньгами зашел, ну и закинул удочку по поводу твоего перстня. Так и так, говорю, перстень, видно, особенный, со змеей. У него сразу глаза загорелись. Как бы, говорит, мне посмотреть на этот перстень? Вряд ли, мол, что-то особенное, но на всякий случай... Ну, это он для отвода глаз так говорил. Чтоб бдительность усыпить и поменьше заплатить за твой перстенек.

— А я его вовсе продавать не намерен! — возмутился Егор. — С какой радости ты вдруг моим имуществом торгуешь?

— Тоже мне имущество! — хмыкнул Егор. — Обычное антикварное баражло. Я бы и возиться не стал, если бы не ты. Захотел помочь. А ты чего не пьешь? — Не дожидаясь ответа, Колян опять наполнил стакан, опрокинул в горло, закусив огурцом, и грязно выругался.

— Голова с утра болит, — грустно произнес Егор. Но грустно не потому, что голова болела, — не болела она вовсе. А просто потому, что Егору действительно не хотелось водки. Ну вот совсем не хотелось — и точка!

— Так что мне этому антиквару теперь сказать? — уточнил Колян.

— Так и скажи, что не продается перстень.

— Почему?

— Потому что он мне самому нужен. Чего непонятного-то?

— Ну ты, Егор, мудила! — выдал Колян. — А вдруг это какой-нибудь царский перстень, а? Вдруг Иван Грозный опричника своего наградил перстеньком, а тот его по пьянке поселял?

— Он поселял, а я подобрал. Все, я больше не хочу говорить об этом.

— Тогда давай выпей.

— Выпить тоже не хочу. Говорю: голова болит.

— Не свисти. Бабу, видать, в гости ждешь. Боишься, что я ее у тебя отобью? Отобью как пить дать. Так точно не будешь пить?

— Точно.

Колян наполнил третий стакан и опять залез пальцами в банку с огурцами. Рассол в банке изрядно помутнел.

— Ну ла-адно. Видно, ты сегодня не в настроении, — заключил Колян. — А про перстенек хорошо подумай. Вот увидишь: выгорит дело с этим антикваром!

После ухода Коляна Егор подобрал веником с полу песок, просыпавшийся с ботинок приятеля. Он и сам себе объяснить не мог, откуда в нем взялась такая неприязнь к приятелю, то есть к бывшему приятелю. Но теперь даже прах с его ног был Егору неприятен, и он поспешил замести грязные следы.

Котяра еще терся возле ног, льстивая тварь. Как жрать захочет, так и трется: мыр-мыр, тыр-тыр. К тушенке пристрастился. Он ее даже вместе с макаронами трескал за обе щеки, а на мышей теперь и внимания не обращал. Вот вчера еще приснилось или не приснилось, что котяру опять разнесло до львиных размеров, взгромоздился Егору на грудь и давай вещать, что ты теперь надо всеми гивоитами начальник. К любому в кабинет без стука зайдешь — не прогонит. Попробуй намекни этому главному по электричеству насчет подметного письмеца, что, мол, велено веранду снести. А у тебя хата того, тысяча девятьсот сорок седьмого года постройки, венцы мышами изгрызены вдоль и поперек. Веранду тронешь — и домишко по бревнышку рассыплется. Егор во сне отбивался: «Сгинь, изыди!», а котяра знай себе поет: «Может, нам квартиру благоустроенную дадут. С балконом».

Однако случилось так, что Егора опять вызвали в Главсеть и оттуда уже повезли на казенной машине на какой-то объект, который пожарная инспекция не принимала по причине неисправной проводки. А почему она неисправная — никто определить не мог. Вроде все на месте. А выключателем щелкнешь — паленой резиной тянет.

Ну, приехали на объект. Объект здоровый больно, будущий торговый центр. Зашли внутрь. Паленой резиной в самом деле несет, даже если не принююхиваться специально. Егор по центру зала встал, углы взглядом окинул — проводка внутри стен змеится исправно, как ей и положено. Целая — Егору ее сквозь стены видать. И розетки на месте, нигде не искрит. Потом он руки к потолку воздел, велел: «Гори!» — и свет во всех помещениях загорелся одновременно. Руки опустил — и свет потух. Бурдалюк, которого, кстати, звали Геннадием Степановичем, вроде бы удивился, но не очень. Видно, ожидал от Егора чего-то подобного. А Егор глазами по сторонам пошарил и выдал:

— Изоляция дымит в соединительной коробке. Но не здесь, в соседнем помещении. А через розетку тянет сюда.

Бурдалюк только головой покачал:

— А как вы, Егор Петрович, это определили?

— Говорю, у меня нюх на всякие неисправности.

— А когда свет загорелся, это «Алиса» так сделала по команде?

— Типа того, — уклончиво ответил Егор, попутно соображая, а вот как, интересно, Геннадий Степанович маскирует свой хвост.

— Ну, молоде-ец, — похвалил Бурдалюк. — Премию в этом квартале выпишем. Или, может, у вас еще какие-то просьбы имеются?

— Да вот, — застенчиво начал Егор. — Живу я на самой окраине, в доме сорок седьмого года постройки, мыши венцы изгрызли.

— У вас, наверное, и горячей воды нет?

— Ну почему? Есть. Только она холодная, на колонке. Меня еще пять лет назад переселить обещали, а тут вдруг вместо этого письмо пришло, чтобы я веранду, значит, снес незаконную.

— Веранда незаконная? — уточнил Бурдалюк.

— Да кто ж ее знает! Всю жизнь, сколько себя помню, веранда была как веранда... Раньше ж ничего не оформляли.

— Я вас понял, — даже не дослушав, сказал Бурдалюк. — Конечно, безобразие, что такие ценные специалисты прозябают в нищете и лишениях. Уточните, в каком районе живете?

— Между улицей Халтурина и Загородным шоссе. Наш район сразу после войны построили.

— Как же, знаю, — активно закивал Бурдалюк. — Давно пора под снос. Не только веранду надо снести, а вообще все под корень, там в плане застройки новый микрорайон... В общем, я позову куда следует. Не переживайте.

Вернувшись домой, Егор первым делом накормил кота до отвала. И, пока тот трескал навагу, урча и давясь, Егор выговаривал животному происшествие, которого при обычном распорядке жизни никак не могло случиться:

— Вот ты скажи, зверюга, как такое может быть, что простому электрику обещают целую квартиру? За какие такие заслуги? А просто так, за здоровью живешь. Еще бы две комнаты дали — вообще красота. И с балконом, а! Я на этом балконе цветы посаджу, чтоб было как во Франции, прикинь. С улицы наверх посмотришь — а на балконе вместе хлама целая грядка цветет. Тут тебе и бархатцы, и фиалки, и черт-те знает что еще...

Кот, вцепившись в крупную рыбину, предпочел скрыться под диваном с добычей. И Егор еще выговаривал ему и себе, какая замечательная начнется жизнь. А если еще поступить учиться — тогда появится дополнительный повод посещать городскую библиотеку. Потому что без повода в библиотеке появляться не принято.

Однако месяц прошел с того дня, как Егор взял в библиотеке книжки. Он же прекрасно запомнил, что Светлана Игнатьевна наказала: книги можно держать на руках ровно месяц. А что будет, если просрочишь? Штраф, наверное, наложат. Или в полицию сообщат, а там еще арестуют. В общем, что-нибудь нехорошее да случится. Лучше в самом деле подсуетиться да в эту библиотеку еще раз сходить. Тем более что книжки он уже на два раза прочел.

Вдобавок на курсах повышения квалификации целый список выкатили, что нужно обязательно прочесть, чтобы эту самую квалификацию повысить. Хотя все прекрасно понимали, что, сколько книжек ни читай, если ты грамотно розетку развинтить не сможешь, шарахнет так, что мозги задымятся. Наверное, это правило касалось не только электрики, оно распространялось и на прочие жизненные сферы, но книжки в библиотеку все же стоило занести.

В пятницу после работы Егор, завернув книжки в газету, отправился в городскую библиотеку. В течение рабочего дня он внутренне подготовился к встрече со Светланой Игнатьевной, продумал в деталях, как поздоровается, какое мнение выскажет о книжках, о «Славянских богах» Жуковского. И так ему уже хотелось поскорее попасть в эту библиотеку, что он почти пританцовывал на остановке в ожидании автобуса.

И все же пришлось ему горько разочароваться: Светланы Игнатьевны в библиотеке не оказалось, а вместо нее за кафедрой сидела какая-то тетка с морщинистым недовольным лицом. Она бесстрастно взяла у Егора книжки и потребовала читательский билет резким голосом. Егор даже оробел и уже слегка попятился, намереваясь незаметно выскользнуть вон. Но тут его ноздрей коснулся знакомый запах сырой земли, достаточно резкий, чтобы проявить беспокойство. Егор насторожился и очень осторожно спросил:

— Простите, с вами все в порядке?

Библиотекарша недобро зыркнула на него из-под очков:

— А в чем дело?

— Нет, мне просто показалось... — стушевался Егор.

Библиотекарша глубоко, от души вздохнула — и, закатив глаза, откинулась на стуле с открытым ртом. Стопка книг, которую она задела локтем, рухнула на пол.

— Эй... уважаемая... — Егор не нашелся, как обратиться иначе.

Тело библиотекарши обмякло на стуле, уставившись в потолок невидящими глазами.

— Эй, кто-нибудь! Сюда! — Егор закричал на всю библиотеку. — Помогите!

И тут из всех углов повыбегали люди с озабоченными лицами. Ахая и охая, они обступили несчастную, дули ей в лицо, трогали за руки, прикладывали пальцы к шее, трогая пульс, призывали: «Звоните в скорую!», спрашивали: «Есть у кого валидол?», но никто по существу не предпринимал ничего для спасения. Егор, охваченный общей паникой, зачем-то снял с носа библиотекарши очки. То есть у него промелькнула мысль, что мертвым очки уже ни к чему. Тут же виски его сжала невыносимая боль. Он даже застонал и присел от этой боли, но очки из рук не выпустил. В глазах потемнело. Шатаясь, он добрел до стула и рухнул на него, откинувшись на спинку совершенно так же, как библиотекарша. Рука с очками безвольно упала вниз.

Однако через пару минут «мертвая» библиотекарша очнулась, шумно втянула воздух и присела на стуле, с удивлением осматриваясь вокруг.

— А что случилось? — наконец выдала она.

— Валя, мы думали, что ты умерла! — всплеснув руками, воскликнула толстая тетка в клетчатом платье с белым воротничком.

— Это кто умер? — библиотекарша бодро встала со стула, укрепилась на ногах и с угрожающим видом двинулась на Егора. — Молодой человек! Зачем вы похитили мои очки?

— Да вот, возьми свои очки, — с трудом слепил Егор.

Красная от возмущения библиотекарша буквально вырвала у Егора из рук очки, но, едва нацепив их нос, покачнулась и охнула.

— Что-то мне в самом деле нехорошо, — слабым голосом произнесла она, и коллеги куда-то увезли ее, подхватив под руки.

Что будет дальше, Егор ждать не стал. Получив в гардеробе куртку, он, пошатываясь, вышел на улицу.

11

Где-то Егор случайно вычитал, что мир — это наше представление о нем. А как оно там обстоит на самом деле, никто не знает. Мысль показалась Егору настолько увлекательной, что он принялся развивать ее дальше. Вот, например, обычные люди смотрят на всяких начальников и трепещут, потому что они — начальники, а начальству бог знает что в голову взбредет, поэтому нужно сидеть тихо и не высываться. С одной стороны, правильно трепещут. Потому что начальники — гивоиты и способны так цапнуть, что мало не покажется. С другой стороны, трудящимся-то неизвестна змеиная сущность начальства, значит, трепещут они как бы понапрасну. Вот Егор, например, гивоитов теперь нисколечко не боится. Разум у них рептилоидный, это обстоятельство Егор тоже для себя прояснил. И что какая-то там рептилия супротив человека? Это все равно что шофер супротив электрика. Баранку крутить можно и без всякого смысла...

Комиссия вот на днях приходила. Планом участка тряслася. А на этом плане Егорова пристройка по контуру была обведена красной линией как мешающая движению. Какому движению, если она со стороны огорода?.. Ничего не знаем, сказали, тут так написано: мешает движению! Вася Сазонову тоже такое письмо пришло. О том, что его новый забор на два метра выходит за границы участка. Но как же выходит, если он его точно на месте старого поставил? Ничего не знаем, говорят, тут так написано. И дрон так снял. К тому же вы человек сильно пьющий. А значит, сами не помните, куда забор ставили.

Егор этой комиссии под нос палец с перстнем сунул — их тут же ветром сдуло. Один особо ретивый даже ботинок потерял, так быстро побежал прочь. Вася этому обстоятельству сильно обрадовался.

— А вот рассказывают, ты больше не пьешь, — сказал Вася Егор.

— Не пью. То есть совсем не пью.

— Правильно, Вася, не пей! — заключил Егор. — Так-то оно лучше для всех.

И до самой ночи было слышно, как за забором у Васи стрекотала бензопила. Видно, решил Сазонов что-то еще починить или достроить. Следовательно, взялся мужик за ум. Хотя так уж повелось, что если ты не пьешь — это всех настораживает. Не пьешь — значит, задумываешься. А кто задумывается, до такого может докумекать...

Нет, если у Егора до этой комиссии еще и оставались какие-то сомнения по поводу своего перстня, то теперь они окончательно развеялись. Перстень давал Егору такую волшебную силу, которая способна была даже людей с того света вытаскивать, не то что от алкоголизма лечить. Правда, как правильно применить эту силу, Егор пока не придумал. Он, в конце концов, электрик, а не врач. Но для начала решил Егор перстень почистить. А то в самом деле некрасиво разгуливать с эдаким черным наростом на пальце. Будто он простой работяга какой.

Перстень с пальца снял с мылом, сперва мылом же и потер, потом догадался взять чистящее средство «Пемолюкс». Гляди-ка, и впрямь начала слезать чернота, металл проблеснул. Ну Егор еще тереть. Красиво получилось. Как новенький у него вышел перстень. Егор им даже залюбовался и на тумбочку положил перед телевизором, потому что нужно было в погреб за картошкой спуститься. Ну, чтобы сразу-то не морать. И, в общем, так случилось, что, когда на следующее утро Егор на работу пошел, перстень так на тумбочке и остался. А когда спохватился Егор, возвращаться было уже поздно. И до того нехорошо ему сделалось на душе, что места себе не находил. Поехал на вызов — розетка в квартире загорелась, ну, раскрутил он эту розетку. Стоит — и ничего поделать не может. Сослался на приступ гастрита и смотался оттуда поскорей. Начальство, конечно, в крик: доверие не оправдал. Еще раз такой финт ушами — и мы тебя в три счета уволим. А Егор не стал перечить. Потому что без перстня он и не человек вовсе был, а так, функция. Любой к ногтям прижмет. И вот под конец рабочего дня задумался Егор о положении трудящихся. Раньше-то было все понятно. Про рабочий класс из каждого рабородуктора вещали. А теперь что такое рабочий класс? Каково его положение и есть ли у него перспективы? И сам Егор так для себя решил, что перспектив у трудящихся ноль. Попал в ряды трудящихся — трудиться будешь по гроб жизни, иначе никак. Значит, нужно предпринимать решительные меры, пока горб не вырос.

Тогда Егор решил позвонить Геннадию Степановичу Бурдалюку, напомнить о себе. О том, что тот пообещал ему протекцию в смысле повышения квалификации, ну и про новую хату спросить, действительно ли возможно улучшение условий быта...

Только вот незадача вышла. Егор номер гивоита набрал, представился, что это звонит Егор Баженов, электрик второго участка... А тот, не дав досказать, орать принялся:

— Какой еще Баженов? С какого участка? Ничего не знаю!

Ну и так далее. Егор аж присел. Все, думает, приплыли. Горела твоя квартира синим пламенем. Однако одновременно и зло взяло. Да что же делается, товарищи, что простому трудящемуся к гивоиту теперь на пушечный выстрел не подойти? Так?

Выходило, что так.

И тогда Егор пожалел, что сдал в библиотеку книгу «Что делать?». Он еще про эту книгу узнал, что Ленин ее прочел и сказал, что роман его глубоко перекопал, вот как Егор свой участок под картошку, ну и революцию пошел делать. Ленин то есть. Чтобы трудящиеся взяли власть в свои руки.

Так Егор рассуждал во время обеденного перерыва в жилконторе. А потом вдруг проникся смутным беспокойством, что-то показалось ему ко-

ренным образом не так. Он пробежал взглядом по стенам — ничто не привлекало внимания. Егор последовательно обследовал каждый угол, каждый электроприбор — все было в полном порядке. И тут его слуха коснулось едва различимое потрескивание. Звук шел из-под стола, под которым, утыканный множеством вилок, стоял удлинитель-пилот. Егор прислушался. Точно. Пилот потрескивал. Егор выдернул его из розетки. Вынул из кармана отвертку, развинтил. Одна из внутренних клемм расплавилась, проводки держались на честном слове.

С этим пилотом Егор отправился к непосредственному начальству конторы, так, мол, и так. Пилот вышел из строя... Естественно, он вломился в кабинет без стука, потому что уже привык, что начальство его уважает. А тут вдруг начальник заорал, какого рожна он вваливается, вообще кто он такой???

Егор поначалу стушевался, но собрался духом и выдал:

— Баженов я, Егор Петрович. Вот, пилот у нас развалился...

Начальник рот заоткрывал, как рыба, не в силах слепить ни слова. На конец буркнул:

— Обнаглили вы в конец, электрики!

«Электрики» прозвучало как ругательство. Однако начальник все же вел завхозу выписать электрикам новый пилот, а старый утилизировать.

— Зачем утилизировать, если можно починить? — опять вклинился Егор.

— А кто будет чинить? Ты? — грубо вставил начальник. — Ну, чини, если охота. Но смотри мне: если замкнет...

— Не замкнет. Я замыкание за полчаса чую.

И тут Егор осознал, что ведь он действительно почувствовал неисправность, когда она едва-едва намечалась. Но как? Ведь перстень остался дома!

После работы он намеревался заехать в библиотеку, еще раз взять «Что делать?», но передумал, потому что переживал по поводу перстня, который остался на тумбочке. Котяра дома сидит, поди знай, что ему в голову взбредет. Смахнет лапой с тумбочки и закатит в мышиную нору, с него станется.

Однако котяра встретил Егора активным мурлыканьем, будто выговаривал, чего, мол, у тебя ценные предметы где попало валяются. Еще и сопроводил от прихожей до места и, усевшись напротив телевизора, призывающе и протяжно мяукнул.

Егор быстренько надел перстень на палец и даже ощутил что-то вроде тепла, растекшегося по руке. Теперь можно было посмотреть телевизор, например. Минут сорок Егор упорно переключал каналы, однако транслировали одно дермо. Сериалы для старперов с примитивными сюжетами, шоу грязного белья и человеческих пороков; нагнетающие психоз новости, где подобно базарным бабам обсуждали происходящее... Некоторое время он молча слушал весь этот бред и удивлялся, почему раньше это его как-то не раздражало. Раньше он вообще любил смотреть телевизор. Да что случилось-то? В ящике вроде те же артисты...

В досаде он выключил телевизор. Кот терся у ног, требуя внимания и будто бы подталкивая пойти прогуляться. Гулять в темноте явно не хотелось, поэтому Егор просто накинул куртку и вышел за дровами вместе с котом, который тут же побрызгал на поленницу из своего родничка. Егор расценил его поступок как намек на то, что давай уже звони своему гивоиту, не слезай с его жирной холки, пока тот не выделит тебе квартиру из служебного фонда. Думаешь, у него нет в заначке? Есть. Хватит хату дровами топить. Эдак их до декабря не хватит.

Несмотря на то что рабочий день давно завершился не только у тружеников, но и начальства тем более, Егор осмелел и еще раз набрал Геннадия Степановича.

— Здравствуйте, вас беспокоит Баженов Егор...

— А-а, как же, здравствуйте! — раздался в трубке любезный голос.

— Геннадий Степанович, помните, мы на объекте разговаривали по поводу...

— По поводу квартиры? Конечно, помню-помню.

И Бурдалюк заверил Егора, что делу уже дали ход, однако бюрократическая машина неповоротлива, а это значит, что вопрос, дай бог, решится к весне.

Егор покрутил перстень на пальце. Неужели все вот так просто? Какое-то колечко — и тебе все пути открыты?

И уже поздно вечером, укладываясь спать, Егор все пытался сформулировать эту мысль до конца, почему происходит именно так, а не иначе, только не сходились у него концы с концами никак. Не могло же так быть в действительности, что какой-то волшебный перстень заставлял гивоитов вспомнить, кто они такие. Но как же тогда всякие там легенды про кольца? Не напрасно же их народ выдумал в самом деле!

Котяра подкрался глубоко за полночь и устроился у него на груди, свернувшись клубком. Бажен-ведун открыл глаза и уставился в темноту, подсвеченную редкими огоньками за окном.

— М-рр, — сказал котяра. — Меня, кстати, Василием зовут. А то нехорошо получается — сколько дней у тебя живу, а все без имени.

— Ладно. Василий, так Василий.

— Пойдем погуляем, Бажен, — сказал Василий.

Бажен-ведун, послушный зову кота, поднялся и вышел на улицу, в морозную тьму.

— Тут на речке возле берега проталины, — предупредил кот. — Иди за мной, кое-что интересное покажу.

Бажен проследовал за котом к ручью имени Калинина — Калинову ручью в народе. Начинался он за окопицей и отрезал их квартал частных домишек от большой земли, которая маячила на горизонте темными силуэтами многоэтажек.

В тихой заводи, где по весне обычно с огромной скоростью размножались лягушки, теперь копошились некие темные фигуры, подобные ожившим бревнам, которые по приближении оказались гивоитами, самозабвенно плескавшимися в ледяной воде. Среди них Бажен-ведун разглядел Геннадия Степановича Бурдалюка, который, приметив его, выполз на берег.

— Ночной моцион, ничего особенного, — как бы в оправдание произнес Геннадий Степанович. — Вы уж извините, но форму нам надо поддерживать. Без закалки никуда. Голограмма не работает.

Полная луна пялилась с неба на ночное купание гивоитов, насыщала их крокодильи тела своим мертвенно-холодным светом. Луну, как и кольца Сатурна, создали пришельцы-рептилоиды. Гигантский шестиугольник на северном полюсе Сатурна испускал сигнал, который затем шел к луне и дальше транслировался на Землю. Этот сигнал попадал людям прямо в мозг, формируя реальность сатурно-лунной матрицы. А рептилоиды, в свою очередь, создавали голограммы на высокочастотных вибрациях. И эти голограммы маскировали их внешность таким образом, что от человека не отличишь.

Бажен-ведун крутил перстень на пальце и строго наказал гивоитам:

— А ну-ка, звери лютые, вылезайте на берег!

Гивоиты послушно покинули заводь и выстроились на берегу в шеренгу. Было их числом семь или восемь — крокодильи тела сливались с темной землей, прибрежными камнями и прелой осокой.

— Вы уж это... не велите казнить, — подобострастно произнес Геннадий Степанович.

— Так и быть, живите, — произнес Бажен-ведун, — ежели завтра послабления сделаете трудящимся.

— Это какие же послабления? — прошамкал старый толстый гивоит, у которого отсутствовала половина зубов.

— Во-первых, штрафы поганые свои назад отзовете. О том, что у кого-то веранда мешает движению или забор не на месте.

— Так дроном же делали съемку. С планом не совпадают ваши постройки. Дрон по осени над участком точно кружил. Соседи ему еще рукой махали, мол, мы тебя видим...

— А мне на ваши планы плевать! — заключил Бажен-ведун. — Еще чего придумали: последние соки из трудящихся вытянуть. И чтобы впредь я больше ничего такого не слышал.

— Но ведь мы уже данные в базу внесли, — грустно ответил беззубый. — Там отметка о протоколе стоит, потом об оплате, ну и так далее.

Такой ответ только раззадорил Бажена:

— Как внесли, так и вынесите. И еще вы повсеместно наладите освещение! Чтоб в каждом отдаленном уголке было, как в Нью-Йорке.

— Бюджетных денег не хватит, — ответил Геннадий Степанович, который, судя по всему, был самый лояльный по отношению к трудящимся. — Тем более и штрафов теперь с ваших соседей не взять. Вообще ни с кого, так получается.

— А вы атмосферное электричество используйте! — подсказал Бажен.

— Эдак трудящиеся перестанут за свет платить. А нам это надо?

— Знакомая шарманка, — подхватил старый гивоит и звучно сплюнул зеленоватой жижей. — Может, нам еще бюджет перекроить в пользу трудящихся? Там, библиотеки, школы, больницы, бесплатные фотокружки...

Вместо ответа Бажен-ведун воздел руки — и свет вспыхнул в окрестностях. Ожил старый, покосившийся фонарь, некогда установленный на том берегу, возле руин торговой точки. Некогда в день привоза там царило оживление, только давно уже склынула боевая, веселая жизнь и воцарилось за-пустение. Черные, будто сгоревшие, оставы старых яблонь проступили на свету, вспыхнули яркие точки огоньков на отдалении, возле самой дороги. Живые фонари разгорелись странным переливчатым светом...

Гивоитов сдуло с берега в мерзкую холодную заводь. Погрузившись в родную пучину по самые ноздри, они оставили на поверхности только глаза, мерцающие зеленоватым отблеском...

— Слушайте, твари! — возвестил Бажен-ведун. — Я только сейчас понял, что имел в виду Маяковский. Ну, этим своим: «Светить всегда, светить везде!» Мы некогда в школе наизусть учили. Только я сам осветить всю округу не могу, к сожалению. Батарейка не выдержит. А вот вам такое даю задание, чтобы завтра же приступить к электрификации всей республики.

— Что вы такой несознательный, — подал голос Геннадий Степанович, — если не сказать грубее? Пожелали бы в первую очередь для себя каких-нибудь благ. Например, бесплатную путевку в Турцию. Далось вам это электричество! Непродуктивная вообще идея.

— Да? А как насчет резонансных частот и магнитных вихрей? Их вокруг полно, но как бы и нет, — наседал Бажен-ведун.

— Да что вас не устраивает? — недоумевал Бурдалюк. — Народ платит за электричество по счетчику, и все в порядке.

— Порядок нынче такой, что напряжение скакнет, свет вырубится — мужик на всю улицу городскую администрацию обматерит и успокоится. Вот вам и весь порядок.

— Ладно, завтра же обмозгую эту вашу электрификацию, — пообещал Бурдалюк. — Одно хорошо: советская власть кончилась, иначе бы наступил полный коммунизм!

— Только вы уж фитилек этот свой прикрутите, — высунул из воды морду беззубый гивоит. — Глаза слепит. Да и неудобно: мы тут плаваем в натуральном виде. Кстати, а что во-вторых? Вы так и не сказали.

— А во-вторых, с этого дня вы будете уважительно относиться к просьбам трудящихся. Прекратите стряпать отписки то есть и всякие комиссии засыпать. Поняли меня? Или я эту вашу комиссию током пришью намертво.

Глубоко вздохнув, гивоиты с головой погрузились в черную ледяную хлябь. Наверное, у них это называлось «удалились на совещание».

В Турцию Егор с удовольствием бы съездил. Погреться посреди мерзопакостной погоды, да и душевное здоровье поправить. А то сны ему теперь такие снились, что не знаешь, с какого конца и смотреть. Только теперь кота не с кем оставить, да и срочных дел навалилось столько, что «пукнуть некогда», как говорил Колян. Хотя ему-то жаловаться чего? Электрификация худо-бедно в республике началась, и вроде даже начальство само осталось довольно: было теперь за что отчитаться в Москву. За реальные успехи: полную электрификацию трех поселков, причем на деле, а не на бумаге. Теперь бы еще сеть школ и библиотек расширить, было бы совсем красиво. Причем тем, кто добровольно согласен работать в сельской библиотеке, сразу выдавать на руки пятьдесят миллионов, никак не меньше.

Но тут ненароком подкараулил Егора Геннадий Сергеевич Бурдалюк и начал исподволь подкатывать, что, мол, отказались бы вы, Егор Петрович, от вредных социалистических идей, оно бы и вам на пользу пошло. Новую квартиру так и так получите. А вот кому, скажите на милость, нужны сейчас эти ваши библиотеки? Любую книжку в интернете почитать можно. Да и зачем вообще читать эти книжки? Первый канал включил — тебе там все наготове расскажут. Давайте лучше вас в начальники изберем. Сперва, конечно, в местные, а там и федеральные. Может, сами будете новые законы для нашей республики придумывать. Но такие, конечно, чтоб от федеральных не отличались. Потому что республиканская автономия никому не нужна, сами понимаете...

Егор опять чесал репу. В начальники ему, конечно, очень хотелось. Но совсем не ради того, чтобы заодно с гивоивами трудящихся поедать живьем, а исключительно ради того, чтобы облегчить жизнь этим самым трудящимся, раз уж крокодилье племя ему подчиняется. К тому времени он сам сумел-таки выбиться в люди. Специально для него ввели должность попечителя электросетей с довольно расплывчатыми обязанностями, зато большими правами. Например, Егор в любой момент мог отдать распоряжение поменять общедомовую проводку, если подозревал, что она пожароопасна. Даже в том случае, когда целая комиссия после обследования утверждала, что все в порядке. Да и зачем теперь эта комиссия, если у Егора электрорецепция срабатывала за сто метров. Случалось, что и внутрь не заходил, а так, прямо с улицы определял, в чем проблема.

Первым делом, конечно, он городскую библиотеку модернизировал. Оказалось, что в том доме ко всему прочему канализацию в подвале прорвало, а сверху обрывков провода болтался — крысы перегрызли. Вот бы шарагнуло, ё-моё! Однако успели обесточить.

Руководство библиотеки даже новую книжку Егору подарило по славянской мифологии, про Даждьбога, навий и прочую нечисть. Хотя нечистью твари были только в человеческом понимании. Егор же знал, что всякие сущности нужны в мироздании, лишних нет. То есть это как в электричестве: плюс и минус. Только тогда все крутится.

А Егор в свою очередь в библиотеке доклад прочел «Эфир и теория относительности» — о том, что теория Эйнштейна положила конец всем исследованиям эфира. Однако Никола Тесла продолжал верить в электричество из эфира и неустанно проводил свои опыты. Он был уверен, что в эфире заключен бесконечный источник энергии, а современники даже прозвали его Повелителем молний.

Когда Егор об этом рассказывал, по рядам читателей смешок пробежал. А библиотекарь с недовольным лицом, та самая, которую однажды прямо за кафедрой удар хватил, выдернулась и съязвила, что, мол, мы физику еще в школе изучили вдоль и поперек, поэтому не надо нам, молодой человек, компостировать мозги...

На этих словах Егор воздел руки к потолку. Свет замигал, сами собой включились мертвые мониторы в читальном зале, и густой голос очень

четко произнес: «Кажется, что дни супостатов сочтены и власть их вот-вот рухнет». Далее началась передача об адмирале Колчаке, но Егор щелкнул пальцами, и мониторы погасли.

У этой библиотекарши с носа упали очки. А Светлана Игнатьевна, которая сидела в первом ряду на приставном стуле, не удержалась и спросила:

— А это что сейчас было?

— Это был опыт с атмосферным электричеством, — объяснил Егор и продолжил, что Тесла не успел воплотить в жизнь генератор свободной энергии. А в скором времени благодаря Эйнштейну теория получения энергии из эфира была отвергнута, и, хотя ученые не спешили ее отрицать, все упоминания о ней убрали из учебников. Вот вам и физика в средней школе. Бесплатная энергия, наверно, не сильно радовала банкиров и корпорации...

В общем, после этой лекции Егор прямо из библиотеки отправился пить кофе вместе со Светланой Игнатьевной. Благо ближайшая кофейня была через дорогу, и уже на месте Егор администратора предупредил, что, если они не заменят кофемашину в ближайшее время, вся их кофейня сгорит к чертям собачьим, потому что уже сейчас паленым пахнет. Администратор потом ходил по залу и принохивался, втягивая воздух и ширя ноздри, но активных действий не предпринимал. А кофе в этой кофейне был вполне так ничего себе, хотя Егор в кофе не разбирался — ну кофе и кофе. Это Светлана Игнатьевна так сказала, что кофе вполне так ничего себе, и пирожные «картошка» тоже. Пирожные Егор ел с неохотой. Во-первых, пустая это еда. А во-вторых, Колян однажды в баре работал, так вот он рассказывал, что, когда после посетителей оставались недоеденные пирожные, они их в миксер запускали, а потом из того, что получилось, лепили шарики и обваливали их в какао. Так и получались пирожные «картошка».

Коготки у Светланы Игнатьевны на сей раз были темно-бордовые, и, пока она уплетала «картошку», Егор прикидывал, сколько же времени нужно посвятить таким коготкам, и не лень же ей этим заниматься, хотя работа у нее непыльная, и руки всегда на виду.

— А как же это вы пожар заранее угадываете? — доев пирожное, спросила Светлана Игнатьевна.

— Да очень просто. Вот чтобы научиться книжки читать, что нужно делать?

— Ну... это... буквы выучить.

— А потом?

— А потом просто читать.

— Вот именно. Чтобы научиться плавать, надо зайди в воду и научиться плавать. А чтобы предчувствовать пожары, надо раз двеста предотвратить эти самые пожары, и тогда особое чутье выработается. Вот я захожу в помещение — и сразучуствую, что что-то не так.

— А как же вы делаете опыты с атмосферным электричеством? Этому тоже можно научиться?

Егор неопределенно пожал плечами:

— А вот приходите сегодня, когда стемнеет, часиков в шесть, на площадь Ленина. Я вам еще не такое покажу!

— Да? Ну, я приду, — заинтригованно ответила Светлана Игнатьевна.

Егор переживал: ведь не придет. Однако Светлана Игнатьевна пришла и даже не опоздала. На ней было бордовое пальто — в тон ногтей, того же цвета шапочка, и губы были совершенно бордовые, так что Егору даже показалось, что она замерзла. Он так и спросил:

— Замерзли? Ничего, сейчас согреетесь.

Воздев руки к каменной фигуре Ленина, Егор уловил потоки эфира, который завихрялся по окружности площади, образуя вокруг Ленина что-то вроде воронки, куда стягивались токи земли и небес.

Он поводил в воздухе руками, изображая пассы, и вот памятник сперва окутал лимонный светящийся туман, а следом марево заискрилось, фонари

на обочинах вспыхнул ярче, пробивая низкие сумеречные облака, и наконец фигуру вождя объяло ровное золотистое сияние, растекшееся по сторонам. Даже первый снег на ветвях голубых елочек, высаженных на газоне, окрасился медовыми сполохами.

Движение на площади замерло. Раздались восторженные возгласы, а бабушка, пересекавшая площадь, суматошно перекрестилась на Ленина и на полусогнутых ногах, не оглядываясь, заспешила восьмояси.

В этот момент Егор, ощущив, что его внутренняя батарейка вот-вот сядет, опустил руки и выдохнул. Сразу стало очень темно и неуютно.

— Ну вот, — как бы извиняясь за содеянное, произнес Егор.

Светлана Игнатьевна в изумлении покачала головой. Глаза ее так и остались широко раскрытыми, и в них отражались уличные фонари. Тусклые — после недавней иллюминации.

— Я думаю, в старину знали об атмосферном электричестве, — сказал Егор. — Иначе — если бы дома освещали свечками, — сколько бы пожаров случалось! Дома-то были почти сплошь деревянные!

— А пожары и случались! — подхватила Светлана Игнатьевна. — Вот у нас в двадцатые годы целых две церкви сгорели! Я еще читала, как в Финляндии выгорел целый город, из-за этого им пришлось даже столицу перенести!

— Как же много вы книжек прочли! — неожиданно для себя воскликнул Егор и тут же осекся: ему вовсе не хотелось показаться неграмотным, хотя за последние десять лет он прочел всего две книжки от корки до корки: «Что делать?» и «Славянскую мифологию».

— Но я же работаю в библиотеке! — Светлана Игнатьевна не почувствовала подвоха. — Вы зато столько пожаров предупредили. Если бы не вы, наш город тоже бы выгорел почти полностью. И столицу тогда бы перенесли куда-нибудь в Пудож.

— А что? — подхватил Егор. — Раньше в Пудоже жизнь кипела. У меня бабушка была из Заонежья, я туда каждое лето ездил. Однажды случай произошел такой странный. Вался я среди дня под деревом. Жара еще стояла, а мне вдруг холодно стало. Ну, я голову поднял, смотрю — девчонка какая-то стоит в белом сарафане. И так это строго спрашивает, чего, мол, валяешься. Вставай лучше мне помоги. И руку мне протянула. Рука такая сильная, а ногти острые и длинные, прямо как у вас. И вот провела она этими ногтями мне по руке — и такую длинную царапину оставила...

— И дальше?

— А дальше она почему-то отдернула руку и без оглядки в поле убежала. Я домой пришел, царапину перекисью обработал, а потом увидел, что у меня на плече старая татуировка: «Спаси и сохрани». Во как!

— И что это значит?

— А то, — перешел на шепот Егор, — Что это не просто девчонка была, а полуденница.

— Кто?

— Ну, я только недавно в книжке прочел, в «Славянской мифологии». Считается, что в полдень в поле ни работать, ни спать нельзя, потому что полуденница бродит. Кого увидит — болезнь нашлет или вообще серпом может горло перерезать. Дух такой недобрый. А меня, значит, татуировка спасла. Хотя ведь по глупости сделал...

Светлана Игнатьевна рассмеялась:

— Неужели вы до сих пор в сказки верите?

— В книжке же написано!

— Книжка называется «Мифология». Мало ли во что там наши предки верили!

— А вот в атмосферное электричество вы теперь верите? — спросил Егор.

Светлана Игнатьевна смущалась:

— Н-ну... Если только это не фокусы.

— Фокусы? — вскинул Егор. Вот же дуры эти библиотекарши! — Тогда найдите еще кого-нибудь, чтобы вот так же Ленина зажег!

Раздосадованный, он зашагал прочь.

13

После этого случая жить стало совсем грустно. Егора не радовали даже успехи всеобщей электрификации, тем более что начиналась она вроде бы бурно, даже ветряки на некоторых труднодоступных участках установили в порядке эксперимента. Только вскоре эти самые ветряки местное население растащило на хозяйственные нужды, и все стало у них, как прежде.

А тут еще с утра вещали по радио, что нет в природе никакого атмосферного электричества, и эфира тоже не существует. Все это выдумки девятнадцатого века. Не иначе как гивоиты передачу подстроили, чтоб электрификацию свернуть под сурдинку. Разве нужно нашему народу просвещение в прямом и переносном смысле? Зачем, если достаточно водки выпить — и ты сразу счастлив. Сказал же кто-то там из великих, что человек создан для счастья, как птица для полета. Эту фразу Егор тоже по радио слышал. Горького, кажется, передавали. Ну, когда он еще был подмастерьем, а мастера его за водкой посыпали. И он мечтал быстрее выбиться в мастера, чтобы самому посыпать учеников за водкой. Наверное, такой псевдоним себе и придумал: Горький, от водки то есть.

На этом самом месте у Егора мелькнула мысль, что надо бы уточнить у Светланы Игнатьевны, точно ли фамилия Горький происходит от водки, но тут же Егор спохватился, что они поссорились тогда, на площади Ленина. Глупо, конечно, получилось.

Тем более глупо, что полета в жизни так и не случалось. И тем более странно, что взлетали как раз рожденные ползать гивоиты, то есть умудрялись забраться на самый верх пищевой цепочки. Это вносило в Егоровы мысли полную дезорганизацию и хаос.

А тут еще однажды он оказался в мэрии на гивоитском банкете. Его туда пригласили только потому, что так по рангу полагалось. Он же над земноводными начальник, вот и позвали. Банquet был закрытый, внутрь пускали только по именным пригласительным карточкам, крашенным с лицевой стороны под рептилию. Егор еще прикидывал, интересно, чем же угощать будут. А там подавали деликатес — лягушачьи лапки. Конечно, иного ожидать и не следовало. Егор потом еще дня три переживал: угораздило же продегустировать, приняв лапки за куриные крылышки! А коньяком гивоитским запил — и того хуже. Фу-ты! Он едва добежал до туалета, чтобы от души проблеваться в унитаз. Алкоголь открывает портал — Егор теперь знал наверняка, — портал в Тёмный мир, где только страх и смерть. Там обитают те, кого даже из демонического мира свергли вниз, — самые злобные, мерзкие и отвратительные существа.

В какой-то момент Егору даже показалось, что он умрет прямо здесь и сейчас. Да чтоб он еще хоть раз на этот крокодилий банкет... Тем более что к лягушкам он теперь относился уважительно: прочел в «Славянской мифологии», что в лягушек превратились люди, пережившие всемирный потоп. И это радовало вдвойне: во-первых, люди не погибли, а во-вторых, лягушки оказались очень интересными и отважными существами. Они массово зимовали у него во дворе между досок, сложенных у сарая, и Егор пообещал себе, что по весне он соорудит на речке загороду, чтобы лягушки могли спокойно откладывать икру, не боясь гивоитов.

А тут еще случайно подслушал Егор дискуссию на этом банкете на тему «Почему в России сокращается популяция крокодилов». Некоторые люди считали, что сперва следует выделить каждому квартиру с дополнительной ванной, а потом они уже в ней каймана заведут. Мудрили, конечно: их про-

блема не в ванной, а в том, что им агрессивная зубастая тварь в принципе дома не нужна. Как верно указывал телеграм-канал «Момент и Культура», до большевиков в России держали в среднем по семь маленьких крокодилов на семью, и ни убогие избы, ни сложности с горячим отоплением народ не останавливали. Теперь же депутат от «Едра» предложил провести в России Специальную крокодилю операцию, то есть побудить наш народ снова заводить крокодилов. И в первую очередь предложить людям скидку на крокодилий корм. А во вторую очередь изменить в обществе отношение к крокодилам, которые должны вызывать восхищение с примесью зависти: «Во круто! Петровы дома пятерых крокодилов держат!»...

Окончив курсы повышения квалификации, Егор тут же портфель себе на «Wildberries» заказал — под крокодилю кожу и по всяким организациям с этим портфелем ходил, нарочно демонстрируя, что он с гивоитами сдается, ежели те поперек его воли пойдут. И никто после этого рыпнуться не смел! Лягушек жрать прекратили и послушно электрифицировали самые темные закоулки. Преступность в городе резко снизилась, люди наряжаться принялись: на свету-то и человек видней! В общем, за полным отсутствием личной жизни Егор с головой ушел в общественную, и Василия, кстати, не обижал. Кормил лучшими отходами пищевой промышленности, а когда и свежую рыбку приносил, которую котяра пожирал с особой жадностью вместе с башкой и потом урчал, насытившись, до самой ночи. Электромобиль Егор себе прикупил. Старенький, китайский, зато такой, что сам мог отремонтировать и заряжать атмосферным электричеством, то есть бесплатно. Дело закрутилось быстрой.

Теперь еще что-то нужно было придумать по поводу плакатов «Не влезай — убьет», которые были понатыканы везде, где только можно. Полная безысходность получалась: не влезай — убьет, но ведь если влезть — тоже убьет. И что делать? По этому поводу он однажды посоветовался с Коляном, но тот только долго ржал, потому что решил, что это такая шутка. С Коляном Егор продолжал общаться единственно потому, что тот все-таки оставался человеком. Да и повода расстаться навсегда не случалось. Не женщина же Колян, чтобы с ним навсегда расставаться.

И самое поганое в нынешней житухе было то, что ведь не расскажешь никому, что так, мол, и так, товарищи, нами руководят настоящие крокодилы. Кто в это поверит? Еще в дурдом упекут, а там кольцо отнимут, и тогда вообще триндец. Крышка.

Егор уже иногда скучал по той простой, бесхитростной жизни, которую вел до обретения кольца. Живут же как-то прочие люди, хотя их, конечно же, угнетают со всех сторон, но они ведь этого не понимают и не хотят понимать. Легко жить, когда за тебя все решают там, наверху. А для него теперь в самой мелкой несправедливости обозначалась мировая борьба добра со злом. Тут еще ему в кладовке попалась старая книжка Чуковского, а в ней стихотворение:

Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил,
Папиросы курил.
По-турецки говорил, —
Крокодил, Крокодил Крокодилович!

Егор начал подозревать, что Чуковский тоже был в курсе дела и открыто писал о безобразии, чтобы предупредить человечество об опасности, только над ним все смеялись, полагая, что это просто стишкы для детей. Но вот опять своими подозрениями не с кем было поделиться! И от этого подступало тяжелое уныние, несмотря на то что ящеры уважали своего предводителя. Геннадий Сергеевич так прямо переживал по поводу Егоровой не-

устроенной личной жизни. Однажды намекнул, что нужно важный вопрос решить, зайдите, мол, на днях. Егор зашел. А гивоит его к монитору подозвал, открыл сайт какой-то снабженческой организации и фото директрисы открыл во весь экран. Смотрите, говорит, какая девушка! Между прочим, не замужем. Егор только мельком глянул — и отшатнулся. На фото чистая крокодилица. Во рту сто зубов в четыре ряда — сидит себе в начальственном кресле и улыбается. Видно, хорошо ей живется, раз она так улыбается.

А Бурдалюк говорит:

— Что же вы, Егор Петрович, жить так никак и не научитесь? Давно пора подобрать вам приличную партию, в круиз бы, кстати, съездили на пароме. Там шведский стол, выпивка, жрачка, бери не хочу. Просто подходишь со стаканом и наливаешь.

Егору вдруг смертельно захотелось плыть по морю на огромном, как дом, океанском лайнере. И чтобы на верхней палубе сидела его девушка в широкополой шляпе и темных очках. А он бы стоял, опираясь на бортик, и разглядывал парящих над водой чаек...

— Спасибо, я как-нибудь сам устроюсь, — отрезал Егор, не желая предаваться пустым мечтаниям.

Но как же теперь сам, когда с простыми девушками, с которыми он раньше общался, ему стало неинтересно — о серьезных вещах типа Чернышевского не поговорить, а ежели девушка образованная, вот как Светлана Игнатьевна, — Егор ее стеснялся, вдруг что-то не то ляпнет. Еще на смех подымет. И фокусы с атмосферным электричеством не помогут. Вот именно что девушки полагали, будто он показывает фокусы. Прежде от такого положения вещей Егор бы запил, только водка в горло давно не лезла — минералку пил. Иногда даже так бывало, что минералку в шкалик перельет и потягивает прямо из горла, чтобы не сильно отличаться от трудающихся. А то еще решат, что зашибый.

Крокодилами величать гивоитов было вообще-то не совсем корректно. Егор понял это, перелистив подшивку журнала «Юный натуралист» из той же кладовки — батя выписывал еще в пионерском возрасте. Там была статья о северном подвиде аллигаторов, или гивоитов, которые умели выживать зимой, даже вмерзнув в лед, и вели стайный образ жизни. С крокодилами они разошлись восемьдесят пять миллионов лет назад. Главное отличие состояло в морде лица. Крокодилы отрастили длинную ряжу для уничтожения добычи в один укус. А у гивоитов морда получилась тупая, по форме седалища унитаза; коровы и прочий крупный рогатый скот им был явно по зубам. К тому же они водились в пресной воде и помимо людей и лягушек могли поедать также овощи и фрукты, заботясь о здоровье. Егор изучил ассортимент столовой головной contadorы электросети — все точно сходилось.

К концу зимы Егору дали квартиру, причем двухкомнатную, потому что по штату ему полагался рабочий кабинет помимо комнаты для отдыха и по-глощения пищи. Но этот момент тоже был нетельно радостный, потому что старый дом пришлось покинуть навсегда, и тот, когда Егор отчаливал на своей машине в новую жизнь, долго пялился ему вслед пустыми глазницами окон. Особенно остро Егор напоследок ощутил запах старых бревен, дегтя, печного дымка. Так пахло детство, баба Маня и, может быть, само прошедшее время. Егору казалось, что он предал и дом, и бабу Маню, и своих соседей, с которыми рос на родной улочке, и даже почему-то свои убеждения, которых, в сущности, у него не было, но вот теперь получалось, что были, хотя Егор и сам не мог их для себя сформулировать. Из всего некогда ценного он забрал в новую квартиру только бабы-Манину вазу, которой бабушка сильно дорожила и которая так и не разбилась за много лет — только потому, что стояла под стеклом в буфете.

Теперь надо было как-никак справлять новоселье. Гивоитов Егор приглашать не хотел, потому что ни с кем из ближнего начальства так и не сошелся на короткой ноге, да он и не понимал, чем угощать этих гивоитов,

кроме лягушек, икры и устриц. А старые приятели устриц с жабами не жрали. Посуда им годилась из обычного супермаркета, салаты тоже... В общем, посидели хорошо, как прежде. Разве что Егорова непереносимость алкоголя вызвала у приятелей искреннее удивление, хотя Ваня напоследок сказал, что он бы и сам не пил, но так уж заведено по праздникам. Даже библиотекарши пьют — в свободное от работы время, естественно. В этот момент Егора кольнуло легкое сожаление, что он давно не был в библиотеке, а ведь ему там книжку подарили новую по славянской мифологии... Да что говорить!

Колян так ему теперь откровенно завидовал: во-первых, квартира теперь ближе к центру, минут за двадцать можно пешком до работы дойти. Во-вторых, из окошек двенадцатого этажа открывалась обширная городская панорама, такая, что просто ух!

— На твоем месте я бы купил себе реактивный рюкзак, — сказал, наблюдая с балкона город, Ваня Захаров. — Я читал, что такие уже продаются. Надел — и летишь себе, прямо как в комиксах.

— А скорость полета регулируется? — спросил Егор.

— А то! Скорость и направление полета контролируются руками. А еще в комплекте идет шлемофон. Он отображает расход топлива и другую важную информацию.

— На дизельном топливе работает? — уточнил Колян. — Или на реактивном?

— А бес его знает. Я только помню, что можно подняться на высоту до трех километров. А скорость — до пятидесяти километров в час.

— Круто! — оценил Егор. — Только я летать не умею. Я же не Змей Горыныч.

Едва «змей» сорвался с языка, как Егор предпочел заткнуться: а вдруг метаморфозы уже запустились в его организме, и тогда он чего доброго скоро начнет летать без всякого рюкзака.

Уже ближе к ночи, когда свалили приятели, Егор попробовал устроить по случаю новоселья полную иллюминацию. Вышел на балкон, руки к небу воздел — и вспыхнули фонари ярким пламенем, сполохами ударили по всей округе. Как в кино получилось. Где-то неподалеку даже сработала пожарная сигнализация. Но — Егор руки опустил, и вновь воцарился на улицах мертвенно-бледный полумрак, потому что бюджет всеобщей электрификации урезали и сказали, что даже не надейтесь. Есть у нас множество других узких мест, причем поважнее.

Ранней весной на рассвете с реки стали доноситься звуки типа хрустов и рыков, которые прессы списывала на агрессивных собак. Но Егор знал, что это самцы гивоитов так подзывали самок для спаривания, а также отгоняли конкурентов, контролируя свою территорию. Теперь, когда кто-нибудь из начальства произносил сакральную фразу «я контролирую ситуацию», Егор понимал, что имеется в виду именно это: гивоит будтельно охраняет заповедные границы, грозя жестоко расправиться с соперниками.

Тут еще слух прошел, что у реки обнаружены чьи-то растерзанные останки. В клочья растерзанные. А рядом нашли дорогие часы, так что речь шла не об ограблении. Поэтому происшествие опять списали на собак, однако в прессе информации не было, и слух бы забылся, если бы одно обстоятельство. Неожиданно испарился главный специалист правительства по работе с общественностью, причем неизвестно куда. Возможно, его повысили в должности, или же он уехал в другой город, — в точности никто ничего не знал, однако у Егора в голове сама собой сложилась причинно-следственная связь обстоятельств.

И вот благодаря этим обстоятельствам Егора, то есть Егора Петровича Баженова, пригласили в правительственный канцелярию для серьезного разговора. Предмет разговора Егор предчувствовал, поэтому шел на встречу в глубоких раздумьях. С одной стороны, работа с общественностью — ши-

рокое понятие, которое включает в себя просвещение, которое — в свою очередь — напрямую и косвенно связано с развитием электросетей: Егор успел убедиться, что сопротивление гивоитов всеобщему просвещению функционирует точно по закону Ома, на то оно и сопротивление и на то они и функционеры. С другой стороны, работа в правительстве представлялась ему на редкость скучным занятием, ну каким образом, в самом деле, работать с общественностью? Однако, несмотря на сомнения, ноги сами, как бы отдельно от него, шагали по указанному адресу.

Здание правительства, построенное еще при советской власти, насквозь продувалось весенним ветром по причине общей ветхости и огромных окон, которые, очевидно, некогда создавали ощущение открытости власти трудящимся и намекали на возможность выхода из рабочего кабинета прямо в открытый космос. На деле всякий входящий ощущал себя крайне неуютно, как в аквариуме. Вдобавок в приемной действительно стоял аквариум с тритонами, которые нагло плялились сквозь стекло на каждого посетителя, оценивая, по зубам ли жертва.

Хозяин кабинета Руслан Алиевич Тугарин и сам был как большой тритон в зеленоватом костюме с золотинкой. Едва Егор затек в кабинет, как тот привстал в знак крайнего уважения и, распахнув зубастую пасть, рявкнул, чтобы принесли чаю.

Зеленый чай отдавал водорослями. Егор даже поинтересовался, что это за добавки в напитке. Тугарин неопределенно повел в воздухе рукой и сказал, что это растения из экспериментального парника на озере Хиттоярви и что именно про это озеро пойдет речь.

— А, простите, какое отношение я имею к парнику? — спросил Егор. Покрутившись среди гивоитов, он уже научился выражать свои сомнения в вежливой форме. — Я же электрик.

— Прошлый сотрудник на этой должности был по профессии режиссер, — так же вежливо ответил триトン Руслан Алиевич и, кажется, облизнулся.

«Прошлый — это которого задрали на мясо?» — сообразил Егор.

— Однако речь пойдет не о парнике, а о создании рыболовного участка на озере Хиттоярви, — продолжил тритон.

— Рыболовного участка? — еще больше удивился Егор. — Но при чем тут связи с общественностью?

— Прошу минуту терпения, — произнес Тугарин, и Егор уловил в его голосе шипящие нотки. — Наши планы вызвали протест местных жителей в поселке. Они, видите ли, боятся негативных последствий для водоема.

— Это каких же?

— Местное население берет воду из озера для питья. К тому же вдруг появится запах...

— Так он и появится! — перебил Егор, отфыркиваясь от привкуса водорослей.

— Нас интересует не запах, а сам рыболовный участок, — прошипел Руслан Алиевич. — К тому же глава района обещал довести позицию этого самого местного населения до комиссии по границам рыболовных участков... Ну, вы меня понимаете?

Руслан Алиевич Тугарин выжидательно уставился на Егора водянистыми глазками.

— Ин-те-ресно получается... — в попытке собраться с мыслями протянул Егор.

— Получается очень интересно! — продолжил Руслан Алиевич. — Рыболовческий участок оккупится уже через год, а потом начнет приносить баснословные прибыли, воистину баснословные, — тритон мечтательно закатил глаза. — Продукция пойдет на экспорт.

— А как же местное население? — растерянно спросил Егор.

— Ваша задача заключается именно в том, чтобы убедить местное населенное, что рыболовческий участок — нужное и полезное дело. Некогда

на озере Хиттоярви была своя рыболовецкая артель, наверняка и сейчас сетями ловят исподтишка. А нам нужны масштабы, в перспективе можно и коптильный завод построить на берегу. Одним словом, уже завтра можете брать машину и выезжать на место. Вот увидите, вам понравится. Устроитесь на турбазе. Место забронируем.

Руслан Алиевич захлопнул пасть, лязгнув зубами.

14

А тут еще совсем некстати с самого ранья по радио транслировали передачу про Достоевского. Ну, что голос Ивана Матвеевича, доносящийся из брюха крокодила, — это настоящая публичная речь, направленная на улучшение судьбы всего человечества. Егор даже чаем подавился. Кого это, интересно, там крокодил проглотил? Какого Ивана Матвеевича?

Некстати случилась эта передача потому, что за Егором уже выехала машина, чтобы отвезти его на озеро Хиттоярви. Дорога неблизкая, отъезд наметили на самый ранний час, когда трудащиеся еще спят и радио не слушают. Потому и передачу такую транслировали — про Достоевского. Кому сейчас нужен этот Достоевский? Но это не Егор так думал, это он на днях во дворе услышал, как папаша утешал школьера за двойку по литературе: «Кому сейчас нужен этот Достоевский?»

Надевая ботинки, Егор внимал голосу радиоточки, что Иван Матвеевич был насквозь проникнут великими идеями и что из крокодила теперь выйдут правда и свет. Но как такое может быть? Егор застыл в недоумении. Какая там правда? Какой свет? Гивоитская мораль была проста, как три копейки: хватай, тяни, урви, сожри и не подавись.

А дальше радио сказали, что Достоевский в своем пассаже пародирует Чернышевского, который все поведение человека объяснял с точки зрения выгоды. То есть если построить общество на принципе «разумного эгоизма», то оно станет здоровым. И якобы над этой сентенцией издевался Достоевский в «Записках из подполья», что устроенная по мотиву выгоды жизнь — это такая формула. Но ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, а начало смерти.

И опять Егор ничего не понял по существу. Однако, спускаясь по лестнице к машине, размышлял, что его тоже, выходит, проглотил крокодил. То есть он угодил в самое чрево гивоитской клоаки. Однако если он в таком положении начнет действовать на благо трудащихся, получится, именно что из чрева крокодила выйдут правда и свет. Серьезная все-таки штука — литература. Нужно будет по возвращении Достоевского почитать.

Асфальтовое полотно покалечили ямы, обнажившиеся после схода снега, трещины углубились, и машина ловко лавировала на шоссе. Наблюдая из окошка текущие мимо пейзажи, Егор поймал себя на том, что ожидает увидеть зубастую морду, выдернувшуюся из придорожной канавы. До такой степени малоэстетичные картины загородного бытия открывались взору, что ничего иного не ожидалось: покосившиеся сараи, заросшие берега речушек, сельские магазинчики, в которых продавали водку и закуску к водке, голые по весне палисадники... Егор ехал на озеро Хиттоярви, еще не вполне понимая, куда точно он едет и что скажет местным жителям. День разгорался, но встречные машины на шоссе попадались лишь изредка, как будто жизнь вокруг окончательно остановилась, и никто решительно не хотел перемещаться в пространстве, потому что куда ни ткнись — повсюду та же картина: грязь, неуют, бедность. И разрушать эту картину уже никто не стремился.

Приехали на место за полдень. Озеро Хиттоярви лежало спокойное, темно-серое, едва освободившееся от ледяного покрова, поэтому еще дышало холодом. Турбаза, на которую велено было заселиться, представляла собой всего несколько домиков на песчаном берегу и пока была пуста. Только

какая-то собака бегала промеж сосен, вынюхивая, нельзя ли где пообедать. Егор поделился с ней бутербродом, который так и не съел за время пути.

Над озером висела огромная тишина, внутри которой был едва различим плеск воды о прибрежные валуны. Вода плескала вкрадчиво, осторожно, будто нашептывала что-то. Егор даже не понимал, откуда слышится этот шепот — изнутри или снаружи, однако навострил уши. И так получилось, что будто к самому себе прислушался, к тому, что творилось у него внутри. А творилось смятение — оттого, что он в самом деле не знал, что делать дальше и как разговаривать с местным населением, которое обитало в поселке на небольшом отдалении от турбазы. Невдалеке виднелись домики, разбросанные вдоль берега, дымки поднимались вверх на безветрии, одинокая рыбачья лодочка обозначалась черным штрихом на тусклой озерной глади. Да какой там рыболовческий участок? Какой коптильный завод? Разве можно позволить этим тварям нарушить вселенский сельский покой?

Утвердившись в своей правде, Егор собрался было перекусить в кафе на турбазе, но тут его внимание привлек странный объект у самой кромки воды. Сперва он подумал, что это обломок дерева, вымытый на берег волной и застрявший под валуном, но вот обломок зашевелился, выпростался из-под камня на песок и оказался женщиной — такой уже немолодой, с черными длинными волосами и телом, покрытым будто бурой чешуей. И в тот же момент перстень сделался таким горячим, что Егор, вскрикнув, схватился за палец.

Женщина захочотала, обнажив острые щучьи зубы. Смех у нее был хриплый и лающий, явно нечеловеческий смех.

— Вот же тварь! Откуда вылезла? — воскликнул Егор. — Лежала бы дальше под камнем! Или тебя весеннее солнце выгнало?

Егор, осмелев, не стал церемониться с местной русалкой. А это точно была она! Ноги ее оставались под водой в черте прибоя, может, там и хвост был, но чешуя-то точно была! Храбости ему придавал, конечно, перстень, не то бы он уже деру дал без оглядки.

— Водяница, лесовица, шальная девица! — Егор скороговоркой произнес слова заговора, который вычитал в «Славянской мифологии». — Отвяжись, откатись, в моем дворе не кажись; тебе тут не век жить, а неделю быть. Ступай в реку глубокую, на осину высокую. Осина, трясишь, водяница, уймись...

— А ты, Бажен, прыти не растерял, — перебила русалка, назвав его тайным именем. — Я-то тебя сразу узнала. И что же ты, выходит, гивоитам продался? Коптилью строить решил? Эх, ты! Гивоиты перед тобой на животе должны ползать, хвостом пыль мести, а ты сам под них стелешься. В начальники выбиться захотел?

— Да где там! — Егор удивился русалочьей наглости. — Это кто же сказал такое? Я приехал воевать за правду!..

— Правда состоит в том, что, если здесь хоть один гивоит появится, мы его защекочем до смерти. Довольно нагадили по озерам и рекам! Раньше сколько жемчуга водилось в протоках — все раковины повыжрали! Теперь рыбки им захотелось! Понаставят садков — а нам что есть прикажешь?

— Так вы это... Садки порвите, рыбу выпустите на волю.

— А ты тем временем будешь на бережку посиживать? А потом с земноводными пировать? Коптильни нам еще не хватало!

— Дак а что делать-то? Я же электрик по профессии. Короткое замыкание могу устроить.

Русалка опять захочотала хриплым, лающим смехом.

— Ты Бажен-ведун. Тебе стоит только рукой с кольцом повести — и гивоиты лапы откинут, в спячку впадут. А ты, пока они дрыхнут, документацию умыкни. Они же теперь без документов никуда.

— Но как же? Это же ж целое преступление получится.

— А в озере гадить не преступление? Вода завоняет, а потом еще рыбью кровь в лесу начнут сливать. Они же твари болотные, соображаешь?

Егора даже слегка передернуло.

— Я вообще-то с местным населением приехал поговорить. Там, узнать насущные нужды...

— А мы, по-твоему, кто? Мы — самое местное население и есть. Думаешь, у людей ты правды добьешься? Они пошумят, да и рукой махнут. Мол, не жили хорошо, не стоит и начинать.

«А ведь верно», — смекнул Егор, людские привычки он изучил еще во время работы электриком.

Распрощавшись с русалкой, он в задумчивости побрел берегом в сторону поселка, приютившегося на небольшом мысу, клином врезавшемся в озеро. Становилось прохладно, ветер усиливался, но Егор решил не отступать. Мало ли что там эта гибридная рыба вещает. Твари, они такие, что доверять им нельзя. Вот баба Маня однажды рассказывала, когда Егор еще маленький был, что до войны жила в деревне одна ведьма, воспитывала падчерицу — муж ее утонул по пьянке. Так вот решила она падчерицу к колдовству привыкнуть, отправила ее в купальскую ночь искать цветок папоротника. Этого папоротника в лесу в избытке росло. А девочка не хотела колдовать, ночью к озеру пошла, прыгнула в воду с мостков и утопилась. Говорили, что ее потом русалкой на том месте часто видели. В войну еще финского солдата в воду заманила и утопила. Нашли его под мостками с пучком водорослей в руках. Староста потом дознание проводил, что да как. Ему и сказали, что это русалочки проделки. Рассказывали еще про финских оккупантов, что за ними русалка гналась от самого озера. Решили они ночью на озеро сходить искупаться, а она из воды вышла — страшная, волосы длинные и глаза горят. Они бросились наутек, а она за ними. И не бежит, а скачками прыгает. Они в ворота забежали, калитку закрыли, а она через оградку к ним руки тянет. Да такие длинные, прямо как змеи вытягиваются. И когти как ножи острые. Успели в дом заскочить, молитву свою финскую прочитали. А наутро батюшку пригласили, чтобы дом освятил. Напрасно, конечно, русалка оккупантов не задрала. Поделом бы им было. Ну, напугала — и то славно.

Встретился ему по пути небольшой перелесок. Остановившись на миг, Егор шагнул под сень деревьев, и те сомкнули над его головой свои руки-плети. И тут со всех сторон послышалось шебуршение листвы. С деревьев явно кто-то спускался вниз. Еще чего не хватало! Егор ускорил шаг. Кто-то просвистел над самым ухом, захотел филин, завыло кругом на разные голоса. Выскочил Егор из перелеска ни жив ни мертв.

До поселка добрался он уже ближе к вечеру, подметки истоптал. Там же как получилось: смотришь — вроде близко поселок, рукой подать, а простишься пешком по берегу — ничуть не близко. Будто удаляется по мере приближения. Проклятое это было место — Хиттоярви!

И люди оказались неразговорчивые и даже нелюбопытные. Вроде чужой человек появился в поселке — подойди, познакомься, узнай, чего надо. Они же на вопрос, что народ думает про рыболовческий участок, только отмахивались, мол, мы люди маленькие, кто нас будет слушать. Лишь одна общительная женщина, которая на мостках в легких сумерках полоскала белье, пустилась в размышления, что вот начнут рыбу разводить, и уже не пополощешь белье, как нынче, рыбный дух к нему пристанет, и как потом на таком спать?

— Так что же вы не возмущаетесь? Пожаловались бы куда надо, — удивился Егор.

— А толку-то? В газету вон уже написали. Губернатору тоже — как об стенку горохом! Ответ пришел, что в нашем озере всегда рыба жила. А что ее теперь больше станет — так то и к лучшему. Для кого к лучшему-то? Уж точно не для нас.

— Но вот я к вам и приехал разобраться на месте. Хочу ваше мнение спросить.

— Ты-то? А что ты можешь? Сельский сход собрать? Так уже без тебя собирались на прошлой неделе. Пошумели и разошлись.

— Но ведь можно в интернете статью опубликовать. Начальство не любит, когда его в интернете ругают.

— Чего-о? Нет у нас никакого тырнета!

И она повернулась к Егору задом и свесилась с мостков полоскать простыню, давая понять, что больше не желает общаться.

Потом еще встретился Егору подвыпивший мужичок, который, пошатываясь, возвращался домой и попросил у Егора прикурить. За неимением спичек Егор просто щелкнул пальцами, высек искру, однако мужичок не заметил в этом никакой странности и, поблагодарив, отправился восьвояси, куда шел.

Тогда пустился Егор берегом в обратный путь. Уже на небольшом отдалении решил подсветить сумерки этим местным жителям, потому что тьма сгущалась, да и вообще захотелось ему поддержать в них веру, что все не так фатально. Вот хоть таким образом наладить связи с общественностью.

Воздел он руки к небу, утвердившись ступнями на камнях, ощутил электрические токи самой земли — и выпустил из ладоней зарницы, которые высветили поселок, озеро и лес за поселком. Электролампочки в домах разом вспыхнули ярче, а та, что висела на крыльце магазина, раскалилась докрасна и брызнула тысячью осколков. Раздались крики, цепные собаки разволновались, подняв лай и вой, даже петухи заголосили в курятниках, сея панику и смятение. Озеро вскипало возле берега, повыдергивались из воды в недоумении русалочки головы.

Потом все кончилось, и над поселком остался единственный источник света — тонкий серпик Луны. И шум утих, как будто ничего не случилось. Поселок продолжил погружаться в сон. Так достойны ли люди света? — задался Егор вопросом. — Конкретно эти люди, и люди вообще?

Он знал, что некогда, сто сорок три тысячи лет назад, над Миргардом, Землей, вращались целых три спутника: Леля — малая Луна с периодом вращения семь суток, Фатта — средняя, с периодом обращения тринадцать суток, и Месяц — нынешняя Луна с периодом двадцать девять с половиной суток. Фатта вращалась вокруг Земли в экваториальной плоскости, поэтому на древних изображениях напоминает лодочку. Леля и Месяц — это родные спутники нашей планеты, а вот Фатту откуда-то притащили и пустили гулять по орбите. Потом одну из Лун, Лелю, пришлося уничтожить, так как на ней поселилось зло, пришедшее из глубин космоса. Это сделал Даждь-бог. Обломки Лели упали на Землю, из-за чего погибла Даария, или Гиперборея. Из-за этих событий земная ось отклонилась на двадцать три с половиной градуса, вызвав различные катаклизмы и Всемирный потоп. Огромнейшие куски небесного спутника падали в Тихий океан, вздымая волны, которые обошли всю планету.

А более тринадцати тысяч лет назад люди, переселившиеся из Даарии на остров, лежащий в Атлантическом океане, Атлантиду, в своем развитии зашли в тупик. Великий достаток затуманил головы вождей и жрецов. Они принялись врать и богам, и людям, нарушая заветы предков, издавая себе в угоду новые законы. А еще — экспериментировали с Кристаллами Силы и якобы случайно уничтожили Луну Фатту. Разбилась малая Луна. Гигантская волна от падения осколков трижды обошла землю, что привело к гибели Атлантиды и других островов. Ожившие вулканы отравили атмосферу, и началось Великое оледенение. Люди переселялись на юг, в более тёплые места обитания, а ледник практически уничтожил все следы проживания на северных широтах. Так человечество оказалось в каменном веке и, похоже, на местах не выбралось из него до сих пор, несмотря на прогресс науки.

Тяжелые думы одолевали Егора на обратном пути вдоль берега. В перелеске мимо него строем прошли волки, дружно проигнорировав его присутствие, будто он и не человек вовсе.

На турбазу вернулся он далеко за полночь и сразу плюхнулся спать.

— Мы знали, что вы нас не подведете! — Тритон Тугарин из канцелярии радостно пожал Егору руку.

Егор же успел отрапортовать, что контакт с местным населением налажен, обещаны рабочие места, хорошие зарплаты и перспективы зарубежной стажировки.

При каждом новом обещании Тугарин гаденько похихикивал, и Егору самому стало на редкость противно от собственного вранья. Но — чем больше он заливал, тем слашавей становилась улыбка тритона, веки его смыкались в сладких грехах о грядущем обогащении. Он кивал в ответ на каждое Егорово слово, а потом, стоило Егору незаметно повести рукой с кольцом в воздухе, — тритон заснул, откинувшись в кресле. И пока Тугарин спал, Егор успел просмотреть все бумаги, разложенные на столе, а также в папке «На подпись». Но — документации по рыбоводческому хозяйству среди них не оказалось. Путь оказался тупиковым.

Благо, очнувшись, Руслан Алиевич не помнил, что спал. Он встрепенулся, зевнул, аккуратно прикрыв лапой рот, и спросил:

— Кажется, я отвлекся. О чём мы говорили?

— Руслан Алиевич, а вот у вас на стене портрет Петра I висит, — нашёлся Егор. — Это потому, что он у нас завод построил?

— Ну, отчасти, — честно ответил Тугарин. — Обратите внимание, что у Петра была аномальная физиология. Рост за два метра, что чрезвычайно необычно для той эпохи. А скелет не вполне соответствует строению обычного человека.

— Это как? — поддержал отвлекающий разговор Егор.

— Удлиненный череп, необычное количество позвонков, странные зубы, похожие на зазубрины... Как-то это не характерно для человека. Вы не находите?

Егор пожал плечами.

— А ко всему прочему жажда прогресса!

— И что? — Егор так и не научился понимать намеки.

— Но это же явные черты рептилоидов! Передовые технологии, быстрый прогресс и жажды знаний!

— Так что же получается... — растерянно произнес Егор.

— Конечно, Петр был рептилоидом! — подытожил Тугарин. — А еще я недавно наткнулся на странное свидетельство о Екатерине Великой. Есть сведения, что она раз в семь лет как бы сбрасывала кожу. То есть историки понимают это выражение как образное свидетельство личностного роста, но согласитесь...

— Ой, я, пожалуй, пойду, — не выдержал Егор. Еще не хватало обсуждать с рептилией русскую историю. Тем более он не сильно-то в ней разбирался.

— В любом случае мы вам чрезвычайно благодарны! — Тугарин протянул ему на прощание склизкую лапу. — Мы ценим приспособляемость.

Егор только легко прикоснулся пальцами к его ладони, едва преодолев отвращение. Неужели теперь придется работать с ящерами? Он уже крайне сокрушался, что согласился на новую должность, то есть он даже не соглашался, а все произошло как бы без его согласия. И что теперь делать с озером Хиттоярви? Пустить дело на самотек, чтобы русалки насмерть защекотали гивоитов? Однако тоже выход.

Вечером за просмотром сериала — Егор наконец набрел на более-менее сносное кино — он поглаживал кота и пытался ни о чём не думать, хотя на перекор всему думалось, что было даже удивительно: в прежней жизни Егор не привык думать, достаточно было выполнять распоряжения начальства. Кстати, он только недавно подметил, что на рабочих местах все в основном только этим и занимаются.

Лампа в торшере замигала. Егор оторвался от телевизора. Затем свет погас, только мерцание экрана освещало комнату. Василий у него на руках насторожился и, не отрываясь, глядел в темный угол. Внезапно в комнате раздался глухой, низкий голос, исходящий будто из телевизора: «Истина крокодила не для тебя». На экране зажглись два желтых глаза с вертикальными щелями зрачков, которые уставились прямо на него, не мигая. И, прежде чем испугаться, Егор ощущил, как что-то холодное и чрезвычайно мерзкое змеей скользнуло по его руке — но внезапно исчезло. Он еще успел различить на фоне окошка высокий и страшный силуэт с вытянутой мордой, но в этот момент погас экран телевизора, и комната погрузилась во мглу.

Егор почувствовал, как его безымянный палец пульсирует под перстнем, а сам перстень сделался горячим и пыхал внутренним жаром. Только когда Егор поднялся, чтобы включить свет, пульсация успокоилась, и мир снова стал прежним. Егор перевел дух. Перстень его хранил! Перстень служил своему хозяину и знал, как его защитить.

— Перстень! — Егор произнес вслух. — Перстень, что же мне теперь делать?

В голосе его сквозануло настояще отчаяние, потому что истина крокодила в самом деле была не для него: менее всего он хотел верховодить ги-воитами и просто контактировать с ними. Он не находил себе места в новой жизни, иочные прогулки с котом больше не повторялись. Василий превратился в обычного домашнего питомца, которого интересовало только, как бы сытнее пожрать. Он разучился говорить и в случае крайней необходимости пристально глядел на Егора, издавая тихие утробные звуки.

А тут еще на новой пятитысячной купюре вместо человека Егор увидел рептилоида, смотрящего влево, и прямо обомлел. Нет, до чего дошло: самодовольный такой ухмыляющийся рептилоид. И все вокруг делали вид, будто все в порядке.

Впрочем, и без того все вокруг просто делали вид — и больше ничего. Потершись в коридорах власти, Егор с удивлением обнаружил, что в рабочий полдень чиновники обсуждают не насущные проблемы сельского хозяйства и промышленности, а ведут разговоры на очень странные темы, например:

- откуда пошли первые люди — из Африки, Индостана или Ближнего Востока;
- в чем была главная ошибка Наполеона;
- были ли американцы на Луне и существует ли вообще Луна у плоской земли;
- есть ли заговор масонов, или их давно поработили мозговые слизни;
- прилетали ли инопланетяне и зачем им анальные зонды;
- живем ли мы в компьютерной симуляции или снимся сами себе в момент падения нашего корабля в черную дыру.

Вопросы эти считались неразрешимыми, поэтому их можно было обсуждать бесконечно — за кофе, чаем, рюмкой коньяка, ну и т.д. От обсуждения этих важных вопросов в жизни ничего не менялось: ни модель поведения, ни стратегия, ни место работы и планы на будущее. Поэтому их обсуждали с особым рвением: на деле улучшать окружающую действительность — это же нудно и долго. А предаваться словоблудию легко и даже приятно.

Причем далеко не все Егоровы коллеги оказались рептилоидами. Были среди них и обычные люди, которые, кажется, все понимали, но молчали, не желая покидать насиженное хлебное место. Отличить рептилоида от человека было несложно даже невооруженным глазом. Ящеров выдавала особая походка. А еще они часто моргали и имели привычку высывать языки.

Егор даже себя проверил перед зеркалом в туалете. Язык у него оказался совсем не длинным. Обычный розовый язык, какой и должен быть у человека. Значит, Егор точно в ящеры не годился. Он был чужим в племени ги-воитов. А это, скорее всего, было очень опасно.

На последней планерке перед майскими праздниками обсуждали статью в журнале «Юридическая наука: история и современность», которую вместе написали какой-то депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса ФСБ. Статья называлась «Основы русской государственности», и в ней говорилось, что в мире существуют две породы людей. Одни созданы по образу и подобию божьему, а другие — с помощью генной инженерии в контакте с рептилоидами. Это представители коллективного Запада, мигранты и либералы. Они занимаются убийствами, педофилией и людоедством, а также причастны к сокращению русского населения.

— Что вы об этом думаете? — Тугарин обвел глазами присутствующих и облизнулся.

Никто из присутствующих ничего особенного не думал. Тогда Тугарин предложил подписать петицию с осуждением позиции авторов и отправить ее на самый верх, так как в статье написана совершенная ерунда с точки зрения науки. Все единодушно поддержали, потому что нельзя же вот так взять и спалиться! Егор тоже поддержал, хотя авторы были как никогда близки к истине.

Потом перешли ко второму вопросу, а именно устроительству рыбоводческого участка на озере Хиттоярви. Руслан Алиевич доложил, что конфликт с местным населением удачно разрешился благодаря умелым действиям Егора Петровича Баженова, и вся планерка при этом с интересом и явным одобрением уставилась на Егора. Тугарин предложил вынести Егору официальную благодарность, все согласились, а Егор вздрогнул. Этого еще недоставало! Вот же странное дело: чем больше Егор пытался сопротивляться, тем прочнее становилось его положение в гивоитской стае, и тем меньше он понимал, что вообще делать. То есть получалось, как у Чернышевского, самое что ни на есть дурацкое дело.

И самое дурацкое состояло в том, что Егора благодарили не за действительные заслуги, а только за то, что он обладал волшебным перстнем, который давал ему власть над земными начальниками!

— Вы бы хоть премию себе когда-нибудь попросили, Егор Петрович, или звание, — с ехидцей произнес Тугарин. — Раз уж взяток не берете принципиально.

Или вряд ли тритон произнес это вслух. Скорее всего, Егору почудилось. Хотя идея брать взятки ему просто не приходила в голову. И тут Егора прорвало. Да что же такое, в самом-то деле! Почему он расстекся в кресле как кисель, вместо того чтобы разогнать это сбирающее рептилоидов к чертовой матери!

— Вот что я вам скажу, — Егор начал еще застенчиво, но набрался смелости и продолжил уже решительным голосом: — А не позволю я вам, гивоитам, губить чистое озеро Хиттоярви. Довольно вы нагадили в окрестностях, у нас теперь красиво только там, куда ваша лапа не дотянулась. А ну-ка выкладывайте на стол, что вы там намудрили с этим Хиттоярви! Всю документацию сюда. Мигом!

И он прихлопнул ладонью по столу. И удивился сам, насколько естественно у него это получилось, будто он всю жизнь ходил в начальниках.

Руслан Алиевич Тугарин, надувшись, как воздушный шар, — до такой степени, что чуть не лопнул, — молча открыл ящик своего стола и выложил на стол папку тисненой кожи. Егор мимоходом смекнул, что, скорее всего, эта кожа некогда принадлежала его предшественнику по связям с общественностью, уж больно подозрительно выглядела.

— Прекрасно! — продолжил Егор. Он явно сутился, опасаясь, что кончится запал. — Эту вашу папку я конфисковую в интересах республики. И чтоб больше никаких пополнений за моей спиной. Поняли меня?

Гивоиты послушно кивнули, что означало «поняли», и горестно, скорбно вздохнули, выпустив в воздух струю болотного духа.

16

Светлану Игнатьевну Егор встретил совершенно случайно на праздновании 1 мая, причем случилось это до того неожиданно, что он внутренне вздрогнул. Хотя на первый взгляд весьма закономерная встреча. Он колесил по городу в поиске, где бы пообедать: ему теперь не нужно было возиться с готовкой на кухне, в городе было много приличных мест, где кормили вкусно и недорого. Однако центр в связи с праздничными мероприятиями был перекрыт, оставалось довольствоваться заведениями на периферии, где, впрочем, тоже можно было неплохо перекусить. Да и гивоиты туда редко заглядывали. По рангу не полагалось. Егор выбрал кафе на Октябрьском проспекте, в котором предлагали баварские колбаски с овощным гарниром — сытное и простое блюдо, Егор пристрастился к нему еще во времена работы электриком. Это кафе очень любил Колян — пиво там было дешевое, некогда и Егор хлестал пиво с ним за компанию, однако теперь он был за рулем, так что пиво отпадало по определению, и компания Коляна тоже.

Притормозив на обочине, Егор заметил Светлану Игнатьевну, правда, не сразу ее узнал. Была она одета с иголочки, в джинсовый костюм оверсайз, что как-то плохо вязалось с ее библиотекарской должностью. Ногти у нее вымакали непомерной длины, да еще и покрыты были какой-то радужной эмалью, что было заметно даже издалека. Егор присвистнул, а тут она сама подлетела к машине, хотя откуда она могла знать, что Егор теперь на колесах? Он и выйти не успел из машины, как она постучала в стекло.

— Ой, Егор Петрович, неужели вы? А я вам собиралась звонить: вы у нас в задолжниках еще с осени.

Егор покорно распахнул перед ней дверцу, и Светлана Игнатьевна затекла внутрь, как будто только и ждала этого момента.

— Ой, Егор Петрович, — опять начала она, — вы однажды обмолвились про свой перстень... ну, что он какой-то редкий...

Егор очень удивился такому началу. Светлана Игнатьевна меж тем без паузы продолжала:

— Я нашла кое-какую редкую литературу по древним перстням, одна книга так вообще есть только в нашей библиотеке...

— Ну и дальше? — Егор не спешил продолжать диалог, сбитый с толку неожиданным напором Светланы Игнатьевны.

— Нет, вы действительно не понимаете! — Светлана Игнатьевна восхлинула на странно визгливой нотке и, кажется, едва удержалась, чтобы не схватить Егора за руку.

— Чего я не понимаю?

— Вы не понимаете, что это за перстень и как с ним следует обращаться!

— А вы, значит, понимаете?

— Конечно. Вот теперь я точно понимаю. Ваш перстень в этой книге описан во всех подробностях... То есть я хочу сказать, если это действительно ваш перстень.

Егор никак не мог понять, к чему клонит Светлана Игнатьевна, однако разговор ему совершенно точно не нравился.

— Егор Петрович, что ж вы такой непонятливый! — выпустила раздражение Светлана Игнатьевна. — Дайте мне ваш перстень на пару дней.

— Зачем это? — Егор кое-что заподозрил.

— Затем, чтобы я сравнила с описанием в той самой книге.

— А может, я сам зайду в библиотеку? Вместе и посмотрим.

— К сожалению, так не получится. — Она наконец совладала с собой и продолжила очень вежливо, как и подобает библиотекарям: — Книга находится в закрытом фонде, вас туда никто не пустит. Вот в чем дело.

Она скрчала умильную рожицу и даже попыталась изобразить улыбку. И тут Егор заметил, что во рту у Светланы Игнатьевны торчат острые, как иголки, зубы.

— Ах ты, тварь поганая! — невольно вырвалось у Егора. — Библиотекаршей прикинулась? Светланой Игнатьевной, да?

— Я вас совсем не понимаю, — тварь попыталась игнорировать Егорову реплику. — Ш-что вы такое имеете в виду?

И это долгое «ш-ш-ш» окончательно выдало зверюгу. Неожиданно из ворота ее куртки выдернулась морщинистая рептилоидная шея, и тварь пребольно укусила Егорову руку с перстнем, разодрав кожу. Брызнула кровь. Егор завопил, но все-таки плотно сжал кулак, чтобы нежить не стянула перстень у него с пальца. Перстень раскалился и шарахнул тварь разрядом на все триста восемьдесят вольт. Егор быстро выскоил из машины, а потом выволок наружу и подлую зверюгу. Едва рухнув на асфальт, тварь с усилием всталась на четвереньки, встряхнулась вроде собаки и принялась улепетывать от Егора через дорогу все еще на четвереньках, создавая помеху движению. Сзади неё волочился, взметая пыль, длинный хвост.

Егор плюнул ей вслед. Укушенная рука чертовски болела. Вот именно что чертовски. Ладно бы собака его укусила! А вдруг самка рептилоидов была ядовитой и успела впрыснуть в рану яд? Егор обмотал руку носовым платком и двинулся в сторону станции скорой помощи. Благо было недалеко.

В приемном покое никого не оказалось. Ни души. Егор скромно присел на стул и принял сидеть ждать, однако напрасно. Прошло минут десять, однако никто так и не появился. Егор пару раз зычно крикнул в пространство: «Люди-и! Помогите!» Тишина не дрогнула. Тогда Егор покинул стул и решил самостоятельно обследовать помещения, авось кого-то да встретит.

Длинный коридор убегал далеко вдаль, и череда дверей по обе стороны его таила неизвестность. Егор осторожно приоткрыл одну из них. В лицо ударили солнечный свет, почти ослепив его. Перед глазами поплыли черные пятна, сквозь которые он, сощурившись, разглядел врача, который что-то писал, уткнувшись в разложенные на столе бумаги. Не отрывая головы от бумаг, врач спросил:

— А вам чего?

— Вот! — Егор предъявил руку, обмотанную окровавленным платком.

— Так... — Врач наконец обратил на него внимание. — Направление есть?

— Какое направление? Меня только что на улице укусили.

— Самодеятельность, — проворчал врач, но платок размотал аккуратно и обработал рану перекисью водорода.

Егор наконец выдохнул. Как-то отпустило. Даже если нежить впрыснула яд, его наверняка спасут.

— Кто это вас так? — спросил врач.

— Да... эта... кошка напала.

— Бешеная?

— Не знаю.

— Судя по зубам, кошка гигантских размеров. Где вы нашли такую?

— Я никого не трогал, а она выскоила из кустов.

— Проведем антирабическую вакцинацию, — заключил врач. — Первая прививка в день обращения, а далее — на третью, седьмые, четырнадцатые, тридцатые, девяностые сутки после укуса.

— Так это что, мне еще три месяца лечиться, что ли?

— А вы как думали? — доктор внимательно посмотрел на Егора сквозь толстые стекла очков. — Так кто вас все-таки укусил?

— Говорю, кошка!

— Раны слишком глубокие, и клыки не кошачьи. Я бы сказал, что это росомаха. Могла бы и в горло вцепиться.

— Да какая росомаха! Откуда? Я по городу гулял, а тут...

— Ладно. Жив остался — уже хорошо.

Врач наложил на рану стерильную повязку и выписал направление на вакцинацию.

— А больничный дадите? — уточнил Егор. Очень уж ему не хотелось появляться на своей новой работе.

Вместо ответа врач сосредоточенно кивнул, вернувшись к своим бумагам. Уточнил у Егора место работы, должность и после этого внимательно посмотрел него с большим уважением.

— Что же вы, Егор Петрович, при такой должности себя не бережете? Кстати, у вас ведомственная поликлиника есть, туда обратитесь.

— Зачем? Вы ведь уже уколы назначили.

— Ну, там проведут физиотерапию для скорейшего заживления. Нельзя вам при такой должности выглядеть, как раненый партизан.

Егор пожал плечами.

— А вот признайтесь, Егор Петрович, это у вас ведомственные разборки? — врач кивнул на рану. — На моей практике случалось, что и кусок мяса умудрялись отхватить.

— Как?

— Зубами. Я так понял, начальство у нас исключительно зубастое. Не сможешь ответить — сожрут.

— Я не кусаюсь, — отрезал Егор и поспешил выйти из кабинета, чтобы врач не задавал лишних вопросов.

Он понял, что на него началась настоящая охота. Сам он как таковой был никому не нужен. Гивоиты хотели заполучить волшебный перстень, потому что он достался вроде как не тому человеку. И в этом они, к несчастью, были абсолютно правы.

Да-а, сложный выдался этот праздник — День весны и труда.

17

С рукой, щедро обмотанной бинтами, Егор и в самом деле выглядел как раненый партизан. Больничный ему выписали на неделю с последующей явкой на повторную вакцинацию, однако впереди было целых семь дней ничегонеделанья, да и чем таким особенным можно было заняться, когда рука выбыла из строя!

Кот Василий проявил к нему сочувствие, потеревшись о штаны и испустив утробный звук, но затем отправился грубо жрать, слегка разочаровав Егора.

В библиотеку Егор долго не решался зайти, но, раз уж выдалось нескользко ничем не занятых дней, наконец решился. Тем более что он действительно просрочил какие-то книжки. Какие — он уже и сам не помнил, но вот как раз случился и повод.

Одеться решил попроще: на службу-то теперь приходилось в костюме ходить и при галстуке. А тут можно было влезть в любимые джинсы и кроссовки. В общем, нарядившись, Егор даже с некоторым любопытством посмотрел на себя в зеркало: изменилось ли что-то во внешности с тех пор, как он работал электриком. Судя по всему, изменилось. Лоск появился какой-то во всем облике, и даже простая одежда этот лоск не скрывала. Выглядело это так, будто чиновника зачем-то переодели в одежду простолюдина. Прическу Егор теперь носил прилизанную. Даже когда попытался пятерней разлохматить — волосы потом все равно гладко легли. Ногти еще холеные. Даже волшебный перстень на пальце теперь смотрелся как что-то чужеродное, грубое. Портил картинку. И Егор с грустью отметил, что к прежней жизни возврата, наверное, никогда не будет.

— Ты как думаешь, Вась? — спросил он кота.

Но кот даже не удостоил его вниманием и гордо прошествовал мимо, задрав хвост.

Егор все-таки отправился в библиотеку. На счастье Светланы Игнатьевны на работе не оказалось. А может, вовсе и не на счастье, а совсем наоборот. Да кто его знает! Главное, что Егора в библиотеке приняли самым лю-

безным образом. Даже пеню за просроченные книжки не взяли и не ругали, что вовремя не сдал. Напротив, провели по выставке новых поступлений: «Пожалуйста, Егор Петрович, выбирайте какие угодно книжки».

Егор выбрал из вежливости какой-то современный роман, который не собирался читать. Но неудобно же было вообще ничего не взять, когда ему так настойчиво предлагали.

— А есть ли у вас книги про оборотней? — робея, спросил Егор.

— Фэнтези? Да сколько угодно! — толстая библиотекарша в нежно-розовом платье указала на стеллажи с завлекательными корешками книг. — Есть даже целая серия «Оборотни внутри».

— Оборотни внутри? — повторил за ней Егор. — Пожалуй, я возьму парочку. А что-нибудь научное есть?

— Оборотни — не научная тема, — как будто обиделась библиотекарша.

«Ага, знала бы ты», — ответил про себя Егор, но вслух высказываться не стал. Он еще побродил между полок в надежде, что Светлана Игнатьевна все-таки появится. Наконец, измученный напрасным ожиданием, не выдержал и спросил даму в розовом, а где же сегодня Светлана Игнатьевна, появится ли.

Библиотекарша, колыхнувшись обильным телом, припала к его уху и горячо зашептала:

— А Светлана Игнатьевна пропала у нас. Ой, пропала!

— Что значит, пропала? Заболела?

— Нет. Она совсем пропала. Третий день на звонки не отвечает и дверь не открывает. Мы ходили проведать.

— Что значит, не открывает дверь? — поразился Егор. — В полицию надо заявить. Ничего себе! У вас человек пропал, а вы...

— Да мы уже заявили. Да они как-то слабо отреагировали. Говорят, дело молодое. Сама найдется.

В смятении Егор снял с полки первую попавшуюся книгу и наугад открыл. Бросилась в глаза строчка: «Величие заключается не столько в обладании силой, сколько в мудром и божественном употреблении этой силы».

— В общем, так, — решительно заявил Егор, захлопнув книгу: теперь он твердо знал, как действовать. — Дайте-ка мне адрес и телефон Светланы Игнатьевны. Я все же небольшое начальство, кое-какой властью обладаю...

Перво-наперво он наведался в местное отделение полиции навести справки, почему они не хотят искать Светлану Игнатьевну. Рядовые сотрудники оказались самые что ни на есть обычные люди, поэтому Егора слушать не стали, а ответили скромно, что справок о ходе дела посторонним людям не дают и что в розыске у них с начала майских праздников целых двадцать четыре человека. Скорее всего, большинство пропавших найдутся сами: забухали, потому что вот именно праздники, поездки на природу и так далее.

Егор спорить не стал. Только посоветовал проверить систему пожарной сигнализации, потому что она под завязку забита пылью. На его слова опять не обратили внимания, тогда, уже покидая кабинет, он щелкнул в воздухе пальцами, выскоцила искра, и папка № 8 с каким-то делом тут же вспыхнула ярким синеватым пламенем. Сигнализация при этом ничем себя не обнаружила, а в рядах полицейских возникло смятение. Уборщица, в панике схватив несчастную папку, сунула ее в ведро с водой, на корню уничтожив дело. Тут же раздался крик:

— Чеготворишь?

Не желая участвовать в дальнейшем тушении пожара, Егор незаметно вытек вон и отправился дальше, проводить квартиру Светланы Игнатьевны. Дом находился в двух кварталах от библиотеки, обычная линялая хрущевка с гнилой проводкой и вонючим подъездом. На звонок домофона никто не отреагировал, поэтому Егор, коснувшись панели ладонью, легко открыл дверь и проник внутрь.

Квартира Светланы Игнатьевны на втором этаже ничем не выдавала ее присутствия: Егор приложил ухо к двери, за которой царила глухая тишина. И больше ничего, ни малейшего шороха, ни звука радиоточки. Тишина стояла такая, что Егор различил, как ток течет по проводам и как электросчетчик в подъезде упрямо наматывает копейки. Светлана Игнатьевна за дверью точно не было. Успокаивало только то, что не было и запаха смерти. Лишь едкая кошачья вонь пробивалась из угла да проводка в соседней квартире еле слышно потрескивала, грозя возможными неприятностями. Егор определил, что к советской алюминиевой проводке кто-то присоединил медную и что еще какой-то идиот замуровал в стене винтовую клемму.

Разбираться с проводкой Егору сейчас совсем не хотелось, его интересовало другое. Однако он все-таки позвонил в соседнюю квартиру и, когда из-за двери раздался скрипучий голос: «Кто там?», представился электриком, который проводит проверку электросчетчиков.

Дверь открыла крошащаяся сухая старушонка с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом. Вертикальные ее глазки смотрели недобро, однако, когда Егор заикнулся о неисправной проводке, старушка пробормотала что-то вроде: «Наконец-то, а я давно жаловалась», и принялась рассказывать, что она и есть Алена Ивановна, которая жаловалась, у которой розетка на кухне искрит, что верхние соседи периодически ее заливают, да так, что вода капает прямо с лампочки в туалете, и что третьего дня ошивались в подъезде какие-то непонятные типы, по виду — начальники, все как один лысые и при галстуках. Она им тоже пожаловалась на лампочку в туалете, а они только отмахнулись. К Светлане Игнатьевне приходили, да. У той прошмандовки ногти длинные и пречерные, с такими ногтями разве можно работать? Тунеядка она, сразу видать. А те начальники еще про какие-то голые граммы говорили...

В общем, Егор все понял. Светлану Игнатьевну похитили гивоиты, чтобы снять с нее голограмму и создать оборотня, который пытался выкрасть у Егора волшебный перстень. Иного расклада ситуации просто и быть не могло. Значит, надо было сунуться в самое их логово. Ничего, пока у Егора есть волшебный перстень, никакие гивоиты ему не страшны.

На поиски он отправился уже поздно вечером, когда откушенная луна зависла на небе, распространяя вокруг призрачное сияние. Про такие ночи в книжках писали, что луну ведьмы украли. Может, так оно и было, кто там знает наверняка, много чего ещё науке-то неизвестно.

В родном районе Егор не бывал с самого переезда. Незачем было, да и горько слишком посещать места, в которых всякого-разного в свое время случилось. Однако ручей с запрудой на близких задворках наверняка был по-прежнему обитаем: место пустынное, а поздней весной еще и благодатное. Берега кишили лягушачьей икрой, настоящий рай для земноводных.

Когда машина свернула с Загородного шоссе и вырулила на кривую окраинную уличку, дорога превратилась в пыльный и плохо проходимый тракт. После ремонтных работ асфальт так и остался взрыт, и Егор отметил для себя, что надо бы поставить вопрос на планерке. Освещение отсутствовало напрочь. И хотя в воздухе висели легкие сиреневатые сумерки, сквозь которые окрестности все-таки проглядывали, Егор остановил машину перед очередным поворотом, вышел на обочину и, сосредоточившись, простер руки к небу. Тут же мертвые фонари ожили. Сперва зародилось внутри них тусклое блуждающее мерцание, но вскоре оно окрепло, и вот уже петухи встрепенулись и заголосили не ко времени, загоношились дворовые собаки, птицы встрепенулись на ветках...

И когда наконец Егор подрулил к заветному ручью, из воды торчало целых двенадцать голов.

В Лето 6872-е, когда Бажен-ведун был уже в преклонных летах, довелось ему наставлять на подвиг богатыря Алёшу поповского рода, ибо тот был хоть и могуч, да зело молод и в сражении неопытен.

Случилось так, что по весне поселился в местном водоеме Тугарин-змей. Откуда только и прилетел? Голова у него была с пивной котёл, а глазища у проклятого с пивные чаши. А носище был калёна стрела, в плечах косая сажень, а туловье будто куча сена несметная. Вот вылезло чудище из воды и давай похваляться, что, мол, хлеба он ест по целой печи, мяса по целому стягу и пива пьет по три ендovy. Такая вот стряслась напасть, что население из дому боялось выглянуть, где там порыбачить сходить.

Свидетельствовала таковая прожорливость о ненасытной алчности поганого. И так похвалялся Тугарин-змей, что ежели сожрать может целый пуд за присест, то и в силе не найдется ему соперника. А тут еще калики ему перехожие донесли, что проживает в окрестностях богатырь Алеша, такой, что голыми руками дуб в одиночку свалит, тогда пустился змей в откровение, что нет такого богатыря, который бы его, Тугарина, одолел. Ну, до Алеши эти слухи дошли, и вот он принял дразнить змея обжористой коровищей и собачищей, которые таожде ненасытно пили и ели, а потом окопытились, издохли то есть, от собственной жадности. Острый на язык был Алеша, сын попа Левонтия, ловкий, удалой и лукавый.

В те времена князья ни о чем не просили богатырей. Те сами предлагали свои услуги и сами выбирали врагов, но и на пиры были вхожи, на пиры тогда всех пускали, кто одет поприличней, не в рубище. И вот однажды Тугарин, не помолившись, вальяжно расселся за княжеским столом, ел-пил в свое удовольствие, этикет не соблюдал, да еще и подтрунивал над князем, что де у того на столе золата-серебра небогато. А богатырь Алеша подслушивал из-за печки, а потом вперед вышел и предложил силой помериться.

Тугарин захотел так, что стены затряслись, потому как у него секретное оружие было — бумажные крылья, на которых он по небу летал, аки орел. Тогда Алеша пригорюнился: позор же теперь, когда не одолеет он Тугарина. И с этим пошел к Бажену. Научи, говорит, как Тугарина одолеть.

«Что ж, — говорит Бажен. — Выходи на бой с Тугарином, а я тем временем дождь нашлю, крылья-то и намокнут. Только уговор: что на змее тебе приглянется, то мне отдашь».

Алеша репу почесал: что там у змея может быть такого хорошего? Шкура — и та вонючая. Ладно, говорит, договорились.

С утра Алеша оделся широко. Так, что и помереть не стыдно. Все самое лучшее на себя надел, чтобы народу показать. Народ-то наверняка придет посмотреть, а ежели Алеша помереть придется, так хоть красиво. Тугарин-змей тоже принарядился: на бой явился в штанах насыщенно-синего лазурита и стеганом доспехе. Доспех, кстати, ничего себе. Жаль, что его придется Бажену отдать, только зачем Бажену доспех? И вот принялись они биться. Тугарин на своих крыльях высоко взлетает и оттуда вниз на врага пикирует, только широкие штаны в воздухе мелькают, синь глаза косит. Алеша едва увернуться успевает, однако чувствует сам, что скоро выдохнется. И вот когда змей к самым облакам взлетел и оттуда вниз камнем падать стал, тогда не сдержался Алеша, возопил что есть мочи: «Что ж ты, Бажен-ведун, бросил меня змею поганому на растерзание? Или обещание забыл?»

Забыл! Точно забыл! Бажен был далеко не молод, память подводила его частенько, и никакие травы тому не помогали уже. Вот вчера после разговора с Алешей в баню сходил, после медового квасу выпил, все у него из головы и выветрилось. А тут услышал Бажен, как Алеша вопит неистовым голосом, сразу все и вспомнил. Вот же старый дурак! Мигом туч нагнал Бажен, да еще каких! Недобрых, брюхатых, грязно-черных. Разразились они проливным дождем, а следом и град с куриное яйцо на землю рухнул. Кры-

лья тугаринские намокли, набрякли, а после и порвались. Рухнул он на сырую землю, как мешок с зерном.

Тогда Алеша взял сабельку острую, чтобы отрубить змею голову, как пивной котел. А Тугарин как заревет зычным голосом:

— Гой еси ты, Алеша Попович млад! Хошь ли, я тебя огнем спалю? Хошь ли, Алёша, конем стопчу? Али тебя, Алешу, копьем заколю?

Отвечал ему Алеша:

— Гой ты еси, Тугарин Змеевич! Бился ты со мною о великий заклад — биться-драться един на един. А за тобою ноне силы нет.

И опять заревел Тугарин Змей:

— Не губи меня, Алеша. У меня дома змеята малые. Я тебе еще пригожусь.

— Чем ты мне пригодишься, чудище поганое?

Отвечает змей:

— А проси чего хошь, у меня много чего в загашнике. Всем поделюсь. А хошь, землю пополам поделим? И где твоя часть — там ты будешь владыкой, я туда и не сунусь.

Почесал Алеша затылок:

— Зачем мне полземли? Я воин, а не пахарь. — А сам смекает, чего бы такого попросить. С Баженом же придется делиться. Он парень-то был себе на уме. — А вот, — говорит Алеша, — доспех отдай. И еще перстень у тебя заманчивый. Его хочу.

— Ишь чего хошь! — заскрипел зубами змей. — Ты лучше штаны мои возьми лазоревые.

— Зачем мне твои штаны? Они мне сильно велики к тому же. Не по размеру. Перстень хочу! — И ногой сильно притопнул.

— Перстенек-то непростой будет, — прошипел Тугарин.

— Тогда тем более хочу.

— Зачем он тебе?

— А для красоты. Слыши, Тугарин-змей, ты мне тут торговаться брось. Чего с тебя еще-то взять? Или я тебя прямо тут на куски изрублю.

Пригорюнился змей. Валился себе на земле, едва пошевелившись горазд. Крылья еще по сторонам висят, подняться мешают.

— Ладно, будь по-твоему, — отвечал Алеша Тугарин-змей. — Вот тебе мой перстень. Только береги его — не носи.

— Почему это не носить?

— А узор сотрется.

Подивился Алеша таким речам, но перстень взял и доспех сразу же на себя напялил. Тяжеловат, но можно приспособиться. Так и пошел к Бажену в змеевом доспехе. Приходит и говорит: «Вот тебе, Бажен, перстень со змеева перста поганого. Не хотел отдавать. Видно, ценный перстенек-то».

Бажен перстень в руках повертел и тут же смекнул, что не простая вещица-то. Древний Ящер на нем, а также знаки Земли и Солнца. Значит, супротив всяких гадов перстень силу имеет. Слыхал он некогда про этот перстень. Будто кто им владеет, тот и змеям владыка. Они-де и рыпнутся не посмеют, ежели владыка им не велит. Ну а коли ко злыдню попадет перстень — у того в приспешниках станут гивоиты зло творить и расплодятся зело по окрестностям, как и случилось некогда в Белоозере, где Тугарин-змей сидел. Вот, значит, как. Нет больше власти у Тугарина.

Засим Бажен успокоился и с перстнем не расставался до самой смерти.

Вольготно сиделось в воде гивоитам, никто их не беспокоил. А если кто к ручью имени Калинина подходил — бревнами прикидывались. В половодье много какой дряни принесло к запруде, сразу-то и не разберешь.

Сидел в ручье среди прочих Геннадий Степанович Бурдалюк — Егор сразу его узнал, хотя и давно видел. Плескался возле самого берега Руслан Алиевич Тугарин. Он слегка застеснялся при появлении Егора и постарался зарыться в ил. Лениво перебирал лапами тучный гивоит, тот самый, из старых знакомых. У него еще зубов недоставало во рту, и он шамкал при каждом слове. Ну и плавала в ручье прочая гивоитская нечисть рангом пониже. Видно, вода успела прогреться за день на мелководье, вот и полоскались они в свое удовольствие.

Егор уже смущаться не стал и начал решительно, резко:

— А ну, твари хвостатые, вы зачем Светлану Игнатьевну похитили? Думали, я не догадаюсь, что это ваши проделки?

— Ну, раз догадались, зачем же пытаете? — ответил Бурдалюк, как самый лояльный из гивоитов.

— А вот затем, чтобы из вашего поганого нутра правду вытянуть. Где вы Светлану Игнатьевну держите?

— Уж больно вы правильный товарищ, Егор Петрович, — уклончиво отвечал Бурдалюк. — Отсюда все ваши беды. Чувство этой самой правды покоя вам не дает, вот и гоношитесь, а заодно и нам неспокойно. Может, мы с вами полюбовно договоримся?

— О чём это?

— А вот, например, вы нам перстень, а мы вам Светлану Игнатьевну в целости и сохранности. Не беспокойтесь, еще не съели ее. Мы же не драконы какие, чтобы девиц живьем пожирать.

— Ишь чего захотели! — расхохотался Егор. — А вот я вам сейчас покажу один фокус. Сразу по-другому заговорите.

Егор прочно укрепился на земле обеими ногами, ощущив, как под подошвами бродят токи земли, воздел руки к небу, и темные грозовые тучи натянуло со всех сторон, сумерки сгустились, воздух исполнился электричества, яркая зарница вспыхнула и погасла в отдалении.

— Гроза близко, — произнес Егор. — Молния в запруду ударит — мало не покажется. Или вы забыли, с кем имеете дело? Я тут по электричеству главный.

— Да что же вы сразу молнией грозите? — поникшим голосом произнес Бурдалюк, на всякий случай выползая на берег. Остальные гивоиты последовали за ним. — Зачем вам этот перстень? Вы же даже не знаете, как с ним управляться.

— Да-а? А если вот так, Геннадий Степанович? — Егор воздел руку с перстнем над головой, и молния упала с небес, вонзившись в землю рядом с головой гивоита, задымилась сухая трава у запруды. — Торговаться со мной вздумали? Я вам не торгащ, я потомственный пролетарий, и разговор у меня короткий. Щас так молнией звездану, что и шкурок от вас не останется!

Гивоиты дружно поджали поганые хвосты и припали к земле, притворившись мертвыми.

— Ладно, будь по-вашему, — прошипел сквозь зубы Бурдалюк. — Встречайте свою Светлану Игнатьевну.

Вскипели воды запруды, и вышла на берег будто бы Светлана Игнатьевна. Сама в белой тунике, на голове венок из красных цветов, и глаза в сумерках мерцают, как у кошки. Смотрит она на Егора, руки к нему тянет. А кожа у нее бледная, как у покойницы. И вот стоит Егор и соображает: «Может, видится мне? Неужели и впрямь она?» А Светлана Игнатьевна словно не идет, а плывет к нему в легком тумане. Приближается и глядит на него пристально, а глаза-то холодные, неживые.

Егор будто оцепенел, стоит недвижно, мороком окутанный, пошевелиться не в силах. А она заговорила так ласково:

— Иди ко мне, милый. Я тебя поцелую в уста твои сахарные. А ты согрей меня в объятиях, здесь так холодно, что сердце мое уже не бьется...

Тут оцепенение слегка отпустило Егора, и понял он, что перед ним не Светлана Игнатьевна, а известная скотина мавка, которая в недавний празд-

ник его искушала. Попытался Егор заклинание какое супротив морока вспомнить, да слова от страха в голове все перепутались. Отступил он на шаг от запруды, назад попятился, а мавка улыбнулась страшной своей улыбкой и пальцем его поманила.

Покачал головой Егор:

— Нет уж. Затянем в омут, течение унесет меня в озеро, где я на самое дно лягу, и никто меня не найдет.

Говорит так Егор, а сам назад отступает, сбежать хочет с проклятого берега.

— Да куда ты от меня денешься? — отвечает ему мавка, а сама от злости трясеется, как в лихорадке.

И тут Егор вспомнил кое-что и решил мавку обвести вокруг пальца.

— Так и быть, — говорит, — красавица. Поцелую я тебя в уста алые, но за это ты меня отпустишь, и я уйду восьсяи.

Мавка глаза прищурила.

— Уйдешь, говоришь? Только оставь мне свой перстенек на память. Тогда, может, и отпущу.

Егор силы свои прикинул и кивнул, согласившись.

— А я вот только пиджак сниму, чтобы согреть тебя лучше, — неожиданно произнес Егор. А сам и рубашку снял. — Торс у меня пролетарский, решил на людях похвастаться...

Расхохоталась на это мавка:

— Да ты, я гляжу, совсем сбрендил.

Подошла она к Егору, руками крепко обвила его шею — так, что могильный холод пронизал Егора до самых костей и сердце зашлось от страха. Однако он с собой совладал, мавку за волосы схватил и приложил ее щекой к своему плечу, к тому месту, на котором полуистертая татуировка была «Спаси и сохрани» и крест линялый.

Тут мавка заверещала, забилась у Егора в руках, пытаясь вырваться, а он к надписи еще раз припечатал как следует. Покрылась ее щека волдырями, хлынули из глаз черные слезы, и обмякла она в его руках. Тут Егор ее в темную заводь кинул, и она сразу ко дну пошла, оставив на поверхности кровавые пузыри.

А гивоиты на берегу аж кверху брюхом полегли от страха. Только один Тугарин ощерился, вдоль спины у него гребень вырос от затылка до самого хвоста, раздулся он раза в три себя шире и попер на Егора с шипением, аки лютый зверь.

— Отдай перстень, — шипит. — Мой он по праву рождения.

— Ну, тогда давай, Тугарин, силами померимся, — так ответил ему Егор-змееборец.

— Куда тебе, простому парню, тягаться со мной, древним змеем? Ты червяк земляной, захочу — лапой одной раздавлю.

Захотел змей огнем на Егора дыхнуть, пасть распахнул, поднатужился, да изнутри у него только струйка дыма в небо выдернулась и тут же растаяла.

— Что, Тугарин, газовщики подвели? — рассмеялся Егор. — А я еще на прошлой планерке предупреждал, что если природный газ на окраины не проведете — худо вам придется, ползучим. Прыть-то у вас не та!

Тугарин закашлялся, поперхнувшись, и как-то сник.

А тут еще Василий, откуда ни возьмись, возник в преображенном виде. Огромный, с целого льва, хвост распушил, гриву пушистую выпустил, глаза огнем горят, когти выставил и жаром природным пышет.

— Р-разорву, — прорычал, — всякую тварь земноводную на клочки. У меня с крокодильим племенем старые счеты. Тр-репещи, Тугарин!

И с этими словами прыгнул он змею на спину и острые когти вонзил в шкуру его поганую. Возопил Тугарин, на месте завертелся волчком. Зубами лязгает, хвостом жирным бьет, потом с размаху в воду кинулся, чтобы льва на дно за собой утащить.

— Вася, держись! — Егор руку с перстнем воздел и молнией метнул вовсю Тугарину, а лев как раз успел на берег выскочить, прежде чем электричеством Тугарина звездануло и тот всплыл кверху брюхом.

— Ну что, змеиное племя? — спросил Егор. — Отдадите Светлану Игнатьевну подобру-поздорову?

— Да где уж теперь подобру, — грустно ответил Бурдалюк, которому опалило молнией кончик хвоста. — Забирайте, так и быть. Здесь она, под голографическим куполом, поэтому и невидима. — И, глубоко вздохнув, уполз в кусты. За ним последовали прочие твари.

Воздух возле старого мостика через ручей задрожал, морок развеялся, и взору предстояла Светлана Игнатьевна. Теперь это точно была она. Насмотревшись на всяких кикимор болотных, Егор не мог не узнать настоящую женщину.

— Светлана Игнатьевна! — воскликнул он. — Я вас спас! Вы свободны! Идемте скорей отсюда! — И он протянул ей руку, в которую она судорожно вцепилась, охая и причитая.

Вскочили они на спину огненному льву Василию, и тот умчал их прочь от поганого ручья Калинова.

А Тугарин, отлежавшись кверху брюхом, очнулся и, отплыв вниз по тихому течению ручья, залег на дно, глубоко зарывшись в ил под корягу.

Эпилог

— На свадьбу-то пригласишь?

Колян с Ваней Захаровым зашли поздравить Егора с новым назначением. Продвинули Егора по службе, начальником канцелярии назначили взамен ушедшего на пенсию Руслана Алиевича Тугарина. Тот собственноручно заявление написал, что устал и т.д. А тут еще несчастный случай приключился: на даче возник у него пожар, и получил он термические ожоги спины и ягодиц. Сидеть в начальственном кресле больше не мог соответственно, — ну вот вам и пожалуйста: открылась кстати завидная вакансия для Егора.

Вискаря приятели принесли, чтобы самим, значит, выпить, раз уж Егор завязал. Большой начальник теперь, понятно. Неприлично в коридорах власти пьяным валяться. Еще и жениться надумал, по рангу ему полагается. Слегка переживали, конечно: вдруг на свадьбу не пригласит. Куда им нынче на свадьбу со свиным-то рылом? Однако все устаканилось: куда без васта, ребята. Только вот насчет начальственной должности Егор подкачал. Не хочу я, говорит, быть начальником!

— Как это? — удивился Ваня Захаров. — В начальники все хотят. Ответственности никакой, подчиненные у них всегда во всем виноваты. Зато какие льготы и престиж! А премии! Жена у меня, например, спит и видит, как бы ей директором библиотеки стать. Старая-то директриса тоже на пенсию собралась.

— Какие там премии в твоей библиотеке? — хмыкнул Колян. — Разве что книжками дадут на вес.

— А хоть и книжками. Книжки нынче красивые выпускают, с золотым тиснением. На полку не стыдно поставить... Так а ты-то чего, Егорка? Начальник канцелярии — это... Это тебе не хухры-мухры!

— А чего хорошего-то? — ответил Егор. — Сиди себе бумажки перебирай с утра до самого вечера.

— А плохо, что ли? — удивился Колян. — Работа непыльная. Посетители небось конфетами угощают или еще чем покрепче.

— Какое там! У них там в канцелярии даже чай с водорослями и тритон из аквариума целый день на меня пляится, — не выдержал Егор. — Нет уж, я себе получше занятие найду.

— Это какое же? — спросил Ваня.

— Решил я, ребята, после свадьбы со службы уволиться, расчет получить, ну, там компенсацию за неотгулянный отпуск... а компенсация там прили-ичная, в прошлой жизни на полгода хватило бы. В общем, уеду я в Заонежье, в бабкин дом. Он еще крепкий, только крышу новую поставить и кое-какие нижние венцы заменить. Малая родина как-никак. Колодец вырою, водоснабжение, теплый сортир, чтоб жена не ругалась. Она, кстати, в местную библиотеку устроится заведующей...

— Ну ты даешь! А сам-то чем займешься? — перебил Колян.

— А я решил, что все Заонежье электрифицирую вдоль и поперек. Электростанцию поставлю, чтоб на атмосферном электричестве крутилась, электропечи куплю, то-сё, собственное производство наладжу. Затрат почти никаких, а пользы-то сколько всеобщей! Интернет потом проведем в каждую избу, будет у нас еще электротранспорт курсировать туда-сюда, представляете! Кинотеатр откроем в клубе, всякие там кружки авиамодельные. Рюкзаки летательные на электричество переведем, чтобы каждый мог сам по себе в город слетать. И главное — никакого тебе начальства змеиного на сто верст окрест! Это какая же красота!

— Ну, давай тогда, чтобы все получилось! — Колян откупорил бутылку виски и разлил по стаканам — себе и Ване. — Гляди-ка, стаканы какие еще новомодные приобрел. Мятое стекло, что ли, да с выемками. Будто их ящер подержал в лапе.

— А то! — похвастался Егор. — Я в родной деревне еще динопарк открою для ребятни. Змея Горыныча из дерева закажу, ну, он же вроде как древний ящер получается, который не погиб, когда малая Луна разбилась.

— Чего-о? — Ваня аж подавился закуской. — Это ж вроде мы с Коляном виски пьем, а не ты.

— Ну, это давняя история, в общем, — отмахнулся Егор, жалея, что немного проговорился.

— А я вот читал, в озере на днях опять какого-то змея видели, — Колян подцепил на вилку кусок селедки. — Плавал себе такой как ни в чем не было, хвостом бил, рыбаков разгонял.

— Ничего, на змея мы управу найдем! — уверенно ответил Егор и покрутил перстень на пальце. — Не впервые, чай, мне с ящерами воевать. В начальниках у нас каждый второй змей, однако я теперь сам с зубами.

— А кота своего ты с собой заберешь? — поинтересовался Ваня.

— Конечно. Разве я могу боевого товарища бросить?

— Жаль. А то бы я его себе забрал. Хороший у тебя котяра, и глаза у него умные. Башковитый, видать. Только что не говорит.

Василий, который до сих пор спокойно дремал в кресле, не обращая на текущую пьянку никакого внимания, навострил уши, вытянул вперед когтистые лапы и длинно, пронзительно мяукнул, давая понять, что говорит он только в исключительных случаях, когда возникнет в том насущная потребность. А в остальные дни предпочитает сытую жизнь домашнего питомца безо всяких эксцессов. Что еще-то котяре надо? Всем бы так жить на хозяйствском довольствии.

— Ладно. Котята в деревне рождаются — тебе подарю, — пообещал Егор. — Василий у меня не кастрированный.

— Вот это правильно! — поддержал Колян. — Змеев следует кастрировать, не котов!

Анастасия Волкова

Деревья сгорели в парке

Не убей меня больше не меньше чем ветер
Колыбельные врут молчат о большом небольшом секрете
Я ведь спал до луны и потом еще долго пою
Незачем обещать разбредаться в чужом kraю
Когда все собралось расплелось перешло в глаза
Слепит ярко звезда и считатель читает до ста
Вечно сто будто в этом имеется кровный вес
А на самом на деле это слово равно воскрес
Я ничей то есть ваш но не их это ясно кругом
Это дерево лето любовь слепота ветер вода и дом
Это свет говорит никаких тебе монастырей
И все тело покрыто стигматами не убей

Чтобы петь стрелять чтобы руки в грязь
Из воды достать лепестки из глаз
Жало из броска длиннотой плевка
Все пространство врозь поделить на два
Поведи меня в васильковый сад
Никогда нет слов посмотреть назад
Эвридике бы повезло со мной
Тонет пузырьком вечный китобой
Это главный кит точно моби дик
И на нем набит самый первый стих
А из сада в путь перелезть забор
Распороть об штырь сонный кругозор
Слов не понимать никакой язык
Говори бросай чтобы вечно плыть
Вылезать в проем доставать до dna
Но куда ведет острыя стрела
В коробочке спят кругляшки мокриц

Анастасия Волкова — печаталась в журнале «Плавучий мост», альманахе «Балкон». Постоянный автор журнала «Урал». В 2020 г. стала первым лауреатом премии им. Александра Верникова «За молодую зрелость». Живет в Екатеринбурге.

С вами танцевать точно падать ниц
Только если я упаду то нет
Пропадет за мной этот дивный лес
Он сгорит во мне а стоять нельзя
Ведь на трех китах хороша земля

Чем ты расплатишься за бога
Когда на веках светлячки
Нехорошо или немного
Под ногти рыбные крючки
Ловить на кровь пятнистых карпов
И в небо нежно отпускать
Снов аризоны нет на карте
Багровая искрится гладь
Вот извлекай кусочки лезвием
Руды на алых родниках
Из глаз появятся созвездия
И пепел пеплу праху прах

В этой свободе все скрыто
Выверенной протянуто вдоль полосы
Которая именуется единицей имеется в запасе
Они говорят ну зачем набирать воду в сито
Ну зачем поджигать свои волосы
И говорить что вздумается при всех при всем классе
Поразмысли над поведением затруднением положением дел
Размышляю над движением космических тел
Директор лепит мне наклейки на лоб
Звездочки звездочки звездочки хожу так по улице
Хожу в подворотни в заброшки на поле для гольфа играют не в гольф
Зачем стучать пальцами по столу знаете это озноб
От вашей реальности где ясно как дважды два
И все упорно пишут вместо ответа ругательства
Что будешь делать собираюсь над точкой сутулиться
Разглядывать пока она не превратится в боль-
Шую рыбу чужую голову башню где высота
Строится относительно надувательства
Я собираюсь углем накраситься и остаться в углу
Неприхотливым растением не будете за мною ухаживать я умру
Шутка куда я денусь хохочу до беспамятства
И наклейки на лбу почти так же ярко сияют
Как настоящие звезды и все горит на ветру
Все говорит и пока в меня вшил магнит
Песчинки сбегаются к самому краю
Чтоб встретить пиратов в самом забытом порту
И объяснить им где скрыто зарыто сокровище понимаете или нет
А они говорят лучше не разговаривай понимаешь ты или нет
А я рассказываю как в кабинете директора
Вместо него на свете был один свет

Спускает ночь хитиновый покров
Влачится даль включается мгновенно
Фонарь расплавленный и настигают кров
Земные токи постепенно во вселенной
Играет музыка исходной тишины
Из полыньи в которой отворот листовки
Из-за которой посадили за решетки
Всех неимущих дерево вины
Давно уже заполнено плодами
Перебродило вылезло на свет
Животное набитое стихами
В один момент и очень много лет
Перебирает землю каблуками
Застрянет лапками в наперстках в лепестках
Как хорошо дышать и просто верить
Скажи мне если знаешь в облаках
Люби меня ведь все на свете звери
На самом деле ангелы на самом деле спели
Всё что ты хочешь так держи меня в руках

Вот и сгорела старая курточка цвета хаки
Ничего изменилось за дверью горят бараки
За ними летят ураганы в озёрах сгорели раны
Где тот журавлик бумажный ну-ка проверь карманы
Вверх поднимается слово похоже на преисподнюю
Похожи на патологию лесные устои но всё-таки
Кровь разливается с неба в виде цветов индиго
Вот и сгорели покрышки окна последние сиги
Ветер стреляет сижки роме стреляли в ногу
Но ничему не учит ни доброта ни дорога
Ни почтовые марки ешьте и станет весело
Деревья сгорели в парке как в серебре как в детстве
Соль из воды качаясь вышла осталась свечка
Тоже сгорит когда-нибудь это и будет вечно

Я как маленькая пчелка проберусь в карман
Я тебя ужалю нежно даже не умру
Ты поймай меня легонько посади в стакан
Стану девочкой-колючкой с деревом во рту
Ты как маленькая птичка говоришь во сне
Ты напой мне о холодном небе под рекой
Я тебя поймаю в руки выловлю в реке
Станешь деревом и в небе выловишь рукой
Пчелку маленькую с медом на кармашках ног
Мы танцуем по квартире под дождливый стук
С ниточки свисает светит солнышко-паук
С ниточки свисает слово первое как бог

Я перешел на ультразвук по берегу реки
Бреди бреди и бредит звон похожий на шаги
Все отражает первый свист он был ни для кого
Во лбу сгорает белый лист иди в свое пальто
И слушай рыцарский турнир но в доме из зеркал
Дом смеха смех летит кругом калекой из лекал
Воссозданных чтоб проживать земное торжество
Я перешел на фаершоу-филфак не западло
Чтоб слушать скрежет трафарет для заполнения зной
На запад повернись во сне не задохнись зимой
Которая в ракушке спит и плещется вода
Растаяла в разломы плит ласкается резьба
Я перешел на синий свет дорогу всем кругом
Бреди бреди и слушай в брег врастает отчий гром
Не знал так что уж начинать не думал так зачем
Я перешел на небо вспять и вырвал из поэм
Все буковки на берег повесил сторонясь
Зажимов гул из-под земли усиливает связь
Разбит филфак что смеходом и звук освобожден
Я перешел к тебе на ты непойманный живьем

Есть две новости
Стекло выходит из плоскости
Это вторая она какая
Хорошая или хорошее только в пределах рая
Рукописи сгорают
И становятся стеклянными бусинами
Рассыпались не удержу не убьюсь и не убоюсь
Первая новость что каждый сверчок
Желает знать
Где трава зеленее
Каждый сверчок в сущности дурачок
Знает шесток знает что мир жесток
Патетика
Чего я стою тут с видом электрика
Приветик каждый охотник трогает травку
И загадает загадку про радугу
Фазан носит в себе цвета
Птица созданная для убийства
Почва созданная для цветка
Стекло созданное чтоб раствориться
Это новости из теплицы
Сквозь тучи неузнаваемых ломких лиц
Блестит милый белый листок
Каждый скрипучий сверчок
Знает свой теплый шесток
Вальс Шостаковича врубите погромче
Все будет ок
Я собираю бусы
Я говорю вам не трогайте и не орите

Вы так ломаете суть
Как же сверчку скрипеть
И зеленою травой укрываться чтоб пение
Бисер радужное затмение
Круговороты реки прозрения
Это хорошие новости
Остальное вернется в плоскости
Останутся только музыка свет и тление
Сверчок играет на скрипочке
Глаза смотрят в лес
Женщина человек
Эта страна достала
Но когда-нибудь будет родимый брег
Дорогой шесток
Бусинки складываются в позвоночник
К позвонку позвонок
Все будет ок
Я посадил цветок я думаю что это мой друг
Что это мой сын
Что это мой дом не опуская рук
Разрезайте инжир
Видите у него внутри самое главное
Звук
Подавайте к фазаньему мясу
Это последняя новость к этому часу

Всё возвращается на свои места
Мы наблюдаем соцветия нового образца
Ветер пахнет падалью и цветами
За слова отдавали болью а за дела делами
Положили пожитки на дно серебристой чаши
А потом богу богою а нам с вами наше
Тишина пестрит голосами птичьими
У свободы вкус морской соли и чуть земляничный
Любовно глядите как прогорит Рагнарёк
Бальдр вышел из смерти и красоту извлёк
Прямо на воздухе это конец начал
До свидания родная Итака до встречи пустой причал

Я очень любила почти касалась
Зрачковым скальпелем травы
Проводила по ветру пальцами
Резали воздух муравьиные львы
Хищно зигзагами зато львиный зев
Запах сеял медовый шепотом
А где-то живет настоящий лев
Наполняет пространство рокотом
Вековой вулкан застыают пластины
Трогают берег волны красивые

Любила все это но вскоре на море
Упало новое созвездие от тебя
И я полюбила уже не так а вдвоем
Сильнее ведь вдвое быстрее живет земля

Рисуй по памяти упавшую бейсболку
Так ветер целовал что сорвалось
Неосторожная светящаяся наколка
Сквозной чертой вонзилась прямо в кость
И слово родилось из первой мысли
Из-под ногтей из глаз все разлилось
Как молоко разбитой крынки в полевые жизни
Цветов ушло в траву всем временам на злость

Вместо стихов плавно стекает кров
Превращается в покрывало
Считают священных коров
Ангелы но никогда не спят
У одного даже слеза упала
Разве можно им плакать
Закроешь глаза вот Сильвия Плат
Ставит предметы на стол в один ряд
Каждому свое место
Что-то швыряет яростно в стену
Каждому свое место
В ее доме окно раскрыто до самого пола и сразу же море
Бьется в порог проникая через стекло
Все перьями заросло все тишиной укрылось
Кое-кто положил мне в руки цветок страшная милость
Сходит воск глядеть на восток легко
Море бьется через листок проникая в тепло
Тихо и никого
Только любовь на тарелке спелые сливы
Пахнут спокойствием
Так хорошо что невыносимо
Но так происходит целая жизнь
А потом ты придёшь скажешь держись
Только любовь пироги и пиво
Так происходит целая жизнь
Ангелы посчитали сколько всеми потрачено слов
Бог проникает в самую суть основ
Он образует ее и плавно стекает покров
С мира превращается в покрывало
Кажется предостаточно но вроде бы главного мало
И что ну и ладно будет как есть
Мнет мою душу как тесто
Разве можно им плакать
Разве
Каждому свое место



Саша Николаенко

Любимый город

Рассказ

Я так тебя люблю, что я уже не знаю,
кого из нас двоих здесь нет.

Поль Элюар

Ужасно холодно сегодня, да? Смешно, что люди говорят «ужасно» обо всём: ужасно хорошо, ужасно плохо, смешно ужасно, не смешно, ужасно холодно, ужасно жарко, ужасно то, ужасно сё, ужасно, да? Смешно.

А сколько времени сейчас? Часы идут, а папа всё с работы не идет, и мама ужин не готовит. Из зеркала тебе навстречу выходит странный человек, снимает шапку, сапоги, пальто, ключи кладет на подзеркальник. Все те же самые ключи: почтовый, длинный с бородой, короткий от входной, щенок-брелок и колокольчик. Ключи от прожитого счастья. В квартире никого.

Нас большие нет.

Прием.

Прием.

Прием.

Опять среда, среда обетования слонов, Россия родина слонов, обетованная слонами. Стада из мрамора, эбена, по росту топают по полочкам комодов и трюмо за горделивым вожаком к обрыву пыльных лакированных высот. «Поставь, не трогай, не бери», и пыль, как тень, ползет по спинам, и каждый слон по важности — седьмой, из них никто не наследит, шагая, в стадах слоновых время не идет, их выточили быть, идти не уходя, их семеро на счастье, но самый маленький «седьмой» за полку завалился, потом его найдут, через года потерять, не нужным никому, отбившимся от стада счастьем, и странный человек в очках зеленых, в демисезонном драповом пальто найденыша в карман опустит, и слоник выпадет из рваных ран подкладки на новый снег и навсегда утонет в нем.

Еще один «седьмой» исчез, зажатый мальчиком в кулак, был в школу принесен и девочке одной подарен. И стало так: у мальчика осталось

Саша Николаенко — писатель и художник. Окончила Московскую художественно-промышленную академию имени С.Г. Строганова. Автор книг «Убить Бобрыкина: история одного убийства», «Небесный почтальон Федя Булкин», «Муравыиный бог: реквием». Лауреат литературной премии «Русский Букер» (2017), литературной премии «Ясная Поляна» (2023), премии им. Эрнеста Хемингуэя, премии журнала «Новый мир». Печаталась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Урал», «Новый свет», «Сибирские огни», «Этажи», «Юность». Живет в Москве.

шесть слонов, у девочки их стало больше, чем для счастья. И мать потерю возместит седьмым слоном отцовских шахмат, чтобы было снова, как всегда, что было снова, как тогда: «поставь, не трогай, не бери», верни...

Россия, родина слонов. В наборе пластик «детям Африка» — слоны, слон у Чуковского звонит, индийский чай — зеленый, хотя написано «Индийский черный чай», с полешками, которые всплывают, но к деньгам, чем больше выплынет полешек, тем и рад. Погонщик на слоне, и ты сидишь и чай не пьешь, мечтаешь, как ты бы был погонщиком слонов в такой стране, где чай всегда цветет...

«Нам нужен пылесос!» — сказала Таня. И пылесосили квартиру на слоне верхом. И город Изумрудный есть, на карте найден. Зеленоград, район Московского кольца.

«Ты пил когда-нибудь «Тархун»? Мне папа из командировки привозил, вкуснее «Буратино» с лимонадом в тыщу раз, и он зеленый. Я приготовлю щас!» — И Таня налила воды из крана, две ложки сахара, три капельки зеленки... Вкусно?

— Да, — ответил он.

— Придумала! Зеленые очки! Чего сидишь? Неси очки!

— Какие?

— Тети Тани!

— Ее нельзя.

— Чего? А как она узнает? Потом обратно принесешь. Да, Саш, иди, еще зеленку принеси, зеленка есть? Зеленку тоже. Теперь сюда полей...

Он вылил пол-зеленки на очки, зеленка кляксой растеклась, зелено-паутиной собралась и так сползла и превратилась в лужу на столе. Зелено-море...

«Газету надо было подстелить, неси газету, щас впитаем!» — Зеленые газетные комки, зеленые глаза, зеленый нос, щека, зеленые ладони, пальцы, отпечатки, зеленый Леонид Ильич, зеленый пленум рукоплещет детству, огромная и серая статья о достижениях страны позеленела на всегда, зеленый стол... «Сейчас!» — пообещала Таня и, отмахнувшись с стола газетные комки, очки смахнула на пол. Зеленый стол, разбитые очки, благословенная пора! Благословенная весна! Калитка в рай открыта, бегут ручьи, идут дожди, сосульки откапели капель, капелла Жизнь поет, и старый капеллан на лавочке сидит живой и дышит! И юный Магеллан открыл пролив дворовой лужи, придворный пес, придворные коты, принцесса в белом фартуке весеннею, и гром и молния над садом сгоняет в рай кипящую сирень...

Там в трещинах асфальта одуванчики цветут, по склонам мостовых оранжевое море. Земля приподнимает цинковую взвесь, везде вулканчики, смотри! — как будто лезут из земли кроты, но лезут-то цветы, цветы буль-дозеров и грейдеров сильнее. Сильнее дождь! И ветер грозовой прохожих загоняет в арки, под козырьки промокшими до счастья, и, потрясенный, лает мокрый пес на гром...

Идем над пропастью двора по мостику апреля, а папин черный зонт большой, как парашют, когда воздушная тревога мая обьявит в воздухе всё воскрешающий салют, потоп весенний, напьются небом голуби из луж, и грянет вальс вернувшихся живыми из зимней выюги воробьев. О чуде жить. О чуде быть живым.

Зеленый, а не длинный дом, зеленый снег, зеленая метель, зеленая собака лает на тебя, зато тебе не страшно, а смешно. Как можно злиться на смешное? А мать твоя уже пришла, а я — уже ушла, и ты в дверях стоишь один, зеленый весь. Зеленый человечек Саша Шишин. И мать тебе:

«О, господи помилуй, Саша... что?» — Еще не зная даже про очки.

...

Который час, который день, который год под радио «Маяк» по четырем углам кухонным мать ходила, искала что-то, ящики рвала, кастрюлями гремела, переставляла табурет, бубнила, бормотала и кляла, он просыпался, слышал мать и прятал голову под плед, но сквозь него, сквозь одеяло, стену бубнила, говорила и гремела мать...

«...Такая шушера наверх полезла, Саша, что ты, как крысы с корабля на бал, хорьки, иуды, Господи, прости, Христа распяли и перекрестились, что распят. Ты, Саша, только посмотри на них, на эти рожи, Саша, посмотри, чего творится, что творят? Ограбили народ, угробили Россию, стравили, как собак, передавили, как котят, прожрали всё, страну прожрали, пяти копейками на старость, заткнули памперсами рот...» — бубнила мать, а радио бубнило: «В эфире радио «Маяк»...»

«В квартире радиоманьяк!» — сказала Таня. — У вас по кухне ходит, слышишь? Приходит, чтобы все, кто по домам сидят и слушают его, с ума сошли, сойдешь и будешь так сидеть под ним на табуретке, слушать, и год, и два, и три сидеть, и улыбаться, и кивать, чего ни скажет, — делать, скажет «приседай», и будешь приседать, «служить» — служить, а «лаять» — лаять, и не заметишь, что давно с ума сошел, что ты и сам маньяк, а будешь думать, все маньяки, кто не сошел с ума, как ты.

«...Опять открыли магазин, «СОВМАГ» назвали, твари, лживое ворье, и думают, пойдет туда народ, народ пойдет и выйдет, с чем вошел, такие цены, Саша, что ты, зато зайдешь, как будто в Пушкинский музей. Несчастная страна, народ несчастный, но им плевать же, Саша, на народ, страну, откроют, назовут, развесят шарики, напишут «Мы открылись», сидят и ждут, что купят люди по такой цене все то, что сами на заводах день и ночь, потом объявили распродажу и распродадут по тем же ценам, что торгуют, опять закроют, переименуют и откроют новый магазин, распределят страну, кругом враги у них, с таким поводырем врагов не надо, Саша, все сами сделаем за пенсию свою.

...Вчера зашла, хотела взять кочан, капуста по такой цене! Кому за это кланяться, скажи? Взяла ведерко квашеной в «Всё есть» по скидке, хотела на обед, и сразу же в толчок, такая гниль... Мне Ольга Николаевна, соседка, сказала в лифте «лучше бы вернули, если сохранился чек». А чеки эти только с лупой разбирать, чего вчера, чего сейчас, я разве вспомню? Опять пенсионерки в переходах на картонках допродают свои кашне, тарелки-вилки, рюмки, чашки, жизнь, а то не выжить, сидят, пока никто не донесет, а если не сидят, то значит — донесли. И тараканы, Саша, в доме появились, спросила Ольгу Николаевну, она сказала, и у них. Лет двадцать не было, проклятых, и как воскресли, Господи прости. Одна ловушка сто рублей, они ловушки эти, Саш, обходят стороной, и только я не обойду, увижу в магазине и куплю. Зато, как в доме новые жильцы, или помрет какой, на столик у почтовых ящиков, где лифты, собрания сочинений Пушкина и Чехова несут, как в магазин, ходи, вставай пораньше — и к столу и выбирай себе ботинки, утюги, и телевизоры стоят, и никого не узнаю, сосед соседу — как в метро, как будто переночевать живут на белом свете, вот только Ольга Николаевна из тех, кто выжил здесь, она, да я, и тараканы. И даже, Саша, хорошо, что тараканы, у них евроремонт, у нас — они к нему. Купила пластилин, по плинтусу, откуда выползают, промазала, где только дотянулась, открыла, Саш, очешник: ни щелочки, ни дырочки нигде, а в нём огромный таракан, как, Саша, он туда попал? Наверно, вырос, что ли, в нем?

В уборной потекла труба, вошла, а там потоп. Не жизнь — дуршлаг, одни пробоины кругом. Внизу недавно делали ремонт, ты представляешь, Саша, если к ним прошло, что будет? Кран перекрыла, воду собрала и стала в ЖЭК звонить, там занято и занято все время, наверное, не только что

у нас течет, но дозвонилась наконец, и знаешь, быстро так пришел сантехник, но таджик, теперь они везде, приличный с виду, молодой и очень вежливый такой, что ни спрошу, кивнет, что ни скажу, — кивнет, с баxилами пришел, в уборную зашел, покопошился там и вышел, потом бумажку мне дает, а там тариф, замена труб, цена на них и установка. Он знает, Саша, пенсию мою? Ее никто не знает, Саша. Ты знаешь, Саша, пенсию мою?

Я говорю: а коммуналку я за что плачу? — кивает, говорю — тогда не нужно ничего, вернется сын, сам купит и поставит, и хорошо, что про тебя ему сказала, а то подумал бы, что я одна живу. Ушел, а я сижу, не знаю, что теперь? Наверно, нужно было с похоронных взять, ведь ни помыться, ни спустить. Нет, хорошо, что с похоронных при таджики не взяла, подумал бы, что деньги есть в квартире, по радио предупреждают о таком, и телефон весь день звонит и что-то предлагает, я трубку, Саша, не беру, давай с тобой договоримся, что, если будешь ты звонить, один гудок, и трубку положи, потом перезвони, и два гудка, на третий подойду.

...Пошла в сберкассу, пенсию сняла и снова позвонила в ЖЭК, а мне они: по адресу у вас уже была бригада, а я, что мне не починили ничего, как было, так осталось, чего снесли, то и обратно вознесли, вот раньше, Саша, были макароны, теперь спагетти нужно говорить, а упаковка та же, те же макароны, помнишь, посмотри?»

Он посмотрел на упаковку. Она была такая, как всегда. Такой же зимний день в окне холодный, всё тот же «Жемчуг» в ванной, «Детский крем», тональный крем «Балет», зубная щетка мертвой матери в стакане. Его стакан, ее стакан, и мыла земляничного обмылок, и к мыльнице прилипший таракан.

Запахло осенью, сырой землей, травой холодной, детством и так еще, как будто только что на кухне мать задула свечки фитилёк. Глаза закроешь — мать. Откроешь — и рассвет.

Шумела тишина, паук с хорошей новостью бежал за плинтус, садилась пыль, седели зеркала, желтели книги, кран протекал, сочилось в щели время, и падал снег на рыхкий клён, на воробышний куст, на город, на качели. Поверх всего, поверх всему.

Убийцы, старые настенные часы, еще идут, указывая стрелкой путь годам, наматывая жизнь на циферблат кухонный. Смерть ходит по часам, по числам, по любимым, в предсмертье детства выбегут из школьных врат свободными смешные долговязые бойцы за счастье, которое осталось позади, но, Саня! Завтра кончится война, и всех, кто победил, и всех, кто нет, посмертно наградят одной могилой братской у человечества позорного столба.

«Мы закрываемся, у нас обед», — тебе в хозяйственном сказали, обет молчанья о любви, о счастье жить, о счастье быть счастливым, у нас обед, что только челюсти натуженно скрипят по хрящиков и жилам, у нас обед, что только слышно вой, да плач, да стон, да смех, да мат, да я тебя люблю, да Бог тебя храни, не уходи, не уходи...

В стране, где только рыбы правду говорят друг другу на пузырящемся кровавом языке на рыночных лотках еще живыми, им холод затыкает рты и леденит глаза, чтобы не смотрели с ужасом надежды на тех, кто их привел добить. Христос воскрес на утренней заре и вечно по земле бродил между крестами воистину великого обмана, что воскресают люди, праведно распятые на них.

Над черным городом бетонным из тишины с глазами фонарей, из вечной мерзлоты, из баннеров сменяемых о счастье, над реками асфальтовых дождей, над заревом империи абсурда вставал апрельский ранний воробышний свет, когда они через оконное стекло чирикают «воскрес!». Еще один, всегда последний, и снова первый солнечный апрель...

...

Мне все приснилось, Саня, жизнь приснилась, школа, длинный дом, хозяйствственный, аптека, гастроном, комиссионка, куда однажды мать твоя сдала костюм и запонки и галстуки отца, а мы с тобой пришли забрать обратно, а женщина комиссионная у кассы сказала нам, что ничего забрать нельзя. Что ничего забрать нельзя, что ничего вернуть нельзя, что никогда не будет раньше, а будет только позже, позже, позже с каждым днем. Неумолимо позже. Все дальше, дальше будет тот щенок, которого тогда домой не взяли, и взять нельзя, как ни беги назад.

Как против всех по эскалатору наверх бежали из-под земли, и ты за мной, вцепившись в руку, из силы всей, из всех последних сил, и прямо в лапы тетки в синем, а из-под лап к дверям, и не достались ей! Мы не дотянулись ей! Мы победили смерть.

Проснулась, нету ничего. Необитаемое детство. Куда мы делись, Саша? Выжили из счастья? Из санок выросли, из клетчатых пальто. Где ты теперь, кто мне целует пальцы, куда ушел, чего не позвонил...?

Тут в вечности почти у всех календари, будильники опять же все почти заводят, а знаешь почему? А знаешь для чего? Чтоб слишком вечной не казалась вечность, так страшно не было вообще не умереть. И мертвые перебирают память и выдвигают ящики трюмо, чтобы хоть что-нибудь найти от счастья, от радости, что ты когда-то был...

В раю качается старуха на качелях, старик на лавочке сидит, читает «Правду», отложив кроссворд. Кроссворд разгадан. В песочнице лежит расстрелянное детство, и мы с тобой идем от булочки с батоном, я говорю: куда теперь? А ты мне отвечаешь: я с тобой.

Я все бы, Саша, отдала, чтобы туда вернуться. Пишу тебе и плачу. Не верится, что это было на земле.

Твоя ТБ.

В давным-давно, в стране, которой больше нет, над сценой старого двора на бельевой веревке детства — небо, и майский ветер надувает парус простыни, полощет солнце флаги корабля, халат цветочный мамин, трусы семейные и треники уют, два капитана Неизвестность стоят у ржавого балконного штурвала и правят в негасимый свет. Асфальт уходит из-под ног, сиреневый туман клубит над пропастью двора, мы обещаем жить, любить и верить, бороться и искать, пока не рухнет небо. Оно не рухнет, Саня, я его держу. И ты — держи.

Стекло к стеклу не подходило, он повернул и так, и так, смешал и снова начал собирать.

**Любимый город.
1 января 2025 год**

Богдан Бейк

Стихотворения из цикла «Тысячептичник»

Плач — когда небо.
Плач — раньше боли,
Умыт вороньей сажей.
И звезды замирают
Этим равенством слез.

так тихо укрывает ветви снег
звезд выходы и входы
урок смирения

Талую выпьешь воду
Из металлической кружки.
Высокое небо, и — воздух высокий
Мутнеет от выдоха.

Заново мир себя возвращает
В хрусте-кресте
Корочки льда на октябрьских лужах

или это созвездий пыль

Богдан Бейк — родился в Екатеринбурге. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт (специальность «литературное творчество»). Работал библиотекарем, библиографом, курьером. Публиковался в журналах «Урал», «Волга», «Дети Ра».

без ветра и без птиц
без слез
боль перед небом затихает.

держи мою руку в своей
пока не закончится ночь
держи мое сердце в своем.

Роза
я искал утешения
Роза
я звал

имя — оно было птицей
ничейное имя
залог
без имени имя
я знал

Роза
я ищу твоего утешения
Роза
со мной помолчи

свет рассекает снег
снег рассекает тела
белое время течет в никуда
из ниоткуда
учит звезда — от рожденья седа —
тебя
со мной
во мне
вне меня
отпускать:
неуклюжий поцелуй на прощанье
(в уголок рта)

так одиночество сбывается:
в промежутке
от снега до снега
в ладонях — домиком
над разомкнутым сердца
биением

Я — сейчас — и все же
я когда-то трава
я тень упавшего ночью дождя
озноб на ржавых осколках листвы
некогда речь
и зрачок холодной звезды
я голос стрижка
я — сейчас — и все же
когда-то я — Ты.

Синева. Клонит в сон.
Моросит за окном.
Плачет птица в ночи.
Замер мир. Молча молчит.
Звук теряет струна,
Рвет часы слепота.
Немо слово твое: предрассветная мгла.
Но сейчас — только я.
Закурить. Синева.
Клонит в сон.
Странно: моросит за окном,
А вода на ресницах
И щиплет глаза.
(Сон пахнет дождем.)
Птицы песня горька.

Закрытые двери
Речь — всегда ожидание встречи
ожидание значит шаги в форме дождя.

Ни первых слов, ни последних: здесь снег.
Голос растаял. Место перелома открыто.

Не спим, но в полудреме ждем утра,
И памяти в крови застыл янтарь.
Здесь холод, ливень, гарь.
(Иголки ливня станут иглами ежа.)

Мы знаем век и долю, час и часть:
Твое молчание в нас себя не избывает.
Из нищих нищий мир слезой готов в ладонь упасть.
Временем камень порос — и камнем время обрастает.

кто здесь да кто
мне спать не дает
дождливой походкой
приходит тайком

лишь я это я
шелест неясный
шорох осенний
в сердце пустом

Твой взгляд приглашает видеть рану перед снегом —
Я замираю,
Я выдыхаю.

ручение рук

в неверном свете
электрический кружился снег

подъезд, температура

вполголоса молчали в темноте
на лестнице курили в темноте

Александр Ливенцов

Во всём чистом

Рассказы

День поперёк недели

Я молол кофе и нюхал, мама варила и пила, наливая в чашку через два ситечка. По утрам мама не в духе, днём мечется от дела к делу, вечером валится в кресло, смотрит телик — это время конфет, она и тут как на скамье запасных: сидит, сжимает подлокотники.

Окна нашей однушки выходили во двор, он зарос лавками, вдоль улицы пестрела череда ларьков, за ними громоздились шкафы панелек. С пятнадцатого этажа это смотрится не так убого, как с земли. Прозрачная в далекой дымке, стояла игла телебашни.

Небо заволокло — вылили ведро серой краски и так оставили. Я представил этих небесных маляров — сантехников из ЖЭКа, только размером с высотку и во всём белом. Они же протянут из-за горизонта шланг с дождём, но это только к обеду.

Мама ушла на балкон с кофе, я достал нам тарелки с ложками, сел за стол дожидаться. По утрам каша. Овсянка берегла меня от гастрита, а мама берегла себя от конфет — вручала мне пакет, чтобы спрятал и выдавал по первой просьбе. Он темнел в углу под кроватью, как руины старого города. Вечерами мама подходила ко мне, показывала два пальца, и я отсчитывал две конфеты.

Вернувшись, она посмотрела с горечью на меня, на сервировку и напомнила устало, как говорят с дураками:

— Сколько раз повторять — ты сегодня не завтракаешь. Только после гастроскопии.

Я так сильно хотел забыть о предстоящем, что почти удалось. Впрочем, не идти в школу для среды — уже роскошь. Ненавижу школу.

Запираясь в ванной, мама предупредила, что это надолго: маски, крема — всё основательно. Только зачем сегодня? Гостей не ждём, никаких встреч. Может, и от меня что-то требуется, кроме как заглотить эндоскоп? Исходный план был прост и хорош: после больницы мы идём в кафе на Арбате, а потом до вечера гуляем по городу. Повода быть при параде на будничных московских улицах я не видел.

Желудок подводил меня. В свои десять лет я привык пить таблетки по расписанию. Если выдавался месяц-другой без них — не мог отвязаться от чувства, что забыл что-то сделать. Весной случилось два приступа: весь день лежал пластом, отвлекаясь только на рвоту, и хотелось одного — не-подвижности.

Александр Ливенцов (1982) — родился в Москве. Окончил МТУСИ по специальности «программист». Публиковался в журналах «Октябрь», «Юность», «Новый Берег», «Волга», «Времена», «Нижний Новгород».

Врачи шли по диагнозам, меняли таблетки, но болезнь осела во мне крепко. Пару раз в поликлинике нам озвучили, что пора настроиться на плановое обследование — полежать две недельки, а до того сделать гастроскопию.

Больше всего я боялся загреметь в больницу, в её угрюмые коридоры с голыми крашенными стенами, с линолеумом на полу и слабой лампой под потолком, — такой больницу показывали по телевизору, настоящей я не видел. Результат сегодняшней гастроскопии как раз решал моё будущее на ближайшие недели: школа — ненавистная, но с ней я уже свыкся — или эти коридоры с тусклой лампой.

Из ванной шумел душ. Есть, как назло, захотелось сразу после запрета. Днём мама обещала меня баловать, но это сколько ждать? С мотком полотенца на голове она вышла, заварила второй кофе, потребовала конфету — я слазил в тайник. И брюки, и сапожки мама выбрала самые нарядные, подвела глаза, прошлась по губам помадой и стала совсем иной, малознакомой киноактрисой с пышным именем — Жанной, Виолеттой — таким дарят охапки роз и распахивают перед ними дверь авто.

— Мы с кем-то встречаемся? — Я завязал шнурки потуже.

— Что, хороша? — мама улыбнулась. — Нет, не встречаемся... так, для себя.

Я не удивился бы, если б она подушилась из голубого флакона с колпачком в виде бутона ландыша, который держала на особые случаи. Другой флакон — пузатый, красный — полагался для семейных застолий, не отягощённых важными гостями.

Обошлась без духов.

— Зонтик возьми, — напомнила и повязала шарф, ярко-зелёный, он украсил серую клетку пальто.

Я стоял в углу, любовался её преображением и размышлял о дужке очков с толстым чёрным заушником, которую нашёл недавно у маминой кровати. Мама очков не носила, подруги — все с тоненькими оправами. Папа носил, но с развода он тут не появлялся, об этом и речи не шло. Я спрятал находку на дно тумбочки, но стоило остаться одному — доставал, вертел в руке, как волшебное перышко.

В фойе больницы повис знакомый врачебный запах. По углам, точно шахматные ладьи, стояли кадки с пластмассовыми деревьями. Топили щедро, сухой больничный жар нагрел щёки. Казалось, подбавить градус-другой — и больница с хрустом отделятся от земли и полетит над крышами... Вечером нас с мамой покажут в новостях, будут клясть коммунальщиков, что не уследили за батареями.

Перед кабинетом собралась очередь, мы заняли в конце, сели молча, повинувшись общему молчанию. Два мальчика и девочка переглянулись со мной. Плакать негласно запрещалось. Ближе всего к слезам был один из мальчиков — с большими чёрными глазами, он уже опустил плечи и ковырял пальцем колено. Его мать сидела со сжатыми кулаками, точно держала в них вожжи, и еле слышно шептала: «Не смей».

Через час я вошёл в кабинет. Прежде чем дверь захлопнулась, я успел обернуться к маме — она сидела, стиснув губы, точно с эндоскопом шли к ней.

— На кушетку, — велела докторша. — На левый бок.

Она была молодой. Стройной, рыжей, большеглазой куколкой в узких брюках. Я еле отвёл взгляд.

— Не в первый раз уже? — спросила тихо.

Кивнул зачем-то. Глупо.

— Вот и чудно, — одобрила куколка, дописывая что-то длинное, кучеряющее, с трудом вместившееся на бланке.

Медсестра натирала кишку марлей. Остро пахло чем-то едким — ни дома, ни в школе я таких запахов не встречал. Работала медсестра лениво, но в руках ощущалась большая сила.

— Готово, Ольга Вадимовна, — она подступила к кушетке и протяжно зевнула. Ольга Вадимовна покончила с писаниной, натянула перчатки и со вздохом села передо мной. Все они тут скучали, а у меня от страха замёрзли пальцы.

Докторша была красавица, и я снова пялился на неё. В средние века таких жгли на кострах, такой красоты боялись. И мне стало ещё страшнее. Взяв конец эндоскопа, Ольга Вадимовна склонилась надо мной со словами:

— Открывай рот. Больно не будет.

Пуговица на её груди еле держалась. Пуговица с двумя дырочками и кантиком, по халату от неё натянулись складки.

Обманула. Несколько минут я корчился на кушетке, как напуганный моллюск, а теперь и горло болело — кишка его оцарапала.

Обманула Ольга Вадимовна. Но я до последнего любовался ей и против воли думал, что она красивее мамы, которая потратила на себя всё утро и сегодня была чудо как хороша. А этой докторше только с подушки встать — и она уже куколка. О справедливости говорят или идиоты, или слепые.

Дважды в красках я описал маме всю пытку, отметил боль в горле и признался, что докторша симпатичная, а это неправильно — они должны быть в возрасте, в очках с приличной диоптрией и с тёплыми руками. Мама посмеялась, даже прижала ладонь ко рту, но вскоре Ольга Вадимовна пригласила её забрать заключение. Выйдя из кабинета, мама кивнула и прибавила:

— Ей бы в кино сниматься.

Поднялись к гастроэнтерологу. Эта была врача-ха что надо: в возрасте, морщинистая, как чернослив, и с диоптриями в роговой оправе. Звали её Тамара Игнатьевна. Она одновременно слушала маму, читала заключение Ольги Вадимовны и отмечала что-то шёпотом. Ощупала мою шею, заглянула под веки и сказала внушительное докторское: «Ну да, ну да». Я смотрел на неё и видел больничный коридор, линолеум, слабую, моргающую лампу. Где-то на столе в какой-то кипе бумажек лежали билеты в больницу, и Тамара Игнатьевна отпускала их, как в окне вокзальной кассы, только бесплатно.

— Тут больно? А тут?

Промяла живот, оглядела язык, выслушала от мамы насчёт моего «тепла» в животе и недавних приступов. Перегиб желчного она отгадала прежде, чем добралась до УЗИ. Дисбактериоз и бесконечные ОРВИ — прежде, чем заглянула в карту.

— Тут что? Какашки... так-так... — пошли анализы.

Слушая её, я уже брёл по больничному коридору, босой почему-то, ноги липли к линолеуму.

— Весь он у вас вегето-сосудистый, — Тамара Игнатьевна доглядела последний лист, уложила руку на всю пачку, побарабанила пальцами. — Одевайся. Так, мама, слушайте.

Я натянул майку до половины и замер, увидел их обеих в просвете воротника — тёмные силуэты на фоне сияющего окна. Медленно я полз в глубь майки, как в волшебную трубу, навстречу новой жизни, полной эндоскопов и липкого линолеума. Я не дышал, я превратился в слух, и я не верил ушам — Тамара Игнатьевна сомневалась насчёт больницы.

Ангел во плоти. Одевшись, я сел на стул против неё, весь обмяк и опустил взгляд к её ногам — к стоптанным бабушкиным сандалиям. Не грех их было поцеловать.

Беседа вышла короткой. Тамара Игнатьевна подрихтовала набор таблеток, продлила травки, прибавила общих наставлений вроде физкультуры и поменьше нервов. После внушительно посмотрела в мою сторону:

— Может, там и найдут что-то — врачи в Русаковской толковые, но думаю — это лишнее.

Снова я поглядел на её сандалии. Нет, не стоит, не поймут.

В фойе уже набежало народу, близился час посещений. Многие дети сидели, положив руку, а то и обе на соседние стулья — держали места для родителей. Я поглядел на такого мальчика, и жар страха лизнул спину — господи, пронесло.

Мама достала термос с травами. Я выпил половину, морщась от боли в горле. Погода портилась, но на погоду было плевать, хоть бы молния била и валил чёрный снег — день оказался лучше многих, шлифованных солнцем с утра до ночи. Вся эта среда теперь была наша.

И у мамы не болела голова. Если бы подло, как всегда, из-за угла нового утра накатила мигрень — грош цена была бы этому празднику. Одно лицо мамино, посеревшее, точно боль вымывала из него все краски, — одно её лицо отменило бы этот день. Но мигрень прошла мимо, и я благодарил неизвестного божка, ответственного распределять меж людьми головную боль. Обычно тебя проклинают, а сегодня я посылаю мысленный поцелуй твоим копытам.

Только мама отчего-то не просветлела, чего-то ей не хватало для радости.

Доехали до Арбата. В кафе обслуживали всех, кто с детьми, — предъявляешь отпрыска и встаёшь в очередь за булкой с корицей. Мы взяли три — две мне, одну маме и два эклера в придачу. Внутри решили не сидеть, вышли, огляделись, вышли дворами на Калининский, и тут полил дождь.

— Чтоб тебя! Невезуха, всю жизнь невезуха, — сетовала мама, прячась под козырёк магазина. Я выставил руку, смочил дождём и обтер лицо. Дождевая вода отличается чем-то от той, что из крана.

Кусок за куском я заглатывал булку, терпел боль в горле и думал, что в больнице сейчас, наверное, обед. Сидят локтем к локтю, жуют. Что там на подносах — пюре, варёная рыба? Господи, пронесло.

Под тем же козырьком к стеклу прислонился мужик — заглядывался на маму, подошёл бы, если б не я, курил и сдувал пепел, поднося уголёк сигареты к губам. Иногда табачная вонь долетала до нас, и я ждал, что терпение мамы кончится — она запросто запрещала всё и всем, а не только мне, но вместо этого вздохнула глубоко и призналась:

— Все пять лет в институте курила. Бегали стреляли друг у дружки.

Сперва я проглотил эту новость, а уж после — остатки булки. Смотрел на маму, пытался представить её с сигаретой. Она отвела взгляд и проверила время. Куда мы могли опоздать? Часики её мигнули овальным бликом и скрылись под рукавом пальто.

На минуту дождь побелел, точно разом спустили три тюля. Мутные воды разлились по проспекту, машины гнали волну. Как-то в вечерних новостях дали выпуск о пацанах, которые с тряпками и тазами кидались тут, посереди Калининского, на легковушки и имели свой рубль. Я помножил лучшую цифру их дневной выручки на тридцать календарных дней и сообщил маме, чтобы готовила тряпки с тазом. Она не отговаривала. Всю ближайшую субботу, снаряжённые, как майдодыры, мы провели на Новом Арбате и так и не осмелились подойти ни к одной машине. Дома я разобрал сумку и понял: мама не взяла моющих средств — самых тяжёлых и неудобных, — она уже тогда знала, что я не буду мыть никакие машины.

Дождь утих, перекинул через проспект тусклую радугу, развесил тучи.

— Удивительно, что башка не болит, — мама щурилась в небо. — Лежала бы сейчас пластом. Просто чудо.

— Мы бы в тебя кофе влили.

— Он на час спасает. Очень короткий час.

Пройдя Калининский, мы двинулись через город дальше. Отмытый, он казался чище, лужи дырявили асфальт. А было бы солнце, — висело бы в

зените, слепило, пекло. Знай я, что меня упекут в больницу, я бы это солнце возненавидел.

Когда в городской застройке показался бесконечно широкий дом с клеткой окон вроде тетрадного листа по математике, я сразу понял — это больница. Минутой позже миновали проходную — ну, точно, городская клиническая номер такой-то. Перекреститься и бежать. Мама уловила во мне перемену и вдруг сама поменялась в лице, словно давно и сильно была недовольна мной. Отвернулась. Опять проверила время.

— Что ты на часы смотришь? — я не выдержал.

— Просто привычка.

Слабая ложь, пустая, без выдумки. Мне за такую влетало. Уж если врешь, — постарайся, законопать дыры, подсвети фасад.

Что-то происходило с мамой, и я не понимал что... А мы шли, шли и в какой-то момент потерялись, брели наугад, как в компьютерных играх, когда впервые осваиваешь незнакомую карту, — там это называлось слепой зоной или туманом войны. Мама выслушала, кивнула, и мы снова шагали молча. Наверно, нам обоим нравилось идти по незнакомым улицам. Через час забрели в городской парк, опять хлынул дождь. Зонтов достать не успели, вбежали под дуб, отряхнулись, умылись оба. Опять мама поила меня травками — остывшими, горькими.

— Настоялись за день, — она понюхала из термоса, пригубила, зажмурилась.

Горло почти не болело.

За забором парка катили поливальные машины — клали вбок толстые белые струи, слабо различимые в пелене дождя. Громыхнуло и покатилось меж туч. Деревья распухли в дымке и громоздились великанами. Мама стояла зачарованная, ещё красивее, чем утром, непогода нашептала ей такой меланхолии, что казалось, этим вечером история человечества, пожалуй, кончится — всё сказано.

Наконец я справился со своим питьём и небо пороняло все капли. Пройдя парк, мы вышли к аттракционам. Работало одно колесо обозрения. Снова очередь. Пока вытирали намокшие сиденья, кабина поднялась на высоту, где туман рассеялся. Редкие дома выступали над мягкой мглой и вязли в собственной тени. Ещё минута, и в верхней точке колеса кабина зависла, как в невесомости. Всё замерло — ветер, птицы и наши с мамой маленькие сердца.

После мама расщедрилась: взяла две непростительно дорогих порции шашлыка на бумажных тарелках. Это было из ряда вон. Я жевал и поглядывал на маму — уж слишком она меня баловала за эту несчастную гастроскопию, за страх перед больницей, который не оправдался, как большинство страхов. А мама подвигала ко мне лучшие куски и сверялась с часами — опять.

Сытые, умявшие за раз столько мяса — и такого вкусного! — мы вышли в ворота парка, и город надвинулся, будто того и ждал. Мы ели мясо, а город — нас, вот спустимся по улице, станет переваривать — шуметь дорогами, мигать огнями — это его ферменты.

Как же я удивился, когда на перекрёстке мама прошла мимо зебры, хоть горел зелёный, и направилась к церкви. Блестящие, намытые дождём купола возвышались над кронами парковых деревьев. Минутой позже мы отворили высокую тугую дверь.

— Что нам тут... — начал было я и замолчал под сердитым взором пропавщицы свечей. Пахло копотью, звуки тонули в гулком эхе.

Мама купила свечу и обернулась ко мне с прижатым к губам пальцем.

Ладно. Помолчим.

Икону, что она выбрала, я бы и не заметил — в углу, в потёмках, лишь бледные остывшие огарки заселили подставку. Отколупав один такой посередине, мама зажгла свечку, подсмоляла снизу, втиснула в дырочку и свела ладони.

Ещё раз я промотал в уме речь Тамары Игнатьевны и не нашёл опасностей, с которыми следовало идти прямо к богу. Гастродуоденит, ВСД, перегиб желчного — всё это старые слова в нашей практике, и заключение гастроскопии ничего не прибавило. Тихонько я подступил к маме и в слабом, дрожащем свете прочёл по краю иконы: «Святой Пётр... Святая Феврония...»

«Ну и имечко...» — качнулось в мыслях.

Минут десять мама стояла, последние пять — с закрытыми глазами, лоб касался сведённых пальцев, губы еле заметно двигались, но сколько я ни вслушивался — слова не разобрал. Вдобавок откуда-то сверху, хоть над нами не было ни второго этажа, ни балкона, а только чистый белый свод, полилось пение, такое же чистое, белое. Ничего, кроме него, я уже не слышал — таял в нём, плечи набухли тяжестью. В эти десять минут я устал больше, чем весь день ходить под дождём, и, как только вышли на улицу, спросил:

— О чём ты молила, мам?

— Тебе не надо знать.

— А что за Пётр и Феврония?

— От бабушки повелось. Ничего для тебя интересного.

Она спустила шарф, который в церкви накинула на голову, сняла нитку с плеча, минуту тёрла платком сапоги, а затем снова взглянула на часы.

Другую сторону дороги обжили высотки; на углу ближней, как гриб у дерева, росла телефонная будка. Оказалось, мы идём к ней. В закрытую, как эта, я всегда залезал вместе с мамой, было тесно и уютно. Но сегодня она меня не пустила — захлопнула дверь и молча подняла ладонь, запрещая вопросы.

Ладно. Подождём.

Я насупился, помялся, с укором посмотрел на маму и тут совсем остыл — бенел. Прежде чем звонить, она раскрыла сумочку, достала флакон духов — голубой, с колпачком в виде бутона ландыша — и дважды пшикнула на себя. Одна... в телефонной будке... После, расправив плечи и подняв подбородок, мама опустила монету. Аппарат глотал её, чавкал железным нутром, пока мама набирала номер. Говорила она недолго, положив руку на край телефона, как на чьё-то плечо, и поглаживая его пальцем.

— Кому ты звонила?

— На работу.

Ложь, уже привычная в этот прекрасный день. Вот как выглядит лицо человека, который врёт и знает, что не накажут, — спокойное, уверенное лицо. Секунду мама смотрела на меня и, прежде чем отвести взгляд, дала понять без слов: «Не твоё дело».

Сладко пахли её духи.

Последнюю очередь на сегодня мы отстояли за конфетами — маме так захотелось, а мой тайник был так далеко. Взяли триста грамм «Кара-Кума». Пару мама съела сразу у дверей магазина, третью развернула дрожащими пальцами и выронила.

— Дома спрячу их, — напомнил под грохот трамвая.

— Да-да, прячь, — она смяла фантик, кивнула, и по её голосу я ясно понял, что мама знает, где тайник, и всегда знала.

Пройдя магазин, она свернула во дворы. Я следом. Тут росли тополя — ох и натерпелись от них местные, представляю эти сугробы пуха в июне. День убывал. Детская площадка опустела, с углов её обрамляли вкопанные в землю раскрашенные шины, урна пухла от пивных бутылок.

Я сел на качели. Мама покосилась в сторону лавки с урной и осталась стоять. Опять полезла за конфетой, проглотила, не разжевав толком, скомкала фантик и промазала мимо урны. Тихо, сквозь зубы, выругалась, обхва-

тила руками плечи, будто замёрзла, — сдавила их, пальцы побелели. Давно я не видел её такой разбитой. Как? Когда это случилось? Сейчас или с утра тлело?

Нет, не мерещилось мне. Весь день она была сама не своя, а сейчас искала слова, с которых начать:

— Слушай...

Я сжал цепи качелей.

— ...тебе всё же надо лечь в больницу...

В просвете домов, грохоча железом, прокатился трамвай, целиком раскрашенный рекламой «Сникерса». С проводов сыпались искры.

— ...Целиком нужно обследоваться... а то не вылезешь из этих поликлиник...

От церкви вслед трамваю летел колокольный звон — ленивый, словно я слышал его сквозь подушку.

— ...Рано или поздно придётся лечь. Лучше сейчас, чем с язвой. Папа твой всю жизнь на кашах. Ты этого хочешь?

Утихли колокола.

— ...Она ж ничего нового не сказала толком и не назначила. Ничегошеньки.

— Она сказала, что меня можно не класть! Несколько раз сказала!

За тополями ожили фонари. Пахло мамиными духами. Она прислонилась к опоре качелей и чертила носком сапога круг на земле.

— Не лягу туда!

Я встал с качелей. Заходил кругами, точно она заколдовала меня своим сапогом.

Снова сел. Как подкосило.

— Не лягу! Не лягу туда!

Круг на земле рос и уходил вглубь.

— Она же сказала — не надо.

У ближней машины — пустой и заглушенной — работали дворники. Так не бывает, но они елозили по лобовому, скрипели.

— Не лягу, и всё, — буркнул себе под нос и подогнул ноги, чтобы не касаться земли. В небе просветлело, но даже солнце, последнее на сегодня,казалось лишним. Я сощурился на него и подумал: «Уйди, гадина».

Мама зачеркнула круг на земле. Без удовольствия она жевала очередную конфету, а после долго отмывала языком зубы, прежде чем заговорить.

— Это ещё не всё, — и она взялась чертить новый круг на руинах старого. — Ты, пожалуйста, прими, как есть... я тоже живой человек... вряд ли поймёшь, но всё же... в общем... (Загорелся фонарь у площадки.) Я встретила мужчину...

Пивные бутылки заиграли жёлтыми бликами.

— ...я вас познакомлю...

Тополя шелестели, повеяло духами... колпачок в форме бутона ландыша...

— ...после твоей больницы... Артур, его зовут Артур, он хороший человек...

Мама сунула руки в карманы пальто, опустила плечи, потухла вся и не знала, что свет фонаря опалил огнём её волосы.

— Да пофиг, как его зовут! Это с ним ты говорила по телефону? Он носит очки, да? Я знаю, он носит очки! Я буду вам мешать эти две недели. Это с ним ты говорили по телефону! — выпалил на одном дыхании.

Дворники отсчитывали секунды.

— Возьми себя в руки! Да, с ним. Он хороший человек. Умный, порядочный. Папа тоже кого-то себе найдёт. И при чём тут очки?

— Может, я к папе и перееду на две недели? Давай я поеду к папе?!

— И как мы ему объясним?

— Скажем, ремонт.

— Когда дойдёт до ремонта, ты будешь делать его вместе со мной.

Я взял конфету, помял и сунул назад в кулёк. Горло уже не болело. Больничные коридоры вставали перед глазами и оседали мутно, как речной ил, лампа под потолком палаты мигала слабо, жёлтая, как фонарь детской площадки. Скрипели дворники, бедные, — всю ночь им мотаться туда-сюда... интересно, можно протереть дыру в стекле?

— Надо тебя постричь, — мама провела рукой по моей шевелюре, зарылась в неё лицом, вдохнула. — Сходим в субботу перед больницей.

Во всём чистом

Первым с югов, из солнечной сырой деревни, приезжал дед — на неделю в конце мая. Потом бабушка. По этому поводу мама затеяла на кухне перестановку. Я ленился и накликал скандал, весь час, пока ворочал шкафы, мы ругались. К ночи удалось заполнить пустой угол, а у окна втиснуть новое кресло — маленькая победа, когда живёшь в однушке.

Утром, прежде чем ехать на вокзал за дедом, мама обыскалась своего тапка:

— Ноги у него, что ли, выросли?

А я смотрел на дверцу шкафа, где серебрилась мишуря: с января не убрали. Нравились мне эти новогодние искры, навевали мысли о заснеженной деревне, хоть я напрочь забыл её, морозную. Ребёнком провёл там январь, но деревенскую зиму из памяти вымело, осталось одно лето — жаркое, жирное. Если душа просит, я закрываю глаза и вижу его с порога нашего деревенского дома через тюль — он всегда спущен, чтоб не летели мухи. А зимой, мама уверяла, снег заваливал входную дверь наполовину и выше. И что тогда? Траншеи копать?

На перроне мы углядели деда издали: в кепке, румянный, ноги колесом, будто полжизни провёл в седле. Обнялись. Ещё больше он раскраснелся, пустил слезу, с боем я отобрал у него чемодан, мама взяла сумки. Пока шли вдоль поезда, дед любовался сводом купола: тусклое стекло скрыло небо, но свет сочился — особый, вокзальный, с запахом мазута. Эхо громкоговорителя летало над поездами. На выходе продавали чебуреки, пахло жареным маслом, мама уверяла, что его днями не меняют, и называла машинным. Вдохнув, дед сбавил шаг и встал в конец очереди.

В селе работа по хозяйству удручала деда. Каждое утро бабушка уговарами поднимала его на ноги и каждый вечер с боями загоняла в дом. Охотно он ходил лишь на работу в клуб, преображался — намытый, одетый с иголочки. Пройдёт мимо лавки у входа, снимет кепку, улыбнётся знакомым лицам. Деда любили. Киномехаников всегда любят.

Фото его не сходило с доски почёта, но это скорее про закрытый вовремя план — про конкретную сумму, сданную по итогу месяца в районную кассу. И дед делал эту сумму с горкой. Бобины привозил рейсовый автобус. По износу плёнки уже было ясно — хорошее кино или так, и деду наперёд везли лучшее. Все рейсовые водители были у него в приятелях, и всем он доплачивал — особенно за индийские фильмы. Если утром «Индия» попадала деду в руки, — вечером клуб был битком.

Бабушку удалось оформить кассиром, для мамы в первом ряду всегда держали место. «Белые люди» — как-то услышала она в спину, пока простиравшаясь к своему стулу, и постеснялась обернуться. Бабушка успокоила: «Пусть завидуют».

После уроков, покормив птицу и прополоскав грядки, мама училась клеить плёнку и выводить завитки на буквах афиш. Бабушка белила в кинорубке стены. И всё было хорошо, пока дед не стал попивать. Началось и покати-

лось под уклон с тех пор, как Толик — родной мамин брат — на два года угодил в тюрьму. Ему было шестнадцать, провожали друга в армию. Бабушка чуяла в тот день неладное — хотела удержать сына дома и не смогла. Ушёл. Выпили, подрались и сверх того с дружком отняли у побитого рубль сорок. Эта мятая жёлтая бумажка и пара монет — решили судьбу Толика.

Знакомый участковый успокоил: за такое сажать — тюрем не хватит. Но суд учинили прямиком в сельском клубе, где вечерами дед крутил кино: вход бесплатный, зритель прикомлен. Когда об этом стало известно, дед и бабушка поняли — суд будет показательный. Из райцентра прибыли партийный работник и профсоюзный. В защиту выступала школьная завуч. Документы обвинения лежали на столе, крытом скатертью, — в том числе и бумага о «неблагополучной семье»... нашлась и такая — интриг в деревне хватало.

Из клуба Толика увезли на два года, чего не ждали даже с учётом показательного суда. После он рассказывал, что по пути в колонию их всех — обретых, «неблагополучных» — кормили селёдкой и не давали пить; кажется, такое уже было в нашей истории.

Дед запросто мог хлебнуть спирта, чем приводил бабушку в ужас. Когда к концу лета дед гнал самогон, бабушка ходила вокруг тучей, а я с восторгом наблюдал, как чистая пахучая слеза капает сквозь марлю и как над ложечкой качается синее пламя.

Самогон был излишком — побочным продуктом, необязательным. На каждом огороде тянулась полоса виноградника. Иные сорта покрывали живым куполом двор от калитки до дома — это ещё пара соток. Вина в погребах набиралось до трёх тонн — смотря какой год да по умению выхаживать урожай. И вопреки этому в любой деревенский магазин исправно везли дешёвый портвейн и водку.

В таких магазинах дед и отоваривался и нёс свои пол-литра в кинорубку. Дома лишь под крики бабушки ему доставался стаканчик, ключ от погреба она носила в кармане. А стоило ему принять лишнего, и бабушка наказывала деда, не выходила работать в клуб на кассу.

Зимой в один из таких вечеров, наказанный, он провёл сеанс и, наверное, добавил с тоски — разомлел, а по пути домой поскользнулся, сполз в канаву, барабатился, как жук на спине, не мог встать. Луна глядела на деда белым глазом. Чутьё заставило бабушку одеться, пойти навстречу — когда нашла, он уже хрюпал; обмёрз, нажил радикулит.

При этом пьянство деда видели только родные. Стоило кому в деревне узнать, что он попивает, — искренне удивлялись.

В нашей городской ванной дед провёл не меньше часа. Мама достала капусту, которую сквасила к его приезду, разложила по тарелкам тушёное мясо. Дед украсил стол бутылью розового вина, достал сало в тряпочке и банку солений — запахло чесноком, лавровым листом, укропом.

В этой первой, самой тёплой беседе мама хотела сманить деда переехать в город, а после вместе с ним уговорить и бабушку. Лечить их тут и приглядывать было бы куда проще — одна дорога в деревню отнимала двое суток. Пару попыток мама уже делала, вызывала огонь на себя. Само предложение переехать было обидным, да вдобавок: «А если не приживёмся?» — этот козырь бабушки мама ничем не могла покрыть. И сегодня разговор с дедом не заладился, удоочки мама закинула, а клевать не клевало, не откликался дед. «Потом, Лариса, потом», — и рукой провернёт, будто крутит ручку проектора.

За чаем выяснилось, что пропало ситечко. Утром я его видел на носике чайника — блестело под солнцем, как мишурка на углу шкафа. Теперь блестел только носик чайника. Все ящики мама облизала и разверла руками:

— Утром тапок, теперь ситечко... У нас домовой завёлся?

Деда разморило, полбутылки розоватого света как не было. Пока уговорил остатки, растрогался, плакал, стирая слёзы ребром ладони. Я сосал шкурку от сала и в сотый раз слушал, как повесился мой прадед — на армейском ремне под крышей чердака, меж сохнущих кроличьих шкур. Всю войну прошёл в пехоте, был ранен в лицо и с трудом говорил новыми священными словами, какие никто не понимал толком. Пуля прошла навылет, попортила челюсть и скулу, но оставила живым, чтобы он сам всё докончил.

Походы по магазинам деда не прельщали. Ассортимент колбас и сыров наводил скуку, винно-водочные богатства тоже не вдохновляли. Всякий раз дед спешил набить поскорее сумку — и вон на улицу. Ни разу, сколько был у нас, он не захотел в кино, только афишами любовался. Встал как-то у плаката, провёл рукой, ловя шероховатости, — остался недоволен шрифтом.

Дед оживал вблизи остановок, где в ряд громоздились рейсовые «Икарусы». У последнего обычно курили водители. Дед снимал кепку, сворачивал, как газету, подходил не спеша. Его дичились — незнакомого, косолапого, краснолицего, точно уже принял, но дед знал волшебные слова — минута-другая, и он становился своим.

Дома в отсутствие мамы он сеял беду. Как-то выбило пробки, дед отправился к щитку и оставил без света этаж. Соседи вывалились из квартир, возмущались, он оробел, вернулся в квартиру и плакал. Когда чинил мне велосипед, — порезался, кое-как остановили кровь, утаили от мамы, дезинфицирующее дед принял внутрь. К концу недели забарахлила антenna, дед закатал рукава и доломал телевизор окончательно. Как раз подоспели мои мультики, и я обругал деда, опять довёл до слёз. Не забуду этого и не прощу себе никогда — из-за поганых мультиков, — а дед растирал по лицу слёзы, ковырялся в недрах ящика и уверял:

— Сейчас, Саня, сейчас...

Руки у него были в мозолях, обветренные, не отёсаные как будто, словно взяли худенькую городскую руку, надули изнутри, запекли и после долго возили в пыли, били по ней, топтали. Пройдёт не так много лет, дед умрёт, и в ночь, когда мама узнает об этом, ей приснятся его руки — большие, неловкие, с какими-то длинными гвоздями, что-то он будет мастерить.

Перед отъездом дед просил в дорогу чтива — «военного про любовь». Мама полезла на полки и добыла «По ком звонит колокол». Напоследок дед мылся дольше, чем по приезде, точно впрок. Когда вышел в одних трусах и в пару, я стал расспрашивать о зимней деревне.

— Ты же был у нас в Новый год. Не помнишь? — дед изумился притворно, языком цокал. — Автобусы зимой еле ходят. Заметёт трассу — неделю стоит. Провода обледенеют, рвутся, столбы все голые. Метёт — рожа в снегу, наелся, напился... песня, — с редким удовольствием дед нагонял зимнего страха. Если бы в декабре мертвцы из могил поднимались, он охотно рассказал бы о них. — Хуже зимы — март, грязь — ногу не вынуть. Мама твоя десять лет в кирзовых сапогах в школу ходила — очень ей нравилось. Придёт — без сил падает.

В этот последний вечер мама снова склоняла деда к переезду — не в город, так поблизости. Мягко начала, избегая упоминать их вчерашнюю поездку в пригородный совхоз, где и участки были, и работа. Прямо с директором удалось встретиться, дали рекомендацию, и первым делом коренастый, лысоватый, как мама его окрестила, «хозяйственник» узнал у деда, кем тот записан по трудовой, — услышал, что киномехаником, хмыкнул и щёлкнул по горлу пальцем. Всю обратную дорогу дед фыркал, а мама кусала губы — только хуже сделала. Теперь за ужином она издали тронула больную тему, но дед уловил, откуда ветер, и покривился:

— Хватит, Лариса. Съездили, поговорили.

Еду в поезд мама обернула фольгой: курица, яйца, помидоры с зеленью — три бугристых космических тела тускло сияли на подоконнике. Всю прихожую заставили сумками, опять дед уезжал, как челнок с товаром. Опять будет вокзальная спешка и запах мазута — запах дороги и перемен, которых не случится.

Посидели пару секунд на дорожку. Всегда в эти секунды я сомневался: кого мы обманываем, сидеть надо дольше; если какой-то божок в этот миг и решает, отщипнуть удачи в дорогу или нет, так он видит, что мы халтурим.

Дом без деда показался тихим, точно дед шумел целыми днями. Потом я понял, что мы с мамой ходим и молчим, обедаем молча и без слов собираемся. Кое-как телевизор разогнал тишину по углам, мама наделала мне бутербродов в школу и вдруг не нашла фольги.

— Весь рулон... Куда? Куда, я спрашиваю? — С грохотом она задвинула ящик, замерла, волосы свисли, как листва по осени, та же увядшая охра. — Может, в сумку ему сунула?

Ближе к ночи она съела пару конфет, подобрела, и я спросил, почему бабушка приедет только через неделю, отдельно от деда, — он и так спал на кухне, обоих бы там и уложили, побыли бы тут вдвоём, лучше, чем мотаться в одиночку.

— Потому что дядя Толя без них продаёт всё, что можно продать в доме.

— Зачем?

— Господи, ты же не такой маленький. Пьёт он. Несчастный, больной человек. И они с ним несчастны.

Полночи я ворочался — только придавит лапа сна, как с кухни шорохи: шуршит что-то, чавкает. Лежу, натянув одеяло на уши. И снова там шныряет, копошится. Может, с улицы? Поди разбери. Но кажется, будто оно уселось в угол и пальцем — если у домовых есть пальцы — ковыряет, мнёт что-то... хрустит, ей-богу, фольга хрустит. Утром мама проснулась со спущенным до колен одеялом, точно кто подштил над ней. Продрогла. Лето ещё не согрело Москву, сквозняк гулял по квартире такой колючий, что мы ходили в свитерах и спали в майках.

Когда за завтраком мама сказала, что никак не доберётся до кадровиков, чтобы застолбить отпуск, я предложил:

— Возьми зимой. Поедем к ним на праздники.

— О боженьки! Там снега по пояс, во двор не выйти, дверь за ночь завалит, сидишь, как в подвале. Пар изо рта, пока печь не протопишь.

Как-то у бабушки захврала одна из свиней, стала угасать. Пригляделись и нашли у бедняги дырочку в горле — то есть приговор. Пока дед приводил его в исполнение, бабушка увела меня со двора на уличную лавку и длинно, в лицах и голосах, рассказала историю их знакомства с дедом. Половину придумала, кому нужна достоверность? — в каждом дворе ржавеют её залижи.

Молодой ещё, накануне армии, дед наведался к тётке прочесть письмо от родни. Стоит, читает — солнце высветило лист. Заходит бабушка — снимала у тётки комнату. Дед поднимает глаза от строки, видит Екатерину Васильевну — будущую свою единственную жену — и роняет письмо... оно летит, кувыркается в воздухе... детский смех со двора...

Бабушку встречали рано утром. Восьми не было, как мы явились на вокзал. Хмурая, не проснувшись толком, мама стояла в очереди за чебуреками. Я караулил нужную строку на табло и ощупывал языком нёбо — обжёгся, пока осваивал фокус с глотанием горящей спички. Теперь тосковал: чебурек

будет горячий, ждать, пока он остынет, я не умею, а значит — жевать через боль... чебурек, который я так любил запретной любовью.

С бабушкой мы не виделись два года. На перрон она спустилась маленькая, кругленькая, как Винни-Пух — наш, советский, «куда идём мы с Пятачком», — а по прежним временам бабушка помнилась высокой, могучей. Почему деда не постигла та же метаморфоза?

Обнялись: улыбки, слёзы. Разобрали сумки и двинулись по перрону. Проходя мимо чебуреков, бабушка принюхалась, сказала, что это есть нельзя. Мама кивнула и глянула на меня для контроля. Язык и нёбо после чебуречного масла горели с новой силой.

У эскалатора бабушка жалась к поручню, тот скользил под рукой, тянул вперёд, и она причитала тихо:

— Сучий город... господи, спаси...

Дома села на стул в прихожей, стянула платок, обтёрла шею. Такой же измотанной она приходила с сельского поля — в поту, в репейниках, садилась на дворе и долго пила из ковшика. Я принёс воды, хоть она не просила, — бабушка поставила стакан на колено и провела рукой по мишуре на шкафу — серебро заискрилось, задрожало.

— Звенит будто.

Прислушались. Вечно она меня разыгрывала, с детства я обязан был уметь отличить шутку от обычного слова.

— К концу недели горячую отключат, — напомнила мама и понесла первые сумки на кухню. Объявление уже висело в подъезде.

— С тазами будем, как у нас, — бабушка подмигнула, заулыбалась, три верхних зуба блестели золотом.

В школе бабушка училась два года, читать умела, а писала одним предложением на страницу, без запятых и точек, как гении модернизма.

С детства она помнила голод и бедность. Мама её, прежде чем уйти в поле, глотала ложку соли, чтобы жаждой заглушить голод. Как-то поймали с зерном в фартуке — закон о трёх колосках брал дань по стране, но в тот раз повезло — в ячейке правосудия была родня, и удалось откупиться. Отец бабушки ослеп юношей — грузил мешки и надорвался. Умер в послевоенный голод, а в войну ловил птиц — силки для них стояли на огороде вместо пугал.

Бабушка была хитрее и смелее деда. Когда первый раз навестили в колонии Толика, дежурный отказал в передаче. Дед — в слёзы, а бабушка сунула передачу второй раз и приложила мятых рублей — помогло. Когда зимой маму, ещё школьницу, упекли в больницу с температурой и не отдали на Новый год из-за повального гриппа, бабушка ночью пригнала повозку с лестницей, влезла в окно и выкрадала дочь.

Склонить к переезду в город бабушку было куда сложнее, но если выгорит — с дедом проблем не будет. Разговор этот в шутку мама повела сразу, как сели за стол, и сразу стало ясно, что зря — бабушка уже наслушалась от деда о плешивом «хозяйственнике» из подмосковного совхоза. Сменили тему.

Мама встала к плите и обнаружила, что пропали спички — коробок, с которым я упражнялся утром. Точно помню, как от злости хотел смять его, так болели язык и нёбо, но кинул в блюдце у плиты. Теперь в нём было пусто.

— То домовой, — заверила бабушка, узнав о череде пропаж. — Освятить надо дом. Умер кто, наверх не взяли, вот и маётся. Раньше от их прок был — от домовых, теперь шерсть с говном. Пожар, воры, помирать кому — всё наперёд знал. Теперь тянет, что плохо лежит, как дитё малое. Освятить надо. Он вам на шею сядет. Их тут держать надо, — бабушка потрясла кулаком. — Никакого спасу от них, когда страху не знают.

— Ба, ты правда шаровую молнию видела?

Сколько раз я слышал об этом от мамы, но хотелось из первых уст.

— Видела. Как ты, была. Дома на кровати лежу, жара — не продохнуть. Окно настежь. Она в него и влетела — белая, гудит.... Я думала, всё — приберёт господь. Лежу не шелохнусь. Круг по комнате сделала, искала кого-то, — и назад в окно. Не нашла.

— И всё? — Я скрестил на груди руки.

— Тебе мало? Баба жива осталась. Мало тебе?

Она достала из банки солёную морковку, любимое моё лакомство, пропянула мне.

— Не балуй его. Он себя не забудет, — мама спрятала засолы в холодильник.

— Что так?

— Учится из-под палки, врёт, играет целыми днями.

— И ты играла. В утят. Помню, я пока до Маруси ходила, ты больничку на кухне спротивила, лечишь их — пипетки, ватки, шапку белую надела — вроде докторши. Переморила всех. Лежали потом дохлые. Дед вернулся, еле угомонила его — орал, аж стены дрожали. Не помнишь?

Мама пожала плечами.

— А что он врёт, так не святые в сам деле, — сгладила бабушка. — То пройдёт. Я тебе запрещала на ночь читать, а как вернусь с лавки, — фитилём пахнет, то ты лампу вот-вот задула. Было, да?

Редко я видел у мамы такие глаза, может, и вовсе впервые, словно проглянула в её лице озорная девочка.

Остаток дня провели дома: бабушка держала нас при себе разговорами. Когда вещи разобрали и все сплетни распробовали, она надолго застыла с чашкой чая у двери балкона — этаж наш, пятнадцатый, манил её и пугал, так и не вышла наружу, не хватило духу.

По магазинам мы шли с большим списком — деревенские вечера бабушки коротала на лавке у двора и всегда в компании. К концу недели в прихожей стояли две полные клетчатые сумки.

Красная площадь, мавзолей, Патриаршие и парк Горького оставили бабушку равнодушной. Рядом с ней и я заскучал, глядя на бронзу и торжество архитектуры. Заставшее время не впечатляло. И вот оно потекло... как раз повернули с Тверской во дворы, когда оттуда хлынули кришнайты: хлопают, приплясывают — в белом, в оранжевом, босиком, с зонтами, с бубнами.

Проводили их взглядом, и бабушка подивилась:

— Во дурные.

Готов поклясться, на её лавке они затмят гранит и бронзу столичных улиц.

Неизменным для бабушки был вечерний обряд: мытьё и сериал по цветному городскому телевизору, точно смотреть его полагалось хорошо отмытой и во всём чистом. Мытьё последнего дня растянулось — ЖЭК, как обещал, отключил тёплую воду. Ох лето, маета с кастрюлями и тазами.

Пока они с мамой намывались, я ушёл к себе, думал взяться за домашку, но включил настольную лампу и закинул ноги на стол. Лампа мигала, точно напуганная, — пришлое выкрутить лампочку и вкрутить назад. Тень от плафона легла через стену. Собственно, уроки можно было не делать, хоть в прежние годы казалось, что надо, — девяностые упразднили и эту обязанность.

За ужином мама вспомнила, что подписала отпуск на август.

— Мало две недели, мало, — вздыхала бабушка. — Приедешь — уже назад надо.

— Переезжайте, будет год вместо недели. Рано или поздно я найду кого-то... а может, уже нашла! Замуж выйду, ребёнка заведу — ещё реже ездить буду. Это ты понимаешь?

— Чё реже? Куда реже?! К нам же его повезёшь. За солнцем, за огурцом свежим. Переезжай... скажешь тоже. Дед, думаешь, поедет? Прикипели уже. Свой угол, всё своё. Не начинай. Не вижу я, чтоб ты тут довольна была, не вижу.

— Это мне не повезло. Лично мне. Понимаешь?

Бабушка не спорила.

Кое-что за эту неделю в ней переменилось: стоило кончиться сериалу, и она шла на балкон с чаем — час могла простоять, глядя с высоты на город. Мама сидела рядом, вязала. Ночь спускалась — тогда уже, наговорившись, расходились спать. Что-то вроде своей деревенской лавки бабушка наладила на балконе.

Сегодня маму заменил я — растерянный и напуганный:

— Ба, слышишь, у меня в настольной лампе лампочка пропала. Вы когда мылись, я домашку делал, — всё было на месте. Теперь пустое гнездо.

Я тёр ладони о майку, а они не просыхали... осип, не узнавал своего голоса.

— Домовой изгаляется. Шибко много иво стало. У Маруси так было, что ни день, — ложки нет, платочки, и непременно красного, они любят яркое. Дальше хуже будет. Шуметь станет ночами, одеяло стаскивать. То такая напасть.

«Уже», — подумал я со вздохом.

— Ты их видела? Или Маруся твоя?

— Не. Их не видят. То, что домовой рыжий, с бородой и ростом с ребёнка, — всё брехня. Он может так — тенью на стене ляжет. Оно другого роду, не нашего.

Я озяб, вспомнил тень от плафона через всю стену... нет, лампа тут, конечно, ни при чём.

— Что делать-то? Правда в церковь идти?

— Умаслить его надо. И понять — чё он взъелся. Чё-то было ему обидное, чем-то вы ему досадили.

— А чем можно?

— Много чем, — бабушка жевала спичку, думая вслух. — Первым мамин тапок пропал. На её он зуб точит. Это когда было?

— Утром, как за дедом на вокзал ездили.

— Утром вы тапок не нашли, стянул он его ночью, а зло затаил с вечера. Чё вечером было? Вспоминай.

Минуту я чесал затылок, совсем отчаялся.

— Вспомнил! Перестановку мы делали на кухне. Как раз накануне.

Бабушка разверла руками, чуть не скинула чашку с перил.

— Перестановку... Домовые за печью живут, чтоб тепло и едой пахло. Тут, в городе, он на кухне где-то, у плиты, у батареи, в углу тёплом. Вы, поди, и ругались, пока двигали, — мама насела, а тебе лень. Да? Дед такой же, всё через крик.

Ругались. И я вспомнил угол, в который удалось втиснуть шкаф, а под окном выкроить место для нового кресла.

— Он в том углу и жил, а вы согнали, — подхватила бабушка. — А от ругани они дуреют. Всё, как дети, перенимают — сами навроде ворчат и пакостят... И дед до кучи приехал — незнакомый ему, чужой, пахнет по-иному.

Решили так: кресло я отодвину, чтобы за ним мог поместиться, к примеру, очень жирный кот. Уложу туда сала и конфет — на тарелку, красиво. И маме ни слова — не верила она в фольклор.

— У Маруси домовой огонь в печи разводил загодя. Придут с мороза — уже тепло. Когда у ей мама умерла, Маруся молила его вернуть её на минуту, слово сказать последнее, — вернул, в зеркале. Они, если хотят, всё могут. Но только если хотят, если по-хорошему с ими, по-доброму.

Внизу вдоль улицы гасли витрины палаток и обрастили решётками. То на одну, то на другую вешали ночной замок. С ржавым протяжным скрипом

ракушки гаражей распахивали пасти, глотали вечерние машины и тоже получали по замку.

Я сходил на кухню долить бабушке чаю, вернулся и застал на балконе маму.

— Так приезжайте зимой, раз хочет. Ты хочешь зимой? — Бабушка взяла у меня чашку. — В прошлый январь, в праздники, — вышла на двор... верите, как в сказку. Накануне дождь лил, развезло, а в ночь морозы. Выхожу — деревья обледенели, орех наш как леденец, сливы — как сахарные, всё в стекле, аж звенит. И снег валит. Так красиво, царица небесная... а люди топят, дымом тянет, костром... Ну как описать... А потом деревья ломаться стали, не держали веса. У Маруси груша, у нас черешни, у кого что.

Бабушка глядела на иглу телебашни, на обсыпавшие её разноцветные искры, а в глазах её отражался деревенский январь, лёд декораций под сахарным снегом.

И мама надеялась сманить её сюда — к ржавым ракушкам?

Поезд бабушки отходил вечером. Комнаты залило топлёное солнце, июнь вошёл наконец в права лета и грел щедро. Тайком бабушка дала мне сала, конфет с горкой — и, пока отвлекала маму, я наводил красоту сервировке за кухонным креслом.

Присели на дорогу: мало, считаные секунды, — кого мы обманываем?..

Снова бабушка заходила на эскалатор, крестясь и причитая. Снова воротила нос от чебуреков. Вдвоем пришлось согнуться, чтобы обнять её напоследок. Дед прежним остался, а она усохла. И не было так тоскливо две недели назад, когда прощались с ним, словно теперь они уезжали вместе.

Пройдёт не так много лет, бабушка умрёт, и с тех пор маме будет синиться, как она едет в деревню — из ночи в ночь, с дрожащим стаканом в подстаканнике. Многие так до конца жизни сдают экзамены, а маме достался вечный билет на плацкарт.

Дома мы оба ходили как в воду опущенные. В комнатах царила тишина старого чемодана. Лишь к ночи оттаяли, мама заварила чаю и надолго замерла у перил балкона. Казалось, она смотрит в подзорную трубу на нашу деревенскую лавку. Чай дымился, а как остыл, мама послала меня долить кипятка.

На кухне под ворчание чайника я вдруг вспомнил... подошёл к креслу, заглянул за него, оторопел... опять я тёр взмокшие ладони о майку... упал в кресло, вскочил — свесился между спинкой и подлоконником. Вместо тарелки с нарезанным салом и конфетами на полу аккуратно в ряд лежали мамин тапок, чайное ситечко, рулон фольги, спички и лампочка.

Чайник свистел. Струя пара из носика завилась петлёй и распалась.

Я ничего не взял, оставил, где лежало, — мысли как метлой вымело. С чашкой в руке я дошёл до плиты, плеснул кипятка и зачем-то достал ещё одну конфету, вернулся к окну, опустил за кресло — просто так.

Мама уже достала своё вязание, уже сидела в углу балконного топчана. Небо остыло, продавилось вогнутой крышкой. Что она там видела в темноте на своих спицах? Все глаза поломает. Надо провести сюда свет — только я не умею. Вот был бы дед...

— Тут поставь, — указала на подлокотник.

Стараясь не расплескать чай, я смотрел только на него и не сразу увидел бабушку. Она переминалась с ноги на ногу у перил, жевала спичку. Тоже с чашкой, тоже пар по ветру и взгляд поверх крыши.

— ...Не, дочка, ты путаешь — печь была меж ваших комнат с Толиком, чтобы обе топить. Так все делали.

Задумчивая, погруженная в воспоминание бабушка почесала за ухом. Я сглотнул, тоже тронул мочку и сел рядом с мамой. Где-то внизу тонко, пронзительно, как ребёнок, закричала птица, а бабушка говорила, не замечая её:

— Дверца топки так и есть посреди стены. Мы поверху белили, по дверце. Забыла?

— Да, — согласилась мама, ловя спицей петельку. — Помню, Толик об неё обжёгся.

— Об чё той Толик только не обжёгся, — бабушка маxнула. — Раз проволоку скрутил и в розетку сунул. Хватило ума. Как цел остался, царица небесная... Коля, помнишь, розетка обуглилась у кровати?

Отряхивая руки, на балкон вышел дед:

— Тапок моих не видели?

Я с ногами задвинулся в глубь топчана, обхватил колени. Проклятый домовой... последняя конфета была лишней. А в маминых глазах ни тени удивления, обычный вечер, всё на своих местах. Абсурд. Спрашивать её о происходящем не имело смысла — для мамы всё шло своим ходом. В уголке её губ темнел след от шоколада, у чашки на стуле лежали два смятых фантика. Мама щурилась, у глаз теснились морщины... тихие, уставшие мамины глаза не видели чуда. Лишь в отражении их что-то сыпало, белое, точно она смотрела на... снег. Это валил снег! Я отшатнулся, вскочил с топчана...

Но топчана не было — была обычна табуретка. На нашей деревенской кухне их стояло две, ещё четыре — на дворе за обеденным столом. Но сейчас, зимой, все шесть выстроились у стенки, а сбоку сторожем возвышался красный баллон газа — раз в месяц их развозил грузовик с железными сортами вместо кузова.

Капля пота стекла мне за шиворот, другая обогнула висок и смочила щёку. Сердце билось прямо в горле. Кричала птица — раз, другой, пока ей не ответил петух, сердитый, что разбудили.

— Коля, дров нанеси и начинай топить уже, — велела бабушка, вынув изо рта спичку.

— Там хватит. Дверь завалило, всё равно не выйти.

— Ну, топи. Чё ты ждёшь?

Нехотя, скрипя полом, так и не найдя тапок, дед отправился в комнату. Выходя, прихватил с подоконника газету.

— Коля, затопи сперва, потом читать будешь, — бабушка села подле мамы с чашкой, стянула платок. Вечером она снимала его, чтоб голова дышала, распускала жидкие седины по плечам и долго расчёсывала. Она поглядела на мамино вязание, в котором ничего не смыслила, уставилась в окно и задумалась вслух:

— Завтра к Марусе надо. Траншею будем рыть или что? Ума не приложу. Как зима — хоть плачь.

Я подошёл к окну, коснулся лбом ледяного стекла и с трудом различил на дворе обеденный стол, похожий под снегом на стог сена, а за ним — чёрную громаду ореха.

— Что ж делать, если не выйти? — тоже подумал вслух.

— Как что? — не поняла бабушка. — Мыться и телевизор смотреть. Доставайте тазики, я схожу за чистым.

Александр Григорьев

Я возьму бытовой поджанр...

Прозрачный смысл — надмирный и земной одновременно. Бережные пятна.
Всё это как-то связано со мной
(как именно — не до конца понятно).

Да, как всё это связано со мной?
Мне кажется, я — более земной,
чем думал о себе. Но, распластавшись
в сгущениях воздушности, схвачу
ближайший луч и этому лучу
дам поразить свою ненастоящесть.

Я вышел из дома, собою не любим,
чтоб посмотреть, как в небе по старинке
плывёт большая рыба-херувим
и мечет снежные икринки.

Точнее, вышел я совсем не «чтоб».
Цель появляется ретроспективно.
Потом, когда с самим собой — лоб в лоб,
лицом к лицу — но непротивно.

Весна спрашивает: что, если я слизну
эту вот белизну?
Я отвечаю: спроси у зимы,
ты с ней на «мы».

Александр Григорьев (1984) — родился в Керчи. По образованию — филолог, по профессии — копирайтер. Публиковался в «Новом Журнале», журналах «Звезда», «Интерпоэзия», Prosodia, Homo Legens, «Квартя», «Гаволга», «Нева» и TextOnly. Автор двух книг о копирайтинге и редактировании: «Слово на слайде» (2023) и «Пиши, переписывай» (2024). Живёт в Подмосковье.

Ваше дело — со мной ли дружить,
против меня ли дружить.
Моё дело — жить.

Я возьму бытовой поджанр и в него вплету
чайник, поставленный на плиту,
эмалированный, с рисунком в цветочек на
выпуклой части — от ободка до дна.
Я поставлю мать у плиты, посажу отца
на табурет и превращу в чтеца
всего того есенинского, куда вплетён
одноногий клён.

Экзистенциализм по-сицилийски

Зло носит треники, добро — трико.
А тапочки откуда? Из «Икеи».
Одной модели. Так вот налегке и
идут куда-то здесь недалеко:

от дозы кофе и газеты к дозе
бассейна. Снова в номер. И никак
не разгадать нам, кто из них добряк,
кто — мафиози.

Завтрак в Италии

Намылившись, прикормленный ездок,
в недальний свет — почувствовать затылком
знакомые заочно небеса...
Испытывая камерный восторг
и ранний голод, вступишь в бар. Обмылком
сознания отмоешь голоса
на выученном языке — в его
неэталонной версии — до смысла.
Земного и землистого. Возьмёшь
заказанное. Сгорбишься, «во-во»
бурча под нос, в желудочный и кислый
сок отправляя кофе и бриошь.

Стихи о превратностях взросления

А — жить торопится.
Б — чувствовать спешит.
В — в страхе.
Г — скрежещет: «Life is shit».

Но с возрастом (точнее — с возрастами)
А, Б, В, Г меняются местами.

Приходишь в тридцать пять на стадион,
где бегал в семь и приобщался в пятом
к футболу, адресат и почтальон.
Письмо — и зелено, и чуть помято.

Так странно знать, что пять седьмых назад
и здесь, сегодня, вы поодиночке
тайте те же болевые точки.
И вместе терпите. И каждый — рад.

Диптих сна

I. Мальчик видит сон

Быть ногомудрым уличным пеле.
Пинать потёртый кожаный глагол
в ту сторону, где главное реле
переключается с «не гол» на «гол»
и девять муз поют «оле-оле!».

Где все финты второго этажа
реальности усвоивший игрок
вдоль фолов, симуляций, мухлеж
идёт на третий капитанский срок —
и тренер помогает, ворожа.

Где за флагги не выйти, но углы
чуть скруглены — и чудо у ворот
свершается. Где голос (он укрыт
в кабинке с микрофоном) вторит: «Вот
как пишутся учебники игры».

II. Семь тысяч снов спустя

День разыгран как по нотам
самоедством и цейтнотом.
Но Морфеюшка не прочь
сдобренную водянистым
сон всю жизнь перетолочь.

Для него, как миску супу,
в эту костянную ступу
в форме глупой головы
влей навар из постных истин
и отходов бытовых.

Он рукою всемогущей,
совмешая жижу с гущей,
зачерпнёт, что нужно, для
сблазненья пассеиста
вкусом будущего дня.

Что комментатор в микрофон тряндит —
какое дело нам, когда на фланге
то однорукий зафингит бандит,
то — чуждый фолу — однокрылый ангел

необъяснимый выполнит подкат,
и мы — все сорок тысяч франкенштейнов, —
вскакивая, вытягиваем шеи
с вопросом: гол? штрафной? рассвет? закат?

Солидарность с Довлатовым

Прожить один всего денёчек,
один всего б
без маэты, без заморочек.
Не морща лоб.

Потом второй такой. Потом ну
ещё пять-шесть.
Легко и неголоволомно
тоску уесть.

Объясни мне, вошь, сестрица,
кто — хозяин, кто — патриций,
кто — заразен, кто — плебей.
С толку, милая, не сбей.

Здесь стремятся быть в пределе
a — в любви и *b* — при деле.
Эта Зигмундова весть
плешь сумеет всем проесть.

Здесь грустят, что недодали
то ли высей, то ли далей.
И тобой закусят в срок,
братец плавленый сырок.

Но на тресканье в лампадке
ты прищурься. Глазки падки
на дрожание огня
жизни. Прочее — фигня.

Я вам принёс не меч, говорит. Дуду.
Скоро дудеть в неё, говорит, начну и
в душах закисших воссоздавать среду
добрую, щелочную.

Слушаем. Раскрываем глаза и рты:
наш городской пророк, местечковый гуру,
преобразует внутренние черты
силой дуды! Мы верим. Возможно, сдуру.

Вера нам сгладит день и умаслит ночь.
Ночи не будет, впрочем. А будет день — и
будет всё по хотенью дуды, точь-в-точь
всё по её дуденью.

Вчера душа хотела
отвлечь меня от тела,
а я не понимал,
я спрашивал её:
«Чего как банный лист?»

Но ей всё было мало.
Она меня одной
собою занимала,
испортив выходной.

Диптих растерянности

I

Облачно с пояснениями
доморощенных и дипломированных
консультантов, астрологов, колумнистов и гештальт-синоптиков —
всё так же облачно.
Однако формы облачности сменяют друг друга.
Наверное, это и есть жизнь.

II

Если написать слово *жизнь*
через и краткое

вот так —
жизнь

удастся ли лучше передать его, так сказать, э-
кстралингвистическую основу:
всю эту матовость,
хтоничность,
неудобоваримость
и вместе с тем нетвёрдое подозрение на наличие второго этажа?

Ну и, наконец, краткость,
хотя это
и так понятно.

«Прикрыл бы, что ли, рот», «живот втяни» — и
прикрыл, втянул. «А может, холода?»
Как рыбка, плещется неотенія
в улыбке постаревшего отца.

Весь день, всю жизнь — зацепка за зацепку —
сыновнюю вытягиваю репку
несамородным хлипким бурлаком.
И прикуса не достигает ком.

Константин Абаев

В поисках серебряной пыли

Рассказы

Запахи, воскрешающие прошлое

...Кажется, индейцы... Да-да, именно североамериканские индейцы имели обыкновение таким образом восстанавливать в своей памяти события многолетней давности: они носили у себя на поясе множество плотно закрытых флакончиков с сильно пахнущими травами, смолами и маслами, которые доставали в момент каких-либо событий или сильных переживаний и вдыхали тот или иной аромат. Спустя годы, вновь открыв флакончик, они как бы заново испытывали былое своё состояние, восстанавливая в памяти картины давно минувших дней.

«...ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним». Да, прав Владимир Набоков, чертовски точен...

Запах осенней грусти

...Знаете ли вы, как пахнет ракетка для игры в пинг-понг? Верно, она пахнет резиной...

...Мы выходим с мамой из магазина спортивных товаров «Динамо», купив для меня эспандер на пружинках, переходим через старый мост и очень скоро начинаем шуршать розовой крошкой дорожек парка.

Это был точно не выходной, парк почти пуст. «Чёртово колесо» не работало, раскачиваться на лодках я не любил — тошнило, тир был закрыт.

— Поиграем в пинг-понг? — предлагает мама.

Но тут-то, как назло, почти все столы оказываются занятые. Кроме одного, вздувшегося от дождей.

— Ракетка один остался, больше нету, — дядька с печальным, похожим на баклажан, носом, виновато пожимает плечами.

— Ничего, — решительно протягивает руку мама. — Мы и с одной сыграем.

Константин Абаев (1965) — советский и российский журналист, режиссёр, сценарист, художник и продюсер. Родился в Тбилиси. Окончил факультет журналистики в МГУ им. М.В. Ломоносова. Сотрудничал с газетами и журналами «Известия», «Молодой коммунист», «Молодежь Эстонии». Работал на «Первом канале» корреспондентом, комментатором и ведущим. Автор и режиссер нескольких документальных фильмов. Принимал участие в создании ряда тематических спутниковых телеканалов в 2003–2006 гг. В 2017 г. окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская В. Меньшова, В. Тумаева, Н. Рязанцевой). Режиссёр и автор сценариев короткометражных художественных фильмов «Спирidon» (2016) и «Соло» (2018). Литературный дебют в журнале «Урал» № 7, 2023.

— Он хороши, миягки, — оживляется дядька-баклажан, протягивая маме ярко-красную ракетку, обгрызанную по краям. И, посмотрев на меня, уважительно поднимает вверх указательный палец: — Японски ракетка, вот!

Мама отдает ракетку мне, а сама отбивает мячик ладошкой. «Японски ракетка» мне не помогла — я проиграл несмотря на то, что мама поддавалась, я это понимал и оттого злился ещё сильнее. И грыз края ракетки, пахнущей резиной...

...И сегодня, стоит мне только учуять этот запах резины, тут же перед глазами встаёт наш осенний цхинвальский городской парк, мама в темно-коричневом пальто и в туфлях на каблучках, с прической, как у Ануки Эмэ в фильме «Мужчина и женщина», ловко отбивающая теннисный мячик ладонью... И я, пятилетний. И пасмурно. И папа уехал в командировку в Орджоникидзе... И очень-очень грустно. Хоть плачь...

Мунджи

...О! За свои сто двадцать лет она выросла до невероятных размеров: в три отцовских обхвата толщиной и высотой с трехэтажный дом, эта наша груша сорта «гоха»!

Каждый плод весил сильно за полкило, и когда осенью созревшие груши срывались вниз, они запросто могли покалечить любого, кому не повезёт оказаться под кроной исполинского дерева.

Вот поэтому и приехал в тот день мамин отец, дед Григорий, пригнав из Тбилиси целую автовышку с «люлькой» для ремонта уличных фонарей: только так и можно было быстро и безопасно собрать урожай наших гигантских груш. Дедушка заведовал изрядным автопарком 31-го Тбилисского авиационного завода и приводил меня в восторг, приезжая на разных грузовиках с весёлыми шоферами, разрешавшими мне садиться руль в сладко пахнущих дерматином и нагретых солнцем кабинах...

...Мама до сих пор не верит, что я отчётливо помню тот сентябрьский солнечный день. И я её понимаю: мне было лишь два года и четыре месяца.

Шофер Нико, стоя в «люльке», собирая груши, которые всё-таки время от времени срывались вниз и, оказавшись по ту сторону нашего забора, разбивались об асфальт, выложенный вокруг здания горисполкома, истекая пахучим соком и обнажив белую сахарную мякоть... Дед, посадив меня на колено, изображал бешеную скачку на коне, заставляя хохотать и визжать от удовольствия.

— Уа-а... Странно всё-таки, — в задумчивости обратился дед Григорий к подошедшей маме и опустил меня на пол. — Кажд мунджи наёу аши ләппу... Как бы немым не оказался этот парень... Странно... Пора бы ему уже заговорить, а?... Может, специалистам показать его, что ли?

Мама вздохнула и закусила губу.

— Ну, ладно, поехали мы, Жанна, матери позвони, скажи, что я выехал домой...

...Дедушка с Нико уехали, а мы с мамой пошли прогуляться в горисполкомовский сквер, как обычно, среди цветочных клумб с дурманящими ароматами... Я помню, как встретили соседа дядю Лёву со смешной фамилией Тертеров и тёту Нелли, которая принялась было меня щекотать по своему обыкновению, но я вырвался и ломанулся прямиком в цветник... Вдохнул этот запах, потом ещё... И неожиданно внезапно произнес первое в своей жизни слово. «Цветок», — сказал я, заставив маму пару минут спустя звонить бабушке в Тбилиси.

— Мама! — кричала она в телефонную трубку. — Котик заговорил! Скажи папе: Котик за-го-во-рил!!! Он уже не будет мунджи! Он точно не немой!!!

Сколько лет уж прошло, но запах городских цветов, всяких там колокольчиков и анютиных глазок, способен в мельчайших подробностях воскресить тот день моего раннего детства, когда я, наконец, заговорил...

...Пройдет несколько лет, и Нико погибнет, заснув за рулём от усталости. Но цветочный аромат запускает механизм моей памяти, и я помню лицо, улыбку этого парня, его голос, шутки, которые звучали в нашем дворе полвека тому назад.

Анжелика и солонджи

...Он подал мне руку, как взрослому.

— Меня зовут Котик.

— А меня зовут так же, как твоего папу — Алан! Ну, давай посмотрим твоё брюхо... О, да оно уже со шрамом! Грыжа? Карсладзе делал? Его почерк, красивый шрам... Тут болит? А тут? Ясно, катаральный аппендицит. Послезавтра вырежу аппендицис — и у тебя будет уже два шрама, для симметрии...

...Утром в палату вошла медсестра — вылитая домоправительница Фрекен Бок.

— Тәрсъыс? (Боишься?), — спросила «фрекен» по-осетински и протянула мне бритву. — Ма тәрс (Не бойся). Мәнә дын безапъяс әмә — дәхәдәг зоныс... Бери, мол, бритву, сам знаешь, что делать. Мне было уже тринадцать, и я сообразил.

...Несмотря на местную анестезию, было больно. Очень. И время операции тянулось и тянулось, как конфеты «Золотой ключик» на зубах, пока я вдруг не почувствовал чьё-то прикосновение на своём взмокшем лбу. Я посмотрел вверх и... боль тут же исчезла.

На меня смотрели глаза Анжелики из фильмов «Анжелика и король», «Анжелика, маркиза ангелов» и ещё дюжины картин с Мишель Мерсье! Моя Анжелика была в медицинской маске, но я был готов поклясться, что она нежно улыбнулась, когда промокнула мне лоб марлей:

— Потерпи, Котик, потерпи, скоро всё закончится...

Я уже не хотел, чтобы это закончилось, видит Бог...

— Как приятно пахнут ваши руки, — неожиданно для самого себя брякнул я. И теперь я отчётливо понимаю, что, с одной стороны, это был мой первый в жизни флирт, отчаянный и безнадёжный, но — с другой стороны — я, чёрт подери, сказал правду!

— Это запах солонджи, — шепнула она, наклонившись ко мне так низко, что я чуть не потерял сознание. — Мы пекли торне вчера...

На следующий день меня навестил в палате дядя Геге.

— Вот, племяш, черешня тебе точно не помешает, — выложил он на тумбочку здоровенный кулёк. — Отец твой собирался прийти, фәләэ дядяйә аддъындаэр у! Дядькина черешня всегда вкуснее!

...И тут произошло то, что отныне подняло меня в глазах дяди Геге на головокружительную высоту. Дверь палаты приоткрылась.

— Котик, как ты? — волнующим шёпотом осведомилась моя «Анжелика» и послала воздушный поцелуй. — Не скучай!

— А ты и не скучаешь здесь, как я посмотрю, — дядя Геге выглядел несколько озадаченным. — Ешь, нажимай на черешню. И дам угощай...

...Время от времени я прошу своих одноклассников привезти или прислать мне из Цхинвала солонджи, голубой пажитник. Они и понятия не

имеют, в какой сладостный и немного печальный трип сквозь года способен отправить меня его аромат...

Где ты теперь, моя «Анжелика»? Бог весть...

И давно уже нет дяди Геге, — светлая вам память, Сергей Семёнович. Рухсаг у, рухс дзәнәты бад...

Роза чародейки из дома напротив

...Ха! Я давно подозревал, что бабушка Ева, живущая напротив, за калиткой с номером 12 по нашей улице Хетагурова, не кто иная, как старушка-чародейка, околдовавшая Герду в своём чудесном саду!

Ведь в то время, когда наступали холода и, к примеру, наши розы, а также все цветы у того же дяди Булика Зубрицкого увядали, за забором бабушки Евы было тепло, как летом, а цветы и не думали увядать!

Я поделился своими сомнениями со своей бабушкой Верой, с которой мы частенько захаживали в гости к бабушке Еве.

— Не чародейка ли она? — бабушка с интересом посмотрела на меня. — Х-м-м, всё может быть... Хотя... Она из Гуфта, а там чародеек, насколько я знаю, отродясь не было...

— А в Тонтобет, в твоём родовом селе? В Тонтобет чародейки есть?

— Ну, разве что я! — рассмеялась бабушка.

Шутки шутками, но я решил пойти напролом.

— А вы знакомы с Гердой? — тихо спросил я у бабушки Евы в очередной наш визит в её чудесный сад.

— С Гердой? А кто это, детка? — бабушка Ева вскинула брови, глядя на меня поверх круглых маленьких очков.

— Ясное, дело — кто, — я чувствовал себя хозяином положения. — Сестра Кая, кто же ещё??!

— Нет, хъябул, не знаю... А может, запамятовала...

Ну, теперь-то я был готов поклясться полуночным набегом на янтарную черешню математика Гавруша с улицы Карла Маркса (о, вкуснейшая и запретная черешня — Гавруши бал!), что передо мной, среди вечного лета, в своем плетёном кресле сидела сама чародейка из сказки «Снежная Королева»! Ну, а как иначе? Даже не знать, не слышать о Кае с Гердой?! Все о них знают — бабушки Вера и Варя, и дед Григорий, и мама с папой, и Гия — мой двоюродный брат, и Вале Парастаев, и Дудаев Сосик. Про лапландку с финкой и Северного Оленя я уже и не говорю, а бабушка Ева и слыхом не слыхивала?! Просто не хочет, чтобы кто-то в городе разгадал тайну, это же ясно — как постоянное лето в её чудесном саду... А я и не думал выдавать её тайну. Наоборот! Очень скоро я понял, сколько могущества может принести мне эта тайна...

Я не стану сейчас раскрывать её имени. Скажу только, что она жила по соседству и была самой красивой девочкой из всех, кого я видел. Да — и она была старше меня на два года. То есть ей должно было вот-вот исполниться семь.

И чёрт меня дёрнул на улице, при ребятах, пообещать ей красную розу в подарок на день рождения! Не зря бабушка Вера говорит, что у меня язык без костей: надо было, конечно, сначала добить розу и сделать сюрприз...

Но отступать было поздно, и накануне дня рождения Самой Красивой Девочки я напросился с бабушкой Верой в гости к чародейке из дома напротив. Я сказал, что немного побуду в чудесном саду, когда бабушка собралась на работу к себе в лабораторию, под аптекой. Ну, там, где обычно Наргиза продаёт мороженое из голубого ящика на гремящих колёсах-под-

шипниках. Когда бабушка ушла, а чародейка задремала в своём плетёном кресле, я потихоньку пробрался в отдаленный уголок чудесного сада и сорвал заранее намеченную, самую красивую розу. Она была пышной и пахла малиной, мамиными духами и ещё чем-то там вкусным — аж за пять больших шагов...

...То, что происходило на дне рождения Самой Красивой Девочки, было как в тумане: но одно знаю точно — я чувствовал себя героем. На улице была почти зима, а я подарил единственную розу в городе, пахнущую малиной, мамиными духами и — вспомнил — пломбиром в брикете из голубого ящика еврейки Наргизы...

И Самая Красивая Девочка взяла розу, погрузила в неё свой носик, покраснела и еле слышно сказала: «Спасибо, Котик...»

И я какое-то время не мог дышать.

Вот и всё.

И да, я уже сказал, что её имени не назову, и не просите: она замужем, и говорят, муж её ревнив, как Отелло. Кто знает, что взбредёт в его горячую цхинвальскую голову, верно?

...Чуть не забыл. Как-то раз, уже поздней весной, мы с бабушкой Верой пришли в чудесный сад напротив. Бабушка Ева угождала нас свежесорванной клубникой. Я быстро умял целую тарелку, и чародейка громко сказала:

— Собери себе ещё клубники, детка. И вымой под краном... — А потом добавила потише, чтобы не услышала бабушка Вера: — А за розами, хъябул, приходи в конце лета...

...С тех пор прошло — страшно сказать — полвека. Но вся штука в том, что у меня есть «машина времени». Она находится во дворе Храма Святого Князя Владимира на улице Забелина, на Китай-городе в Москве. Она, эта роза, растёт там и благоухает. Конечно, не сейчас, — нынче она укрыта от холодов чёрным мешком. Но настанет срок, и можно будет прийти сюда и вдохнуть её аромат, отдающий и малиной, и мамиными духами, и мороженым моего детства... И перенестись на пятьдесят один год назад, в чудесный сад бабушки Евы.

В поисках серебряной пыли

...Я поеду в Цхинвал в апреле. И в Дзау заеду, наконец. Одиннадцатый год уж собираюсь, теперь уж всё, пора. Дедовский, дзауский дом стоит весь в трещинах, еще после землетрясения 1991 года, а дом в Цхинвале давно пора приводить в божеский вид после пятидневной войны.

Он еще держится молодцом, наш дом, если учесть, что ему скоро сто тридцать. Его построил, а после отдал своей дочери в приданое мой прапрадед, Николай Карсанов, купец 2-й гильдии, бывший, по семейным преданиям, человеком весьма суровым.

Я с трёхлетнего возраста, особенно во время частых приступов бронхиальной астмы, любил часами рассматривать его на толстенных, старинных фотографиях, облаченного в черкеску с кинжалом...

Предок мой жил в доме, который располагался рядом, до того момента, пока победившая новая власть не решила передать особняк народной милиции. Кстати, там и по сей день находится МВД Южной Осетии...

Дочь свою, Варвару Николаевну, прапрадед выдал за небогатого, но яркого Бидзину Кочиева, окончившего Казанскую духовную академию, а впоследствии за свою недолгую жизнь успевшего организовать народный театр и газету в Тифлисе, педагогическое училище и научно-исследовательский институт в Цхинвали, написать десятки пьес, сборники стихов и очерков, учебников, включая первый осетинский букварь на основе ла-

тинского алфавита, словом, стать «выдающимся просветителем, ученым и общественным деятелем».

...В ЦК Компартии Грузии латинский алфавит, в отличие от грузинского, сочли политически чуждым, и прадеда в 37-м расстреляли, а за десять лет до моего рождения, в 55-м, реабилитировали.

Смысл и взаимосвязь этих слов — «расстрелять» и «реабилитировать» — мне, пятилетнему, пыталась объяснить бабушка, Вера Бидзиновна, во время наших с ней любимых прогулок от дома до медлаборатории, которой она заведовала, по бульвару, мимо здания обкома, на фоне руин которого дирижировал оркестром Валерий Гергиев в августе две тысячи восьмого...

А еще рядом с бабушкиной лабораторией было два волшебных места — «пятачок» у киноафиши, где любила припарковывать свой голубой деревянный ящик на подшипниках мороженщица Наргиза. И, наконец, метрах в шестидесяти, вверх по бульвару, — кинотеатр «Фидиуаг» («Глашатай»)! Если мы приходили в кино с бабушкой, она брала билеты непременно в ложу, отделанную малиновым бархатом. А вот с папой мы демократично устраивались в партере.

В кинозале, как только выключали свет, я тут же терял ощущение времени. Первый же луч света выхватывал из темноты над моей головой бесчисленное множество серебристой пыли, которую нестерпимо хотелось поймать руками! Мы с папой так и называли её — серебряная пыль...

Я довольно отчетливо помню свой первый поход в кино, — отец решил показать мне свою любимую «Великолепную семерку», это был 1969-й год, мне было четыре. На следующий же день мы с двоюродным братом Гией были постриженены и побриты наголо «под Криса»! Мама была в ужасе...

...В последний раз мы пойдем в кино с папой уже в Москве, в 1987-м. Будем смотреть «По главной улице с оркестром» Петра Тодоровского, с Олегом Борисовым.

Мы досмотрим фильм, и отец неожиданно скажет: «Страна разваливается на глазах... А у Борисова глаза какие-то... Словно не жилец».

«И серебряная пыль пропала, ты заметил?» — вдруг произнёс я. «Нет, — грустно улыбнулся отец. — Просто мы перестали её видеть...»

Когда начнется война, мама тяжело заболеет. Отец, как и большинство его сверстников, не сможет «вписаться в рыночные отношения» и уйдёт от повторного инфаркта в апреле 95-го, пережив нашего с ним любимого актера ровно на один нервный год.

Недавно, поминая за столом погибших, я сказал, что не уехал бы из города никуда, если бы мог предположить, во что он превратится, наш город... Но тогда шел 82-й, и я уехал с золотой медалью в кармане в Москву, чтобы поступить на журфак.

И вот уже 39-й год я живу в Москве. И дочь давно вышла замуж, и сын закончил актерский, и скоро семь лет, как я стал дедом...

Всякий раз, когда мне удается заново пережить то былое свое состояние ни с чем не сравнимого счастья, когда я впервые в свои 17 лет вырвался за пределы треугольника «Цхинвал — Дзау — Тбилиси» мне без труда удается выстроить череду удивительных событий, выложить заново мозаику ощущений, переживаний и открытий!

Репетиции и выступления в студенческом театре факультета журналистики...

Бессонные ночи на «скорой помощи», Цирк на Цветном, и черт знает что еще на спецсеминаре нестареющего Шаха, Владимира Владимировича Шахиджаняна...

Фантастические месяцы на практике в газете «Молодежь Эстонии»...

Счастливые годы стажерства в «Известиях». Лозунг — две заметки в неделю, не меньше! Телевизионная страничка, интервью со звездами со-

ветского телевидения, принципиальный разговор на повышенных тонах по телефону с «самим» Лапиным, пораженный моей наглостью Андрей Иллеш («ты хоть понимаешь, стариk, кому ты сейчас дерзил!?»)...

Военные лагеря под Ковровом, телеграмма перед строем — «родилась дочь», на сутки в Москву...

1987-й. ЦТ, программа «Служу Советскому Союзу!». Первый эфир. Первый фильм, положенный на «полку» («по-твоему получается, у нас до сих пор сотни тысяч незахороненные с войны лежат?! И это ты хочешь народу сказать?!»)...

Уход в «Человек и закон». Первая командировка, — землетрясение в Армении. Вылет военным бортом. Из-за опоздания осветителя «бочка» (Ил-76) с югославскими спасателями улетает без нас.

Наутро трагическая новость — разбились при посадке в Ленинакане...

«Горячие точки». Резня в Фергане, Оше... Фильм совместно с покойным ныне Олегом Вакуловским («боевыми друзьями можно стать и в мирное время»)...

Эфир — раз в неделю. Командировка — студия — монтаж... Программы, фильмы — из Бразилии, из Италии, из США, из Финляндии...

Фильм о расстреле Белого дома... («мы видели страх на лицах, расстреливавших нас “демократов”, — животный страх!»)...

Удивительные истории людей словно сами просятся на камеру, — отснятый материал регулярно становится доказательством невиновности одних и виновности других...

И так 13 лет, эфир — раз в неделю.

Каждое утро у центрального, у 17-го подъезда в Останкино тебя встречают отчаявшиеся люди, приезжающие отовсюду с надеждой на поддержку («Помогите, сынки, в стране беспредел»).

И исподволь ты начинаешь думать, что ты — чуть ли не полубог.

Через пару лет, взяв тайм-аут, ты с удивлением обнаруживаешь, что вновь можешь говорить, что думаешь, делать, что считаешь нужным. Как когда-то, совсем недавно.

Чуть ли не на спор, в 2003-м, с коллективом в 250 человек, за два с небольшим месяца удаётся запустить в прямом эфире (!) канал. Небольшой, спутниковый, но — телеканал! Это было обыкновенное чудо.

А потом... Потом, как это часто бывает, твои идеи перестают дружить с возможностями инвесторов и старших партнеров, и ты решаешься выйти в открытое море в одиночку!

И вот, наконец, настает тот миг, когда ты понимаешь, что у тебя появляется возможность делать то, что тебе по душе, общаться с теми, кто тебе интересен. И ты снимаешь одну реальную историю, другую.

И тебя с новой силой охватывает отчаяние, подобное тому, какое испытал пятнадцатилетним мальчишкой, узнав, что строители, ремонтировавшие чердак дома в Цхинвале, по простоте своей выбросили найденный старый портфель, набитый рукописями твоего расстрелянного прадеда.

...У меня есть пара полнометражных сценариев в столе. И целый фильм. Я просматриваю его во сне — когда частями, когда полностью.

С каждым годом, с каждым новым месяцем все отчетливее я начинаю вспоминать запахи и звуки, которыми был населен Дом Моего Детства. Мои пальцы, оказывается, помнят на ощупь тяжеленную бордовую портьеру в гостиной, за которой я любил прятаться, вдыхая сладковатую пыль и чувствуя приближение астматического удушья. Я выбираю момент, вы-прыгиваю из-за портьеры и слышу высокий бабушкин голос:

— Довольно шалить, Котик! Пойдем-ка мы с тобой лучше прогуляемся за мороженым. А потом — может быть — пойдем в кинотеатр.

— В ложе будем смотреть, ба?

— В ложе, Котик. Конечно, в ложе...
— А волшебная серебряная пыль из ложи видна, ба?
— Если она по-настоящему волшебная, она видна отовсюду, с любой точки. Это уж точно...

У горной форели глаза цвета радуги

Смеркается. По горной дороге несется «газик» с открытым верхом. За ним, время от времени сменяя друг друга, с бешеным лаем, несутся огромные собаки — волкодавы. За рулем — брюнет лет тридцати, в белой рубашке с закатанными до локтя рукавами. Не сбавляя скорости, он пытается прикурить спичкой зажатую в зубах сигарету без фильтра. Роняет горящую спичку на пол и в последний момент успевает резко затормозить. Из-под колес выскакивает с кудахтаньем, хлопая крыльями, пестрая курица. «Надо же, она с хохолком...» — изумленно шепчет мужчина, провожает убегающую «хохлатку» глазами, затем открывает дверцу, присаживается на порог «газика» и, уже никуда не спеша, уставившись в одну точку, глубоко затягивается сигаретой...

Я отчетливо помню то утро — ясное, солнечное — и как бы вижу себя со стороны. Мне только исполнилось четыре года.

Каменный, с набрызгом, двухэтажный дом с застекленной верандой, с ласточкиными гнездами под чердаком. За ласточками, раскачиваясь в гамаке, натянутом между двумя старыми сливовыми деревьями, внимательно наблюдает мальчик. С силой отталкивается от земли обеими ногами и успевает увидеть на мгновенье, пока гамак не начнет движение обратно, заснеженную вершину горы над крышей дома. Гамак — как маятник: толчок-вверх-вниз — снова толчок.

— Гора Бурхох, — шепчет мальчик, улыбаясь. И снова повторяет по слогам: «Бур-хох!» так, что слогам ритмически соответствуют толчки ногами...

Из радиоприемника на веранде доносится по-осетински: «Говорит Цхинвал. Сегодня шестое августа 1969-го года, 8 часов 30 минут». Рядом с гамаком то и дело падают перезрелые красно-лиловые сливы. Лопаются от удара о землю и сочатся. На них тотчас же слетаются осы и пчелы. Мальчик всматривается в проплывающие мимо облака и исчезающие за крышей дома. Закрывает глаза и открывает их снова. Неожиданно, над мальчуганом в гамаке нависает фигура молодого мужчины, брюнета в белой рубашке и темных брюках.

— Вот, пап! — восклицает мальчик. — Смотри, я закрываю глаза — и становится темно. Всё исчезает. Открываю глаза — опять все появляется! Значит, все вокруг существует для меня?

Отец пару мгновений насмешливо смотрит на сына, потом резко нагибается за упавшей сливой.

— Ну-ка закрой глаза, философ!

Мальчик с готовностью зажмуривается. Мужчина коротко прицельно бросает сливу сыну в макушку.

— Слива, Кот, упала тебе на голову. И ей было все равно — закрыты были твои глаза или нет. И всему вокруг тоже нет дела до этого. Понимаешь?

— Алан, что там у вас происходит? — из окна на веранде выглядывает молодая брюнетка с короткой стрижкой.

— Ничего, просто наш сын — большой фантазер... Займись чем-нибудь толковым, Кот!

Пройдя к калитке несколько шагов, мужчина оборачивается.

— Буду к обеду. Привезу живую рыбку...

— Живую рыбку! — с восторгом повторяет Кот.

— Ну да, речную горную форель. Пока!

Железная калитка со звонким щелчком захлопывается за ним.

Мальчик катается по асфальтированным узким дорожкам во дворе дома на педальной голубой машинке, голосом подражая рокоту мотора и визгу тормозов. Потом, словно вспомнив о чем-то, вскидывает голову в сторону веранды.

— Мама, — кричит он. — А папа скоро приедет?

— Всё рыбку свою ждешь? — слышится смех из глубины дома. — Никуда она от тебя не уплывет.

Кот вылезает из машины и снова устраивается в гамаке. Какое-то время раскачивается. Забирается в гамак с ногами. Закрывает глаза...

Ему снился, как он выпускает сверкающую рыбку в большую банку. Банка с рыбой стоит на подоконнике, на веранде, переливаясь на солнце всеми цветами радуги...

— Котик, поднимайся домой! Папа приехал, — слышит мальчик мамин голос. Рыбка в банке исчезает, он открывает глаза. Выбирается из гамака и взлетает по лестнице на веранду. Прокакивает на кухню. Там, за столом, родители.

Небольшие, в разноцветных пятнышках, рыбки, лежат на овальном блюде. Они изогнутые, словно застывшие в отчаянном танце. У них белые глаза.

— А где же моя живая горная форель, пап? Мам?

— Вот же она, сынок, — улыбается женщина.

— Но она не живая. Она... вареная. Она не сможет плавать у меня в банке... Пап, ты же обещал, что она будет живой...

Несколько секунд все молчат.

— Ты что-нибудь понимаешь, Жанна? Что происходит с этим ребенком? — нарушает тишину отец, пытаясь скрыть раздражение. — Это и есть живая рыба, Котик. Живая, значит, недавно выловленная. Для того, чтобы быть съеденной. Что здесь непонятного... Это всего лишь рыба, Кот...

Сдерживая слезы, мальчик смотрит на него снизу вверх. И молчит.

Из комнаты, где сидит Кот, уставившись в одну точку и обняв колени на тахте под красно-бирюзовым ковром, он видит в дверном проеме кухни сидящего за столом отца, его торс гимнаста, и стройную худенькую маму в бордовом платье. Она касается кончиками пальцев отцовского плеча:

— Просто вспомни себя, ты ведь тоже ребенком был... Съешь куриного супа с вермишелью?

— Ты же знаешь — не ем я куриный суп...

Он отходит к окну и закуривает. Встречается глазами с женой.

— Завтра отвезу вас с Котом в Дзау, Жанна, к твоему отцу. Отдохнёте немного.

Они — все втроем — в «газике» с открытым верхом. Кота увозят к дедушке до конца лета. Перед ними где-то далеко сверкает снегами вершина горы Бурхох. Они едут по направлению к ней, но она не становится ближе.

— Смотри, Кот, — вдруг кричит мама. — дедушка! Видишь его, там, у орехового дерева?

Отец останавливает машину у обочины пыльной дороги. Прямо под ними — домик со сверкающей серебристой остроконечной крышей, утопающей в зелени яблонь и дикой алычи. Неподалеку, изгибаясь среди золотистых стогов сена, бежит и пенится голубая горная речка... И кажущаяся крошечной фигурка деда в белой майке, приветственно машущего рукой.

Кот спрыгивает из «газика» на дорогу.

«Газик» подъезжает к дому. Дедушка, совершенно седой, подбрасывает Кота вверх. Он похож на большого доброго белого медведя.

— Здоров, Кот, бархатный живот!

Мальчик снова взлетает вверх. Ему щекотно и смешно.

Отец сразу собирается уехать. Все стоят у машины.

— Мне в Цхинвал надо, Алексеич, по работе, в совхоз.

— Сильно не гони, Алан, — как обычно, напутствует дедушка. — Дорога опасная. А мы вот с Котом пойдем ловить рыбу на речку...

«Газик» резко трогается с места.

Кот с дедом, по щилотку в воде, переворачивают плоские камни в поисках личинок стрекозы.

— Вот, дружище Кот, смотри внимательно, — дедушка берет личинку большим и указательным пальцами, кладет в целлофановый пакетик. — На него особенно хорошо клюет горная форель!

Дед закидывает удочку. И почти сразу же — клюет! Он подсекает, и мгновение спустя на леске сверкает и пляшет рыбка!

— Посмотри, Кот, как играет она на солнце! Держи — она твоя!

Мальчик бережно, чтобы рыба не выскользнула, берет форель двумя руками. Подносит поближе и смотрит на свет — она, разноцветная, переливается всеми цветами радуги!

— А теперь скорей беги домой, скажи маме, чтобы, не мешкая, дала тебе для рыбки банку или посудину какую... Беги же!

Кот бежит, зажав форель обеими руками. Вот он преодолевает шаткий деревянный мостики через бурную речку. Падает, споткнувшись о какую-то корягу, но не выпускает рыбу из рук. Поднимается и продолжает бежать к дому... Вот он уже бежит мимо изгороди... А вот и двор, наконец, вот колодец! Он видит маму.

Она стирает белье в белом тазу. Рядом стоят два ведра. Подбежав, Кот выпускает свою рыбку в оцинкованное ведро и тут же отдергивает руку. Кипяток. Мальчик ошеломленно наблюдает за тем, как форель замирает в горячей воде и с каждым мгновением становится все более тусклой. Глаза ее белеют и вот она уже всплывает брюхом вверх... Кот порывисто опускает руку в ведро и достает рыбку. Кладёт рядом с ведром.

Рыбка, изогнутая, лежит на траве. Теперь она такая же, как те, вареные, с белыми глазами, на овальном блюде...

Боль приходит позже. В глазах мальчика стоят слезы, он дует на руку. Подходит дедушка. Едва взглянув на сильно покрасневшую руку, коротко бросает:

— Писай!

— Но я не хочу!

— Я не спрашиваю тебя, хочешь ты или нет. Просто сделай это, Кот. И принеси из холодильника мацони, Жанна. Ладонь мальчика — один сплошной пухлый волдырь.

Кот, мама и дедушка сидят под ореховым деревом за круглым столиком, на котором стоит транзистор, из него звучит негромкая музыка. Над столом горит теплым желтым светом лампочка, вокруг которой вьются бабочки. Мальчик сидит с перебинтованной рукой. Уже прохладно. Мама в накинутой на плечи шали перебирает ягоды в белой большой тарелке. Дедушка, зажав в левой руке зеленый греческий орех, перочинным ножом разрезает его на две половинки, аккуратно вырезает молочную мякоть и кладет на стол перед дочерью и внуком. Половинки высокобленного ореха пожилой мужчина бросает в свежевыстроганную кадку с водой, стоящую возле стола. Вдалеке слышится и с каждым мгновением нарастает шум

автомобильного двигателя. Спустя короткое время во двор въезжает пыльный, забрызганный дорожной грязью «газик».

— Папа, — улыбается мальчик.

— Добрый вечер, — улыбаясь, выдыхает мужчина. — Что с рукой, Кот?

...Мужчина садится у руля и, перегнувшись, открывает дверь со стороны пассажира. Мальчик устраивается рядом, придерживая перевязанную руку здоровой.

— Знаешь, Кот, почему я не люблю куриный суп с вермишелью? — немного смущаясь, спрашивает отец.

— Я тоже не люблю вермишель, пап!

— Вермишель здесь ни при чём...

Отец продолжает, глядя прямо перед собой:

— Когда мне было столько же, сколько тебе, моя бабушка принесла домой цыпленка. Желтого. Он помещался у меня в ладони. Цыпленок вырос и превратился в курицу. Знаешь, бывают такие, с хохолком. Я кормил ее зерном с руки. Она бежала на мой голос, когда я возвращался домой из детского сада. А однажды она не нашлась. Я напрасно искал и звал. На ужин у бабушки был вермишелевый суп. Ни тогда, ни после я ни разу не съел куриного супа. Ну вот, я рассказал тебе то, чего никогда не рассказывал никому...

— Даже маме?

— Даже маме... И маме, наверное, в первую очередь я избегал рассказывать об этом.

— Почему?

— Ну, знаешь, мужчина хочет быть всегда сильным... Я кое-что тебе принес, Кот. Вот. Открой коробок. Только медленно. Не спеши.

В коробке что-то мерцает зеленоватым светом.

— Светлячок! Теперь он всегда будет светиться у меня в коробке.

— Нет, Кот, всегда не будет. Только ночью. А к утру погаснет.

— Пап, а я видел сегодня, какого цвета глаза у форели. Цвета радуги. Но только у живой форели.

Кот открывает коробок и слегка встряхивает его. Светлячок, мерцаая, летит по двору и скрывается за изгородью. Отец и сын смотрят в небо. Оно усыпано звездами.

Дедушка, отложив перочинный нож, включает радиоприемник по-громче. Льется красивая мелодия. Шумит горная речка. Стрекочут кузнечики. Заливисто лает соседский пес. Небо полно звезд, среди которых летит, мерцаая проблесковыми огнями, самолет. Так похожий на долетевшего до неба светлячка.

...Я до сих пор в мельчайших подробностях помню нехитрые события этих двух, казалось бы, обычных дней из моего детства, когда я открыл для себя отца. Никогда, никогда после мы не были с ним так близки... Так уж сложилась жизнь... Но тогда, в тот августовский вечер, я так остро ощутил единство и себя, и отца, и мамы, и всего мира вокруг — с восторгом единственного и неповторимого мига... И по сей день, уловив какой-нибудь ускользающий мотив, услышав запах сена, ощущив ветерок с реки, я словно заново испытываю легкость первого дыхания жизни.

Морская душа

...Мне три года. Или четыре. Но не больше. Я проснулся, но не тороплюсь вылезать из-под одеяла — «берлоги». Холодно в доме. Лежу, закрыв глаза, и слышу стук отцовского топора во дворе. Из кухни раздается шипение

и сладковатый дух — это мама готовит единственную кашу, которую я люблю — мучную. На воде, молоко терпеть не могу, бр-р-р...

Весёлый отец заполняет собой комнату и вываливает охапку дров возле округлой и высокой — под потолок — черной печи. И, помню, тут же звонит телефон. Забыв о холоде, вскакиваю с кровати: больше всего на свете люблю мороженое в брикетах, снег, смотреть мультфильмы и сказки по телевизору в бабушкиной половине дома и — говорить по телефону.

— Котик, это ты? — спрашивает меня тяжёлая трубка.

— Здравствуйте, дядя Феликс, — узнаю я хрипловатый голос и ору что было сил: — Папа-а! Тебя Буту зовёт!

Отец щёлкает меня пальцем по макушке — вроде не больно, но всегда начинает чесаться кончик носа, — «Какой он тебе Буту!». Мама выглядывает из кухни с ложкой в руке, делает свои большие глаза ещё больше и, качая головой, что-то беззвучно шепчет... Но всё это не страшно, потому что сегодня — в о с к р е с е нь е! А это значит: папа не идёт на работу, мама вечером дома (она работает в вечерней школе), а по бабушкиному телевизору «Берёзка» сегодня будут мультфильмы и фильм про кузнеца Вакулу и чёрта!!!

Мыходим с папой из кино, из «Фидиуага». По мне, лучше было бы остаться дома и посмотреть телевизор. Да ещё и не очень хорошо было видно экран из-за сидевшего впереди высокого и широкоплечего Зебо, соседа, живущего в переулке, недалеко от нашей улицы Хетагурова. Но отцу очень хотелось показать мне свою любимую кино — «Великолепная семёрка».

— Папа, а вот когда этот... ну, лысый...

— Крис.

— Да, Крис. Помнишь, он выстрелил и сказал, что это его худший выстрел? А что такое «худший»?

— Самый плохой... Словом, неудачный, Кот.

Мы идём в магазин, там длинная очередь за мясом, лёгкими, печенью, говяжьими ножками и требухой. Отец занимает очередь за усатым грузином, похожим на Серго Закариадзе в роли Махарашвили-отца, и мы вместе с подошедшим дядей Феликсом — Буту идём к соседнему ларьку с пивом и лимонадом.

— Хорз бағәны у («Хорошее пиво»), — одобрительно выдыхает дядя Феликс, одним махом осушив полкружки.

Отец аккуратно сдувает пену, делает большой глоток и подтверждает:

— Баэззы! Пиво — что надо. Свежее!

Я пью лимонад «Буратино». Он холодный и шипучий, бьёт в нос, не давая сделать больше двух глотков подряд...

Именно о таком лимонаде в начале 80-х скажет сосед Шота — тренер по акробатике — за партией в домино на нашей тогда ещё мирной улице, ностальгически цокая языком: «Э-э, цыннати исети лимонати ихъо, ро да-левди, икве амоабухъинебди!» («Э, вот раньше был лимонад так лимонад: как выпьешь, так и отрыгнешь немедленно!»).

За соседним столиком пристраиваются с пивом сосед Зебо с приятелями. Зебо в широченных брюках «клёш», из-под расстёгнутой рубашки видна майка с синими полосками. Один из приятелей, коренастый и невысокий, всё время подначивает Зебо. И когда он, изображая пение с микрофоном, затягивает фальцетом: «— Эй, моря-як! Зачем сошёл на берег?», Зебо вдруг молча берёт за грудки приятеля, легко отрывается от земли так, что тот начинает смешно сучить ногами в воздухе и, глядя ему прямо в глаза, внушительно и как-то с грустью произносит:

— Это тельник, понял? Это — морская душа... Понял?

— Зебо, шәй ма, бамбәрстон... Ма райдай, бамбәрстон, раст нәе уыдтаен, хатыр... («Зебо, я понял, ладно, ну... Не начинай, я всё понял, был неправ, прости...»)

Появляется «отец солдата» — подошла наша очередь в магазине.

— Во-о-от, бичъо, — улыбаясь в усы, обращается он ко мне с интонациями знаменитого советского киногероя. — Хе-хе, будиши завтра рано утром хаши куша-ат: гариачи, вкусни, с чеснó-о-ком...

...Последнее, что я вижу, уходя: Зебо прощается с компанией («Шәй, уәдәе, хорзыл амбәлут, ашыдтән аз ...») («Ладно, всего хорошего, пошёл я...») и идёт в брюках-клёш, своей широкой, слегка раскачивающейся «флотской» походкой мимо здания обкома, в сторону улицы Хетагурова. С морской душой под стареньkim бушлатом.

Океан в резиновом сапоге

В первом классе я не любил: огромный свой школьный коричневый портфель — раз! Серые шерстяные — колючие! — почти девчоночки рейтузы — два! И резиновые, до колен, белые с красной каймой, сапоги — три!

И ещё — о-о! — я терпеть не мог эти репетиции хора в Доме пионеров по понедельникам.

И надо же было в тот пасмурный сентябрьский понедельник так совпасть всем четырём ненавистным мне вещам!

Но всё началось ещё в обед, когда на перемене мы объелись принесённой Нариком воблы. Весь урок умирали от жажды, а потом, на следующей перемене мы — Нарик, Мишка Ханикаев и я с Валиевым Эмзаром по кличке Вождь — понеслись пить лимонад в киоске напротив школы, почти на углу улиц Исака и Ленина. Потом, уже перед самым хором, хлопнули ещё по бутылке «Буратино».

И зачем я полез на самый верхний ряд хора, да ещё и встал в самую середину?! До сих пор не могу понять...

Первой мы репетировали бодрую пионерскую «Взвейтесь кострами, синие ночи!». Под неё можно было даже пританцовывать — позволял темп — и это вселяло в меня надежду на то, что я удержу рвущийся наружу лимонад до окончания репетиции.

Следом настала очередь песенки на стихотворение Коста про птичку, которую изловили дети, уговаривают её поселиться в клетке, соблазняя сътой жизнью без забот и тревог. Тут дело пошло не так резво: девочка из первого «А», исполнявшая партию птички, от волнения забывала слова и Заур Николаевич, наш учитель пения, то и дело, мило улыбаясь, останавливал «птичку», кивал тётеньке у фортепиано, в высоких лакированных сапогах, обтягивающих её мощные икры, — «Маэстро!» — и всё это продолжалось до бесконечности.

Беспокойство во мне нарастало с каждым многократно повторяющимся куплетом.

Наконец утомленный хор выдохнул, отпуская птичку восвояси:

Атәх, цу! Да фәндаг раст!
Цәр дәхи фәндийаг!

¹ Ну, так бог с тобой — лети! / И живи на воле!.

И тут, когда Заур Николаевич объявил, что, мол, теперь, коллеги, репетируем «Бухенвальдский набат» и по обыкновению выразительно посмотрел на тётю в высоких лакированных сапогах, я, с тоской огляделась вокруг с высоты третьего ряда, понял, что сухим отсюда уйти мне будет непросто...

Надо сказать, что я держался до последнего. Дрожа коленями от напряжения, вытянул первый куплет, а это — чёрт возьми — совсем не шутки: тот, кто знает эту песню, тот понимает, что авторы сочинили её величественной и исполненной трагизма, а значит, спешка тут неуместна изначально. Когда мы допели до середины второго куплета, лоб мой покрылся холодной испариной, но я всё ещё терпел.

Но вот хор грянул:

Слышите громовые раскаты?
Это не гроза, не ураган —
Это, вихрем атомным объятый,
стонет океан, Тихий океан.
Это стонет, это стонет Тихий океан!

«Целый Тихий океан воды... Льётся, шипит и плещется... Всё, мне конец. Сейчас я опозорюсь и все это увидят. И она тоже увидит этот мой позор. А потом меня исключат из октябрят. И уже никогда не примут в пионеры. Ни-ко-гда...!»

То, что недавно было лимонадом «Буратино», бесшумным теплом позволилось по моим окоченевшим от ужаса ногам в чёртовых серых рейтузах.

«Берегите! Берегите! Бе-ре-ги-те ми-и-ир!» — хор воодушевлённо спел финал и ряды стали распадаться. Поток тепла прекратился и еле слышно захлюпал в ещё минуту назад ненавистных, а теперь — в спасительных высоких резиновых сапогах, белых с красной каймой. Я сообразил, что мне нужно держаться в толпе и добраться до моего большого коричневого портфеля...

...Нет, ребята, конечно, идти домой по Пионерскому парку, хлюпая влагой в резиновых сапогах и прикрывая на всякий случай рейтузы школьным портфелем — удовольствие ниже среднего, согласен. Но ведь именно они, нелюбимые мною вещи, спасли меня, первоклассника, от неминуемого позора тогда, сентябрьским вечером.

И вы — первые, кому я рассказал о той репетиции.

От всех последующих, кстати, мне удалось под разными предлогами увиливнуть...

Муж моей красивой тёти

Тётя Джульетта, мамина младшая сестра, была замужем за грузином. Они поженились, когда Джулле только исполнилось девятнадцать, а он, тридцатилетний, уже рассекал по Тбилиси на 21-й «Волге» молочного цвета. И неудивительно, что как-то раз, когда мне было года три или четыре, встретившись с шумным, казавшимся мне великанином, Шалвой, я, в ответ на его дружелюбное «Привет, Котько!», весело ляпнул: «Здорово, Старый Хрыч!». После долгой паузы ошеломленного моим приветствием Шалвы последовал взрыв:

— О! О! Вот! Ага-а! Я догадываюсь, от кого ребёнок слышит это — «старый хрыч!». Вы все меня не любите! А Жанна — я это знаю точно — меня ненавидит! Но разве я, Енукидзе Шалва, заслуживаю такого отношения к себе? А?!

Моя мама, глядя в пол, уверяла «престарелого» мужа своей любимой сестры в обратном. Впрочем, делала она это, надо признать, не слишком убедительно.

Я любил его. Мне нравилось, что он был большой, грузный, но одновременно очень проворный и пластичный, похожий на Гиглу, одного из трёх друзей, дорожных рабочих из короткометражек, снятых в 70-х по сценарию Резо Габриадзе, и на хозяина «Харчевни “Трёх Пескарей”» из фильма про Буратино: на обаятельного Баадура Цуладзе, словом, похожий...

Да, он был не прочь при случае ввернуть, подтрунивая, какой нибудь анекдот про осетина-милиционера, но делал это беззлобно. И мне так отчётливо запомнилась сцена на трибуне стадиона 3 октября 79 го, когда тбилисское «Динамо» в одни ворота обыграло «Ливерпуль» 3:0. Ликование Шалвы прервала реплика одного из сидящих рядом болельщиков: мол, всё хорошо, но лучше бы первый гол забил не осетин Гуцаев, и пенальти добыл не он же, а кто то из «своих». Подпрыгивавший от радости Шалва разом застыл и уставился на болельщика озадаченно:

— Кто ты? Кто ты такой, скажи мне?

— Не понял... Человек я.

— Нет, ты — не человек, — неожиданно спокойно и не повышая голоса, произнёс муж моей красавицы тёти. — Ты даже не скотина...

Болельщик поспешил раствориться в ликующей толпе.

Как-то раз я приехал получать диплом за победу на республиканской олимпиаде по русскому языку и литературе. Шалва поздравил меня и выдал десять рублей: отметишь, мол, победу с ребятами, на аджарские ха-чапури с водой «Лагидзе» и на фуникулёр хватит. Но я напоролся на магазин «Политическая книга» неподалеку от филармонии и притащился вечером, навьюченный парой десятков книг. Шалва поперхнулся чаем, откашлялся, серьёзно посмотрел мне в глаза, перевёл взгляд на тётю, хмыкнул и изрёк:

— Ан агвшенебс, ан аканчательно дагвангревс! Мол, есть у нас два варианта: либо этот парень принесёт нам процветание, либо погубит — раз и навсегда.

...В последний раз я оказался в Тбилиси проездом, по работе, в 97-м. Заехал к тёте. И сердце моё сжалось: Шалва был очень плох, лет пять, как почти полностью парализован после инсульта. Вспомнил моего отца, заплакал.

— Помнишь, Коты́ко, как мы с Аланом приехали к тебе в Москву? Надо же, всего лишь десять лет прошло с тех пор, а кажется, в какой-то другой жизни это происходило... Той страны нет, Алана нет, от меня уже почти ничего не осталось и скоро тоже не станет совсем...

Вдруг он встрепенулся.

— Слушай! Ты ещё куришь? Не бросил, а? У меня в шкафу целый блок «Космоса» припрятан, несколько лет уже лежит, хочу покурить иногда, но Джуля не разрешает... Пропадёт ведь, жалко. Албат, мogenatра тбилисис «Космоси», а, бичъо? Соскучился, небось, по тбилисскому «Космосу», парень?

...В такси я распечатал блок, достал пачку, вскрыл, зубами подцепил сигарету и, не глядя, чиркнул зажигалкой. Сигарета сильно горчила, вся была в разводах плесени. Пропало всё-таки курево. Пропало, Шалва Семёныч. Отсырел табак. Не покуришь...

В вечернем метро

В вагоне было тесно, шумно и пёстро. Тут был и фактурный бодибилдер, и две подружки — изящные, длинноногие, с походкой балерин, и яркий индус в чалме, и рыжая девица в майке с надписью «*Virginity is curable!*» («Девственность излечима!»).

А потом вошла женщина в стильном платке и с красной сумкой в руках и мгновенно завладела всеобщим вниманием. Не мог оторвать от неё взгляда и я: сколько ей — семьдесят пять, восемьдесят, больше..? Удивительная гармония возраста, женственности и благородства...

Подтянутый пожилой мужчина — явно с Кавказа — немедленно встал и галантно уступил место.

— Благодарю вас! — неожиданно низкий голос и необычная, несколько удивлённая интонация.

Кавказец мгновенно помолодел лет на двадцать, проворно застегнул верхнюю пуговицу белоснежной рубашки и, коротко взглянув на своё отражение в окне, указательным пальцем лихо провёл по аккуратным — цвета соли с перцем — усам.

«Эффектно стареет женщина», — рассыпал я шёпот одной из балерин, стоящей в шаге от меня. Что-то неуловимо изменилось в вагоне. Хотелось читать стихи, говорить всем подряд комплименты и улыбаться.

Последнее, что я выхватил взглядом, выходя на своей станции: индус в чалме, слегка тараща чёрные, навыкате глаза, читал, шевеля синеватыми губами медицинское откровение на майке рыжей визави.

Двери захлопнулись, поезд тронулся, но я сколько мог шёл за ним, вглядываясь в вагон и зачем-то стараясь запомнить замелькавшие размытые фигуры моих мимолетных спутников и заранее зная наверняка, что — да, они останутся в моей памяти надолго.

...А на единственном, наспех сделанном снимке — так жаль! — не видно прекрасных глаз. Они, как и стильный платок — изумрудного цвета.

Канапе с королевской креветкой

...Одна женщина, которую какое-то время я даже любил, мне как-то сказала, мол, как же это прекрасно — умереть в одно мгновение, счастливой, *не понимая*, что ты *умираешь*! Вот так — исчезнуть для самой себя!.. Простите, но тогда это же будет не смерть, а чёрт знает-что... Мурá какая-то: умереть, не осознавая, что умираешь... Для меня нет ничего страшней и ужасней этой мысли: умереть, не осознавая...

Александр Пятигорский, философ

...С того дня прошло немногим более месяца. Если быть более точным — тридцать девять дней. Если быть точным предельно, — тридцать девять дней и сто четырнадцать минут. Если кто-то считает, что минутами можно пренебречь, то мне так не кажется.

Я посчитал потом — это было нетрудно — с момента окончания фуршета после церемонии награждения призами кинофестиваля до моего звонка в «скорую помощь» с эскалатора станции метро «Лубянка» прошло 26 минут.

Я ехал вверх по эскалатору к выходу на улицу и ждал, когда ответит оператор. Мне не нужно было выходить на Лубянке, просто я понял, что

на пересадку на красную линию и тем более домой я не дойду и не доеду: в считаные минуты веки отекли, тело зудит, а с душившим меня бронхоспазмом неправлялась шестая доза аэрозоля, — напротив, с каждой секундой дышать становится всё тяжелее. И начинается внутренняя паника. Бросаю взгляд на экран смартфона — 23 процента. Оператор отвечает в тот самый момент, когда я, хватая воздух ртом и считая ступени, ощущаю на лице снежинки.

— У меня почти астматический статус... Вдоха почти нет, выдоха нет практически...

Следует секундная пауза.

— Где вы находитесь? Адрес.

Я делаю три или четыре шага вперёд к зданию напротив и щурю глаза.

— Мясницкая, дом 6, дробь...

— Выход к «Библио-Глобусу»?

— Да...

— Соединяю со «скорой»...

— Док, я не могу дышать и говорить...

— Бригада выезжает. Ждите.

И в то же мгновение «умирает» мой смартфон. Разряжается на фиг. Как?! Ведь было целых 23 процента зарядки несколько минут назад...

Паника накрывает меня. «Какой ещё знак тебе нужен, идиот, чтобы ты понял: это *всё*...»

Я ставлю сумку и цветы на парапет, опираюсь на него локтями, пытаясь хоть как-то дышать. Уже совсем темно, мокрый снег. И пробка, безнадёжная пробка. «Они будут ехать минут 20-30, в лучшем случае... Для меня сейчас это — вечность...».

Сильно стучит в висках. Я ощупываю вздувшиеся вены и вижу в свете фонарей свои ладони, пальцы: они синего цвета. Качнуло. Хватаюсь за скользкую холодную отделочную плиту. Странно, но — успокаиваюсь. «Этот букет... Вот и положат его мне в труповозке на грудь». Становится смешно. Кашель блокирует последние судорожные попытки вдохнуть. Но мне уже совсем не страшно. Проносится, как на перемотке, короткий ролик с YouTube, где Александр Пятигорский говорит о том, что для него нет ничего страшнее, чем умереть внезапно, не успев осознав того, что умирает. Или во сне, к примеру...

«А ведь за этот чёртов год ушли люди, с которыми я говорил по телефону, списывался или встречался чуть ли не каждый день. Важные для меня люди, близкие. Хасан Парастаев... Серёжа Слепцов... Есиев Серёжа...»

С Хасаном, двоюродным братом моей мамы, мы вспоминали моё детство, его юность в Джаве — он был старше меня на восемь лет. Красавец, шевелюрой и чертами нервного лица походивший на молодого Блока, а торсом пловца — на Джонни Вайсмюллера. В конце января он попал в реанимацию с ковидом, разговаривал бодро с мамой по телефону, а спустя несколько дней его не стало.

С Серёжей Слепцовым мы вспоминали 90-е. Он переболел ковидом и мы встретились на Цветном бульваре. Его — здоровяка, красавца, бывшего боксёра — мучила одышка. «Кость, давай кофейку выпьем, мне нельзя, но очень хочется...» Мы сидели у фонтана с клоунами, Серёга пил кофе с круассаном и улыбался солнцу, а через две недели умер от инсульта в больнице. Успел ли он осознать, что умирает?..

С Серёжей Есиевым мы говорили о будущем: о Вселенной, о Бесконечности, о неизведанных мирах. В современных реалиях ему было тесно и откровенно скучно. Как-то вечером мы долго беседовали по телефону, а в ночи я отправил ему на почту сценарий фильма, который он так ждал. Но его большое сердце в этот час уже не билось...

Перед глазами всё поплыло.

«А ведь это удача, раз уж такое дело, быть в полном сознании. Сколько я тут уже ловлю ртом выхлопные газы? Двадцать минут? Полчаса?»

С каким-то странным злорадством я смотрю на мокнущий букет. Боковым зрением отмечаю, как на меня надвигается что-то большое, и слышу визг тормозов, а затем откуда-то издалека веселый голос:

— Ну, что, у вас недокомплект: букет вижу, а где же кошка с авоськой апельсинов? Дойдете сами до машины?

Он один, без фельдшера. Я киваю, беру с парапета сумку, оставляя мокнуть цветы.

— Не отключайтесь только. Минут пять хотя бы. И всё будет хорошо.

Я стараюсь, не отключаюсь. Гормоны, капельница, давление, сатурация.

— Сатурация... Сколько?

— Нормально, — после секундной паузы отзыается он, но я успеваю заметить — 72.

Кардиограмма, сидя. Лежать нельзя, задохнусь. Появляется, наконец, мокрота.

— Ну, вот, даже порозовели маленько. А то были как баклажан. Синенький. На что аллергическая реакция пошла?

— Похоже, сочетание нескольких факторов: сначала креветки. Королевские. А потом взял в руки свежий номер газеты со своим интервью. А у меня аллергия на типографскую краску.

— Ишь, ты! Креветки королевские! Да вы гурман... Едем в больницу, в Давыдовского.

— Доктор, а сколько вы ехали ко мне? Минут 40?

— Да вы что? Около пяти минут. Мы же рядом тут, на Яузском бульваре. 21-я подстанция...

Из приемного отделения выкатывают кресло, и я, стараясь не сбить дыхание, усаживаюсь в него. Доктор ставит мне на колени сумку с призом и... букет.

— Я же оставил его там...

— Ну, а я вернулся, подобрал. Вон он какой нарядный!

— Док, как вас зовут?

— Алексей.

— А фамилия?

— Сложная фамилия, не запомните.

— А всё-таки?

— Ну, Кузнецов...

— Главное, что редкая.

— А вы — язва...

— Ну, откачали на свою голову, теперь — терпите!

P.S. Александр Моисеевич Пятигорский умер в своём доме в Лондоне от сердечного приступа, похоже, так, как и страшился умереть — не успев осознать... Говорят, смерть наступила мгновенно.

Псалом Коста

...С самого рождения я жил на улице, названной его именем. И как раз имя-то, странное это имя, не давало мне покоя. Костахета... Почти ежедневно мы прогуливались с бабушкой мимо сквера с памятником ему, и меня так и подмывало выяснить, почему фамилия у нашего поэта какая-то неосетинская — Гуров... Но Бог миловал, выяснить я так ничего и не

решился, а когда стукнуло четыре, вместе с умением читать мне был явлен ответ на табличке фасада нашего дома.

... В жизни осетина многое может меняться, но есть вещи привычные и неизменные, среди коих — «наше всё» — Коста Хетагуров. Он очень разный, многомерный и... бесконечный, незашоренный, внутренне совершенно свободный человек. Как Вселенная, которую он почитал своим Отечеством. Эту хрестоматийную формулу ходульно цитируют, как правило, не принимая во внимание хотя бы две предыдущие строчки его стихотворения «Я не пророк....». Относительно недавно я поразился ещё одному своему «детскому» открытию: мощной религиозной силе и прозрачному смысловому родству последней строфе стихотворения Коста и Псалома 26, или Псалома Давида...

... Когда бывает нелегко, слава Богу, можно читать по памяти Коста. И отступают суета и страх, сердце наполняет покой, а разум — порядок и осмысленность...

...Причём толпа? Ничтожная рабыня
Пустых страстей — дерзает пусть на всё!
Весь мир — мой храм, любовь — моя святыня,
Вселенная — отчество моё...

Псалом 26

Господь Просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся?

Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? (...)

Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на Него аз уповаю...

... В моём сердце, в моём воображении уживаются, дополняя друг друга, и тот Коста, что уже восемь десятков лет стоит в центре Цхинвала, и тот, что сидит, задумчивый, на скамеечке во Владикавказе. И каждый из них мне всё ближе, всё роднее с течением дней....

Гуру монтажа и русского мата

... Защите моего дипломного фильма предшествовал этот короткий, но эмоциональный диалог:

— Ну, и что ты хочешь мне сказать?

— Владимир Алексеевич, признаю: я был неправ, более того, я — идиот!

— Старик, охотно верю, хе хе... Но то, что ты не ходил ко мне на занятия последние несколько месяцев — это твоё личное дело...

— Сейчас не об этом, — иду я ва-банк. — Давайте так: вот-вот начнётся показ моего фильма. Если он вам реально понравится — вы прощаете мне прогулы и «хвосты», и ставите «5», — выпаливаю я, удивляясь собственной наглости. — Если же фильм оставляет вас равнодушным, не говоря уже о том, что он вам не понравится, тогда всё, хана, диплом мне не нужен — я не возьму его, даже если все мастера будут в восторге!

— Старик, прекращай, на фига (тут следует слово позабористей) мне этот юношеский максимализм...

— Нет, это для меня принципиально важно, — не унимаюсь я.

На показе он уронил скучную мужскую слезу. Уже потом, после защиты, после лестных слов от легендарных режиссеров и сценаристов в мой адрес, он, сам уже давно легенда, попивая пиво в Доме кино, куда мы отправились с ним и с Пашей, всё качал головой, приговаривая: — Не, ну как же ты меня нае...л в сцене сна главного героя, там, в кухне, а?! Я до

последнего думал, что это реальная сцена! Купился! Молодец, молоде-ец... Классное кино, классное, старик...

Я смотрел на него, слушал и был счастлив весь этот бесконечный вечер.

Время от времени вижу во сне, как прихожу на занятия по монтажу и приношу на его суд очередной экзерсис — снятую, как под копирку, сцену из любимого «Лапшина», там, где после неудавшегося самоубийства Ханина вваливается домой пьяный и злой Окошкин. И всякий раз моему триумфальному показу что-то препятствует: то техника откажет, то вырубается свет... Холода от ужаса, я слышу во сне, в кромешной темноте, этот его голос, эту речь с характерным матерком, звучащую как музыка, и.. просыпаюсь.

Градский — может!..

Памяти Александра Градского

Как то раз в Тбилиси, году в 1977-ом, я оказался в гостях в компании приятелей-меломанов: моего двоюродного брата Гии, которые, уже охрипнув от споров, составляли пятёрку лучших рок-вокалистов всех времён и народов, выбирая между Плантом, Ковердэйлом, Байроном, Гилланом, Ронни Джеймсом Дио, Холдером — время от времени в качестве доказательства то бережно опуская иглу на виниловые диски, то врубая на полную мощь катушечный магнитофон...

Я уже не помню, как сложился хит-парад, помню только, что кто-то из ребят презрительно фыркнул, мол, в Союзе никто и рядом не может встать с грандами рока.

— Градский, — по своему обыкновению грассирия, вдруг произнёс мой кузен Гия. Затянулся сигаретой, длинно выпустил дым и повторил: — Градский может!

Несколько долгих мгновений в накуренной комнате висела тишина. И потом, один за другим, все уважительно закивали: «Градский — да! Градский — может...»

Сын юриста, с которым было весело

Памяти Владимира Жириновского

Как-то в мае 1988-го я был приглашён в гости к приятелю, одному из пионеров кооперативного движения в малом бизнесе, на его квартиру, располагавшуюся в мансарде старого дома на улице Герцена, ныне — Большая Никитская.

— Старик, я познакомлю тебя с интереснейшим человеком, — почти прошептал приятель. — Его ждёт огромное будущее! Думаю, он станет президентом страны...

Я ехал со съёмки, задержался и добрался до мансарды, когда гости, а было их пятеро или шестеро, угостившись ферганским пловом и шашлычками из печени барашка с курдючным салом, разомлевшие, пили 95-й узбекский чай с кусковым сахаром и внимали человеку лет сорока, в фисташковом пиджаке и галстуке чуть на сторону. Он был обаятелен, остроумен и потлив, рассказывая о том, как на днях прошёл съезд партии Валерии Новодворской «Демократический Союз», на котором он выступил с речью.

— Они все слушали меня, разинув рот, — запомнилась мне его фраза, которую, впрочем, он произнёс как-то без энтузиазма, с интонациями Остапа Бендера в исполнении Сергея Юрского в «Золотом телёнке».

Мы вышли во двор, был тихий московский майский вечер.

— Вы говорите, знаете пять языков? — обратился он ко мне. — Похвально, похвально... Вот в вас пятеро и сидят, со своими характерами, мироощущением... — И почти без паузы, как бы самому себе: — Нет, нечего Жириновскому там делать: скучно у них, предсказуемо, глупо... Тоска! Своё надо затевать, своё дело, большое! Чтобы было и умно, и весело!

Так он и сделал: основанная им вскоре Либерально-демократическая партия Советского Союза в 1992-м была переименована в ЛДПР, в апреле и — тридцать лет тому назад.

«Умно и весело»... Конечно, он был человеком незаурядным, ярким. Умным и расчёtlивым. Искренним. Очень разным. Живым. И да, конечно — с ним, единственным из всего российского политического бомонда — было весело. А без него — уже сейчас оглушительно пусто.

«Не относись к себе слишком серьёзно...»

Памяти Мастера

Поначалу он был со мной на «вы».

— М-да, — этот его жест, когда, поджав губы, он быстро-быстро, в два-три скребка пальцами, почёсывает висок. — И зачем он сажает, этот ваш юноша, на вершине песочной насыпи цветочек? В чём глубокий смысл этого этюда?

— Этюд посвящён планам и ракурсам, — объясняю я, теряя кураж. — А юноша просто сажает цветок, да. Что, нельзя? Только полезные огурцы или, скажем, кабачки имеют права быть культивированными?

— Понятно, — вздыхает мэтр. — Ещё один приверженец артхауса... Кстати, я прочитал вашу «Форель», — артхаус и есть... Вам трудно будет её снять, это же первая работа, дебютная. Сложно будет организовать материал, у сценария нет жёсткой структуры, всё очень «на тоненьком»... Плюс — это же ехать придётся на Кавказ, в Осетию, искать подходящие локации — раз! реконструкция — действие происходит в конце шестидесятых — два! Выберите что-нибудь попроще, расскажите понятную историю, человеческую. Нет же, непременно нужно снять притчу...

В результате через два знойных летних месяца, отпущенных на съёмки дебютной учебной работы, я привожу «что-нибудь попроще», из Тверской области, из Конаково — «Спиридона», притчу, чёрт её подери. Накануне показа в мастерской обречённо, но твердо говорю ребятам: завтра Меньшов разнесёт меня за мой «артхаус» по кочкам, и я уйду с Курсов....

... Я помню каждое мгновение показа, это двадцатидвухминутное ожидание позора в полной тишине, которую прерывает мэтр, сопроводив своим характерным почёсыванием у виска:

— Ну, что? Высказывайтесь!

Коллеги мнутся, мол, надо поразмыслить, подумать...

— Да что тут думать?! — взрывается Меньшов, и мне хочется стать невидимым от предчувствия неминуемой катастрофы. — О чём размышлять?! Неужели вы не видите, как это тонко, точно, удивительно снято?

Он говорит ещё долго, подробно разбирая фильм, и я перестаю от удовольствия чувствовать своё тело. С этого момента он стал обращаться ко мне на «ты».

Какие же это были «качели», эти два года в мастерской Меньшова — Рязанцевой — Тумаева! Сколько тревог, страсти, переживаний они вместили, сколько счастья...

Когда почти девять месяцев, прошедших после окончания съёмок фильма «Соло», я не знал, цел ли отснятый материал — так уж получилось, — я, не выдержав, позвонил ему, приехал домой и признался, что материала нет, монтировать нечего, защита диплома — на носу... Что делать?

— Не жди, — сказал он, — снимай новый. Или набей морду тому, по чьей вине ты оказался в этой ситуации. Получи хотя бы моральное удовлетворение...

Я снял док о том, как я оказался в столь затруднительном положении и — о, чудо! — в результате съёмок этого документального расследования, материалы «Соло» были найдены. Единственным человеком, категорически не принявшим док, несмотря на главный итог — полученный отснятый материал «Соло», был Владимир Валентинович.

— Этот документальный фильм — режиссёрский подвиг, — сказал Тумаев.

— Этот фильм есть свидетельство какого-то странного «стокгольмского синдрома», Костя, — отрезал мэтр, — проявленного тобой перед человеком, которого следовало как следует отделать!

— Но тогда я бы не вернул материал, — возразил я.

Меньшов согласился с этим доводом, но... остался непреклонен.

Потом настал черёд самого «Соло», которым я защищал диплом. На предварительном показе в Мастерской он сделал три замечания: два мелких и одно — по «гамбургскому счёту».

— Финал, сцена смерти героя снята... слишком красиво. Пафосно. Нужели ты этого сам не видишь? Самоирония тебя подводит, Кость... Нельзя относиться к себе слишком серьёзно...

Я вспылил. Стал сыпать аргументами, убеждать: было жаль сцену, красиво снятую в изнурительную ночную смену, жаль было отказываться от роскошного монтажа Володи Зимина ...

На следующий день вечером я битый час сидел в кофейне и собирался с духом: нужно было позвонить Валентиничу и извиниться за горячность. Я опоздал.

— Меньшов говорит... Ну, что, остыл?

— Остыл, Владими́р Валенти́нович...

— Что собираешься делать?

— Переснимать сцену одним кадром.

— Это правильно. Запомни на всю свою долгую счастливую жизнь: никогда не спорь с критикующими твой фильм, Костя. Никогда ничего не объясняй, не опускайся до этого. Ты — режиссёр, ты высказываешься только своими фильмами...

...Полное ощущение, что воздуха стало в разы меньше...

Вот, было счастье — общаться с Человеком, знать, что он есть, что он приносит людям утешение, радость, что он в с е г д а поступает искренне, справедливо, тонко, твёрдо, красиво, по-человечески, талантливо. И вдруг — счастья этого не стало.

«...И в эту минуту ты будешь жив...»

...Я помню те дни отдельными, словно смонтированными кадрами... Вот я после баскета в Трёхзальном корпусе на Ленгорах, усталый, на 26-м трамвае. Вот захожу в ДАС, привычно провожу ладонью по полочке, хватаю телеграмму и, подходя к лифту, успеваю прочесть: «Умер наш Руслан

Иосифович». Приезжаю в общагу «бауманки» в Госпитальном переулке и сходу сталкиваюсь с весёлым Лёвой. Едем с ним звонить на Центральный телеграф девчонкам-одноклассницам: кажется, что звонок всё прояснит и отменит эти четыре слова телеграммы. Лёвкин усатый профиль в вагоне метро... Алборов часто часто моргает и бормочет:

— Он же мне как отец... А, как же так?..

...Проходит год с небольшим. На практику я приезжаю в Таллин, в газету «Молодежь Эстонии». Пролетают две недели абсолютного счастья: я балдею от города, людей, редакции, в которой работают раскрепощенные, талантливые Марк Левин, Элла Аграновская, Николай Хрусталёв, Альберт Маловерьян... Каждый день я захожу в здание, по коридорам которого какой то десяток лет назад вышагивал Довлатов... И у меня уже три большие публикации! А завтра утром я уезжаю в Пангоди, что в Тартуском районе, на Летние дни молодежи, поэтому я пораньше — лишь в одиннадцать вечера — влетаю в свой номер общежития медицинских работников на улице Оя и... на какое то время лишаюсь способности говорить.

— Извините, меня к вам подселили. Видите ли, совершенно нет мест...

Он говорит на очень правильном русском с классическим эстонским акцентом.

— Полагаю, что я не побеспокою вас более трёх дней. Ещё раз извините. Вы так на меня смотрите...

— Нет, что вы, — ко мне возвращается дар речи. — Просто вы невероятно похожи на моего школьного учителя математики, Руслана Иосифовича. Просто одно лицо...

— Ха! — радостно восклицает эстонец. — Сейчас вы удивитесь ещё больше: я преподаю математику в школе в маленьком городке!

...Стрижка «ежиком», улыбка, которая может совпадать с гримасой, означающей попытку предельно сосредоточиться, походка — ступнями несколько наружу, — сходство было каким-то мистическим. Мы разговорились, выяснилось, что Велло — так его звали — приехал на консультацию к кардиологам. Я так и не смог выдавить из себя, что у его цхинвальского коллеги и ровесника, с которым они так похожи внешне, в сорок два и чуть больше года тому назад остановилось сердце.

— У меня небольшая проблема со здоровьем, — вздыхает Велло. — Дело в том, что с недавних пор двум сердцам, которые находятся у меня за грудиной, стало тесно друг с другом...

— Не понял... У вас *д* в *а* сердца?!

— Конечно, — буднично подтверждает математик из Вильянди с улыбкой Руслана Иосифовича так, словно речь идёт о каком-то банальном аппендицесе.

...Я уже не застал Велло в номере, когда спустя четыре дня вернулся из командировки. Консьержка, путая эстонский с русским и почему-то вставляя немецкие слова, рассказала, что моему соседу по номеру на следующий день после моего отъезда внезапно стало плохо. «Скорая» приехала быстро, но помочь не смогла.

Теперь, когда большая часть жизни давно прожита, я понимаю, что именно делало нас с Русланом Иосифовичем *близкими людьми*. Возможность внутреннего диалога с ним. И потребность в нём, в диалоге, в разговоре на равных.

— Котик, кого из писателей-фантастов ты считаешь серьезными парнями?

— Ну, серьезных хватает, Руслан Иосифович. Гаррисон, Шекли, Азимов...

— Но любимый у тебя Брэдбери. Не зря же ты его цитируешь в сочинении на олимпиаде...

— Вы читали моё сочинение?!

— Да. И не без удовольствия. «Каждый человек должен что-то оставить после себя. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чём после смерти найдет прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на выраженное тобой дерево или цветок, и эту минуту ты будешь жив...»

— О, вы меня уже цитируете...

— «Не надо считать себя фигурой, равной Черчиллю, Штирлицу! (широкая «фирменная» улыбка — оскал). Я цитирую не тебя, а Брэдбери, которого ты вынес в эпиграф...

...Эта возможность вести диалог не только сохранилась, но приобрела с годами новое качество. И иную, ещё более дорогую, цену. Сегодня я старше их на четырнадцать лет, двух математиков со стрижками «ёжиком» и походкой ступнями немного наружу... И с каждым днём наша встреча становится ближе.

Мой Спитак

...На третий день после землетрясения мы вылетели военным бортом из «Чкаловского» и, приземлившись по пути для дозаправки на тогда ещё наше базе в Вазiani, в паре десятков километров от Тбилиси, наконец, оказались в аду на земле. Ни до, ни после мне более не доводилось видеть столько людского горя. Весь Ленинакан был заставлен тысячами гробов — чёрных и красных.

Матерь Божья, сколько их было... Двадцать тысяч солдат сутки напролёт разбирали завалы, вызволяя из-под бетонных плит живых и доставая на морозный воздух мёртвых, разорванных на куски. И в ушах стоял женский плач и глухой мужской вой. Все часы в городе остановились, показывая одно и то же время — 11 часов 41 минута. Ровно тридцать секунд ушло на то, чтобы превратить в руины две трети Ленинакана и полностью разрушить Спитак, убив десятки тысяч людей в полдень декабрьского понедельника: в школе, в поликлинике, на фабрике, в магазине, дома... Тем, кого толчки застали на улице — повезло?...

На четвёртый день мы с оператором Витей Авдеевым снимем, как, дождавшись военной техники и итальянских спасателей, из-под плит помогал доставать жену и двух своих дочерей совершенно седой армянин лет сорока, с немигающим взглядом. Он прижал, стоя на коленях, дочерей — то одну, то другую, помладше — и из груди непрерывно раздавался жуткий стон.

В Спитаке мы сняли девушку, учительницу русского языка, которую достали из-под завалов на шестой день, окоченевшую, но живую, с отдавленными бетонной глыбой ногами. Она слабо улыбалась. Мы попрощались, решив проводить её вечером. К вечеру мы израсходовали плёнку, а снимали тогда мы, да, на французскую кинокамеру «Eclair», но нас выручили коллеги — Володя Вовненко из моей родной программы «Служу Советскому Союзу» и легенда операторского цеха Виктор Щербаков. Он почесал свой перебитый нос боксёра: «Много не дам, коробку. Зато — «Кодак», с тебя магарыч...». Мы понеслись в Спитак. Еле стоявший на ногах от усталости хирург глубоко затянулся папиросой и закашлялся: «Ушла она... Краш-синдром... Синдром длительного сдавления... Не спасли...»

В Ленинакан ехали молча. «Кодак» ушёл на разговор с психологами, едва державшими себя в руках от нечеловеческого стресса... На солдата внутренних войск, сошедшего с ума от увиденного и пережитого за эти дни...

Николай Рыжков, председатель Совмина СССР, пообещал тогда, что к 2000-му году все лишившиеся крыши над головой — это более полу-миллиона человек — получат жильё. Ни он, ни кто-то другой из нас и подумать не мог, что пройдет всего три года, и страна, объединившаяся тогда для помощи одной из своих республик в самый последний раз, попросту перестанет существовать. Совсем...

...Мне ещё около года было в нос стойким сладковатым тяжким запахом улиц разрушенных Спитака и Ленинакана, заставленных гробами, когда я умывался по утрам.

И по сей день декабрь вызывает в памяти те жуткие дни, случившиеся тридцать шесть лет тому назад, разгоняя как дым появившееся было в конце ноября предощущение новогодних праздников...

Сойка под проливным дождём

...Гия сидит на валуне у самого входа в «Голубой Дунай» и курит «Приму», сплёвывая табачины, глубоко затягиваясь и выпуская голубоватый дым и ноздрями, и аккуратными кольцами, округляя обветренные губы.

— Кот, кто тебе всё-таки больше нравится из битлов?

— Как музыкант — Маккартни, как человек — Харрисон.

— Маккартни — самый ох...ительный из всех! — обернувшись назад, щелчком выбрасывает окурок в бурлящую за его спиной Лиахву. — Знаешь же, да, что он втихаря выкупил любовные письма Джона своей первой жинке у неё — забыл, как её звать, — когда она решила их продать и заработать? Слышал, да? Выкупил, заплатил бабки, сколько она хотела, а потом сразу вернул ей по почте: с понтом, не торгуй своей памятью, чувиха...

— Красавец, да... Ну, есть известная история, когда Ринго приехал на вестить смертельно больного раком Джорджа в больнице. А у самого в другой больнице лежала дочь, тоже не жилец. Ну и Харрисон, такой, в порыве, приподнялся на больничной койке: хочешь, мол, я поеду с тобой?

Гия долго молчит, потом кивает на реку:

— Видишь, на том берегу, под скалой, мячик детский? Там, где водоворот, ну? Красный, с голубой полоской, резиновый, его дети — Гриша с Нонной уронили в Лиахву... Пойду достану.

— Так ты же его уже достал тогда, сколько лет уже прошло...

— Значит, ещё раз достану! — зло матерится он, вставая с валуна, и нервно уходит прочь, словно ввинчивая в землю пятки, как обидевшийся на взрослых ребёнок...

Мимо меня — один за другим — проходят местные — джавские — селяне, любители долгих застолий. Вот Мурик, гостеприимно зазывает проходящих мимо блондинок-курортниц: «Пойдёмте с нами, в «Голубой!» Там чушку зажарим и покушаем!» А вот Чали, мировой компанейский мужик и трудяга, пророкотав мне приветствие и помахав рукой, выходит из ресторана и, слегка покачиваясь, направляется в сторону моста...

Начинает темнеть, от реки веет прохладой, и внезапно появляется Гия. Меня охватывает ужас, какой я испытывал, когда детьми мы возвращались с ним домой от Парастаевых, ближе к полуночи, пыльной дорогой, освещаемой лишь луной да огоньками светлячков. Гия, старше меня на три года, вдохновенно и убедительно внушал мне, что отовсюду — из-за густых деревьев, от призрачно серебрящейся ленты реки, за нами пристально следит всевозможная нечистая сила, выжидая удобного случая для того, чтобы напасть... Гия не похож сам на себя: он весь седой, с ввалившимися глазами, в которых застыла нечеловеческая тоска.

Я просыпаюсь и включаю лампу над головой.

Много лет, засыпая, я безуспешно пытался воспроизвести то, что чувствовал в детстве — в тбилисской квартире бабушки и дедушки. Услышать деловитый звонок трамвая и приглушенные весёлые голоса под окнами. Сладко проваливаясь в сон, видеть причудливые световые фигуры на стенах и на потолке от фар проезжающих машин, а потом вдруг вскочить и заскользить по паркету в ванную, где чёрным, белым, голубым и жёлтым выложена кафельная мозаика, какую я больше нигде в мире не встречал! Вернуться в кровать, чтобы меня чмокнула в щеку Джулля, любимая тётка, Гийкина мама: «Спи, Котик». Сплю, Джулля, сплю... Предпоследнее, что я вижу всякий раз, засыпая в этой квартире — бордовые, алые, бирюзовые и золотые узоры ковра над моей кроватью. А последнее — физиономия Гии, который принимается меня щекотать, а потом, выдворяемый из комнаты Джулей, успевает прошептать: давай устроим похождения по квартире, когда все заснут — ночью всё выглядит по-другому!

И запахи этой квартиры я тщетно пытался воссоздать: не получалось, хоть я и знал точно, что там пахло бабушкиным корвалолом, нафталином из шкафов, греческими орехами, ванилью, голубым пажитником, свежим хлебом и чем-то ещё неуловимым. Вот в нём-то и было всё дело...

Я выключил свет, почти сразу провалился в сон и тут же увидел наш залитый солнцем двор в Джаве: бабушку у плиты на летней кухне, дед у колодезного журавля, ведро за ведром наполняющий водой огромную алюминиевую бочку, Гриша и Нонна в ней визжат и плещутся им лет по пять, наверное. Мы ловим на транзисторном приёмнике «Монте-Карло» на арабском, Гия его любит слушать: и музыку, и рекламу всякой всячины — сигарет, джинсов и какой-то непонятной, но очень навязчивой и смешной «Лявашири, лявашири»...

— Гия, что с тобой?! Что с лицом, ты выглядишь на девяносто лет... Почему ты так исхудал? Ты стал похож на какую-то птицу, большую и грустную, как будто она сидит под дождём и мокнет...

— Не знаю, худею и худею, ну... Хоть и ем много, Нонна вот только что мне хачапури принесла, хлеба с сыром захотелось, с колбасой хорошей... А потом — кофе захотелось, крепкий, очень крепкий кофе! Но пролил его, руки слабые, не держат. И сигаретой, знаешь, напас один хороший сделал, от души! Потом выронил её на постель, чуть не прожёг одеяло... Нонну попросил, чтобы «Мастера и Маргариту» мне принесла почитать. Но и книгу не удержу, наверно, тоже.

— Что болит у тебя, Гия?

— От моего тела почти ничего не осталось: всё сожрал диабет, ковид и этот — золотистый стафилококк...

— Красивое название у него, почти поэтичное.

— Да... А вообще, душа у меня болит, душа. Я и Жанне, матери твоей, уже сказал это по телефону.

— Она тебя любит, всегда любила. И Гриша тебя любит. И Юля... Все тебя любили и любят, брат.

— Э, ладно, ну... Слушай, — лицо его вдруг разгладилось от морщин. — Вот, ты говоришь, я на птицу под дождём стал похож, а помнишь, как меня Русланка и все джавские пацаны звали в детстве?

— Помню, конечно. Хиуа тебя звали, хиуа, брат...

— Да, «хиуа» по-осетински — сойка.

— Красивая, яркая, пёстрая птица с хохолком! Да, кстати, помнишь рекламу на радио «Монте-Карло»? Лявашири, лявашири? Это всего лишь сыр такой, плавленый, прикинь?..

— Да ну? Охренеть...

...Просыпаюсь и долго лежу, не решаясь сдвинуть мокрую подушку в сторону, пока — слышу — не приходит сообщение на вотсап. Вслепую опускаю за телефоном руку на пол.

Сообщение от Нонны.

«Гия умер».

Послесловие

...Я ходил по родному городу без малого час (а для Цхинвала это почти вечность, он, прямо скажем, невелик), не встретив *ни одного знакомого лица*. Стало как-то не по себе.

Тогда у маленького базара я купил охапку цветов, взял такси и уже через несколько минут был среди *своих*, останавливаясь перед каждым памятником, позволяя памяти плести прихотливые ассоциации с фотографиями и именами. Было тихо и тепло, и всё бы ничего, но из глаз непрерывным потоком всё лилось и лилось...

И я спустился в город, купил букет её любимых роз и зашагал на Октябрьскую. И снова всё было как в прежние мои приезды: и неспешный разговор, долгие-долгие и лёгкие, как дыхание, паузы, её улыбки, её зелёные глаза, ради которых наверняка стоило жить и за которые точно стоило бы умереть... Мария Евгеньевна, моя любимая учительница...

Она уже неважно себя чувствовала. Когда, прощаясь, вышла меня проводить и, слегка опираясь на перила, подняла руку и как-то виновато улыбнулась, я отчётливо понял, что встреча эта — последняя. И именно поэтому я опустил руку со смартфоном, не найдя в себе сил сделать снимок.

...Время от времени, раздражаясь от новояза, не опускаясь до Википедии, я достаю с полки её драгоценный подарок — словарь Даля и, как астматик, жадно вдыхающий спасительную дозу аэрозоля — а я «в теме» давно, уж с трёх лет, — прежде чем добыть нужное мне живое слово, неизменно читаю подпись, сделанную *её* рукой в таком далёком и близком 1984-м. И дышать становится легче.

Петр Воротынцев

Концерт

Рассказ

В эту мартовскую ночь Антонина Михайловна не спит. Или спит краткими урывками, судорожно глотая сон. Иногда смотрит на электронные часы, кидающие во тьму комнаты бледно-желтое свечение, и ждет, когда на циферблате появятся цифры 04:30. Именно в это время, как указано в свидетельстве о смерти, погиб Павлик.

Около шести сознание Антонины Михайловны все же уползает в сон, как вода в раковину, но уже в семь пятнадцать настигает писклявый, злобный звук будильника. Этот звон она давно хочет поменять на более приятный, но как-то всё руки не доходят. Хотя делов-то, полминуты в телефоне поковыряться. Да и есть ли разница, подо что пробуждаться, любит повторять Антонина Михайловна.

Антонину Михайловну уверяли, что Павлик ушел, не мучаясь, и только потом его тело сгорело. Не осталось практически ничего, лишь, как выразился командир, «незначительные крупицы биоматериала». В пустой гроб положили крошечный обожженный осколок креста Павлика — он неведомо как уцелел. Слово «биоматериал» поразило Антонину Михайловну и даже возмутило. Как можно свести человека со всей сложностью его судьбы до понятия «биоматериал»? Несмотря на заверения в мгновенности смерти Павлика, Антонина Михайловна мучается мыслью, что сын сгорел заживо. Каждый день эта мысль распарывает сознание. Но Антонина Михайловна приспособилась жить с монотонной болью.

Муж никогда не называл его Павликом, исключительно Павлом. Между ними клокотало взаимное отчуждение, жили они в состоянии насупленного соперничества. Антонина Михайловна старалась их сблизить, но ничего не выходило. Но похоронах Павлика муж был вызывающе безэмоционален, Антонине Михайловне даже почудилось, что он злорадно улыбается уголками тонких губ. А через год после смерти Павлика он ушел к другой женщине. Горе не сплотило, а окончательно разъединило.

О трагедии ее оповестили через неделю. Сначала узнал муж, вскоре дочь. Они долго решали, как сообщить. Готовились неделю. Антонина Михайлов-

Петр Воротынцев (1988) — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории театра и кино Института филологии и истории РГГУ. Автор статей о музыке, кино, театре и спорте, а также книг: «Чешский смех» (2018), «Джорджо Стрелер. Музыкальность как принцип режиссуры» (2012), «На сцене: история театра» (2020), «Заведение» (2023). Ведет колонку о театре и кино в журнале «Формаслов». Дипломант конкурса АСКИ «Лучшие книги года» в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» (2022), лауреат премии журнала «Дружба народов» за дебют (2022), лауреат премии имени Николая Островского (2023) для людей с инвалидностью. Живет в Москве и Праге.

на восприняла новость почти буднично, призналась, что предчувствовала. А затем закрылась в комнате и не выходила до утра. Перелистывала любимый альбом с фотографиями.

Поездка на Кипр. Единственное заграничное путешествие, 1994 год. Павлик только окончил десятый класс, впереди выпускной одиннадцатый. Машке двадцать, уже студентка. У нее на всех фотографиях недовольный, заносчивый вид, у Павлика же на лице, наоборот, выражение радостной безмятежности. Хорошая получилась поездка. Больше таких счастливых семейных путешествий не случалось.

С самого утра, когда розовым взрывается рассвет, выходили на пляж и оставались там до полудня, пока солнце не начинало прижигать кожу. По утрам на пляж прилетали пеликаны. Они важно расхаживали по песку, раскачиваясь, как беременные на последних месяцах. Попытки заснять колоритных птиц из раза в раз проваливались: от щелчка фотоаппарата пеликаны разлетались и кадры выходили смазанными.

Накупавшись, шли обедать в сирийский ресторан недалеко от гостиницы. Его держал неприветливый дядька из Дамаска, кажется, он никогда не улыбался. Но ресторан, несмотря на суворость хозяина, был всегда заполнен, кормили там невероятно. Антонина Михайловна до сих пор помнила вкус мягкайшего, как свежий снег, кебаба и прилипающей к нёбу пахлавы, ее приносили на десерт, к кофе. Местный кофе оставлял на зубах приятные песчинки мелкого помола, Антонина Михайловна пила по три-четыре чашки в день и ночью, естественно, не спала. Часов до трех лежала и думала о всяком-разном. Например, о привилегиях жизни в отеле: не надо готовить, мыть посуду и убираться. Из окна в комнату текли горячие, словно открыли духовку, потоки плотной, как ткань, жары, которая тоже препятствовала сну. А вот муж ничего, отлично высыпался. Антонину Михайловну уже тогда начинало раздражать его сопение, казавшееся каким-то самодовольным. Вскоре посапывание транспонирует в полнозвучный храп, а раздражение Антонины Михайловны — в ненависть.

Надо завтракать, хоть есть особо и не хочется. Антонина Михайловна делает очень сладкий чай и наспех сооружает бутерброды. Докторскую она нарезает виртуозно — педантичными, элегантными, тонкими слоями, не глядя на нож. А смотрит Антонина Михайловна на фото Павлика, его лицо в квартире повсюду. Павлик тоже вглядывается в маму. Какой он здесь трогательный, несчастный и возмужавший. В военной форме: уже три месяца как находится в Чечне. Улыбается на фотографии своей улыбкой, но глаза какие-то другие, резко повзрослевшие и перегоревшие.

В детстве Павлик частенько немузыкально выкрикивал: «Три танкиста, три веселых друга — экипаж машины боевой». На слове «боевой» придавал голосу шутливой воинственности. Пожалуй, песня — единственное, что связывало Павлика с военной тематикой. Оружие, битвы, полководцы — все это Павлика мало интересовало. Он был ранимым и элегичным, любил читать. Антонина Михайловна вспоминает «пение» сына каждый раз, как видит фото, и порой напевает (слух у нее отменный) озорной ритм песни.

Павлик хотел идти по журналистской или филологической стезе, но Антонина Михайловна подтолкнула поступать на экономический, надеясь, что так будет лучше. Экономистам легче заработать на кусок хлеба. В институт Павлик не прошел по баллам, и встал вопрос с армией. Бегать от военкомата принципиально не стал, муж тогда Павлика поддержал, возможно, впервые. «Молодец! Хвалю. Вырастешь настоящим мужиком», — наставлял он Павлика перед отправкой в часть. Ну а в конце 1995-го Павлик оказался в Чечне, там вообще немало срочников полегло.

По левую сторону от фотографии Павлика амулет в виде синего глаза, этот сувенир все привозят с Кипра или из Турции. Считается, что он приносит удачу. А справа икона Николая Чудотворца.

Когда темнело, на фасаде отеля загоралась иллюминация. Павлик заметил, что подсветка похожа на геометрические фигуры из «Тетриса». От вспыхнувшего свечения в воздухе проступали мельтешащие точки москаги. По вечерам в гостинице гоняли развлекательную программу. Аниматоры показывали смешные сценки, разыгрывали призы, а завершалось всё неизменным сиртаки, к которому охотно присоединялись захмелевшие к концу вечера постояльцы. Двое корпulentных англичан попытались станцевать сиртаки на столе, но их вежливо угомонили. Антонина Михайловна подсчитала за завтраком, что с момента поездки минуло почти тридцать лет, а Павлика нет, получается, двадцать восемь. Больше четверти века, огромный ров времени. В словосочетании «четверть века» ей слышится нечто фундаментальное, из учебника истории, что как бы делает человеческую жизнь менее значимой перед стихией времени. Уже нет и нескольких одноклассников Павлика, из тех, кто еще приходил лет десять назад на очередную годовщину.

После трагедии нужно было за что-то ухватиться и попробовать жить. Антонина Михайловна уволилась с работы, где все на нее смотрели то ли с сочувствием, то ли с настороженностью и стали сторониться. Особенно противная коллега вменяла Антонине Михайловне в вину, что та «излучает нехорошие, деструктивные вибрации». Новая работа нашлась неожиданно легко, рядом с домом, в частной школе для детей с ментальными нарушениями «Ромашка», она тогда только открылась. В ней Антонина Михайловна и осталась. Поначалу просто помогала по хозяйству, а со временем выучилась на дефектолога и взяла классы.

В «Ромашке» она не боялась возиться с самыми тяжелыми детьми. Вот, например, десятилетний Максюша научился умножать и делить — огромный скачок в развитии. А вот Тимур, невербальный мальчишка, недавно освоил письмо и теперь может общаться через текст — прорыв года. Про успех Тимура написали на доске «Наши достижения».

В классе Антонины Михайловны пять мальчиков и одна девочка — Ариша. Ариша, конечно, устроила перед новогодними каникулами. Сбежала с праздника прямо в платье на улицу, а Антонина Михайловна гналась за ней, поскользываясь на квадратном льду. Платье на Арише в тот день было с разноцветными блестками, и во время бега под светом фонарей оно переливалось, как елочная игрушка. Антонина Михайловна догнала Аришу на пешеходном переходе. К счастью, горел зеленый, и машины замерли в ожидании разрешения двигаться дальше. Беда промелькнула так близко. Дома проплакала весь вечер.

Антонина Михайловна допивает чай, в горло попадают крупицы нерастаявшего сахара, отчего она чуть кашляет. Можно собираться, но она медлит, любуется Павликом. И улыбается.

В последний день на Кипре отправились в мини-зоопарк кормить верблюдов. Муж всю дорогу комиковал, что обителям этого зоопарка «будет непросто доказать, что они не верблюды». Он повторил эту шутку раз десять.

Верблюды жадными зубами выхватывали плоды рожкового дерева и долго жевали лакомство с флегматичным выражением морды. Один верблюд явно переел, и его вырвало сладко пахнувшей мутной кашицей прямо на сандалии мужа. Тот, чертыхаясь, хлюпая и подавляя рвотный позыв, побежал отмыватьсь в туалет. Антонина Михайловна на обратном пути злорадно пошутила, что супруг «все-таки, наверное, верблюд». Он обиделся и всю дорогу до отеля демонстративно пялился в автобусное окно, за которым мелькали утомленные жарой шершавые пальмы. От посещения зоопарка остался сувенир — миниатюрный кожаный верблюдик песочного цвета. Все так же стоит на полке в комнате Антонины Михайловны, периодически она берет игрушку и проводит ладонью по тугой пахучей коже.

В момент выхода из дома звякает голосовое от Машки. Около тридцати секунд она спешно и несколько сбивчиво излагает, что помнит Павлика и как они классно с ним жили душа в душу. Неправда, конечно, ссорились беспрерывно, но Антоновне Михайловне все равно приятно. Правда воспоминания, обкатанного и сточенного волнами времени, порой важнее истинного факта. «Обязательно помянем сегодня Пашку, перед концертом, там отличный буфет», — завершает голосовое дочь. Кстати, про прошлую годовщину забыла, позвонила лишь на следующий день. «По поводу вечера всё тебе на почту скинула. Встречаемся у входа в половине восьмого. Так рада, что услышишь вживую, ты же их с юности обожаешь», — вдогонку отправляет дочь второе голосовое. «Обожаешь, обожаешь… А сама вечно просила меня выключить», — вступает в мысленный диалог с Машкой Антонина Михайловна.

Свежо. Еще лежит снег, он доживает своё на тенистых краях тротуара. В воздухе сияет тепло, долгожданное, радостное и осязаемое. Антонина Михайловна не спеша впускает в себя насыщенное, многообещающее весеннее утро. Осознанно проживает мгновение, как учит подруга-психолог. День предстоит трудный и ответственный. Еще месяц назад директриса предупредила, что в двадцатых числах марта ожидается комиссия. «Какие-то очень серьезные тузы из роно», — пояснила она. От их визита зависит продление лицензии. По случаю приезда комиссии подготовлен концерт. Но он в два часа, до этого обычные уроки.

Школа «Ромашка» расположена напротив пункта записи контрактников. Там всегда очередь, в основном молодые парни, реже мужчины среднего возраста. Каждый раз, проходя рядом, Антонина Михайловна жалеет контрактников, но еще более матерей и жен. Живут себе люди и не ведают, что вскоре судьба переломится с кровавым хрустом. А может, и ведают, но все равно же к такому не подготовиться.

Вот и школа. Расположена «Ромашка» в обычном многоквартирном доме, к которому пристроили специальный вход. Префектура района из года в год обещает выделить отдельное здание, но воз и ныне там. На дверях золотистая табличка: «Частное образовательное учреждение “Ромашка”», а рядом еще одна, адресованная прохожим, на ней крупными красными буквами написано: «Особенные дети могут необычно себя вести. Благодарим за понимание».

Тяжелая дверь, лестница, класс — годами исхоженный путь, давно обжитая траектория. Из детей пока Артём. Его родители, как правило, привозят первым, а забирают последним, около семи вечера. В школе он проводит большую часть жизни. Отец Артёма крупный чиновник в Министерстве финансов, а вот работает ли мать, Антонина Михайловна так и не поняла. Артём ходит туда-сюда и монотонно бубнит меняющимся подростковым голосом нечто вроде: «Та-та-та». Антонина Михайловна знает, что мальчика лучше в такие моменты не дергать, даже здороваться с ним не стоит, Артёму надо «выговориться». Антонина Михайловна спокойно раскладывает учебные материалы, а Артём интенсивно прогуливается по классу. К девяти подтягиваются другие одноклассники.

Уроки идут со скрипом, к концу недели утомились как дети, так и Антонина Михайловна. На русском она срываются на Артёма, решившего побродить посреди контрольной.

— Артём, да сядешь ты или нет уже? Сил нет никаких! У нас контрольная вообще-то, — Антонина Михайловна переходит на злой крик, но тут же осекается. — Тёмочка, сядь, пожалуйста. — Как ни странно, Артём слушается и возвращается на место.

Во время обеда Максюша проливает суп на концертные брюки. Антонина Михайловна кое-как умудряется отмыть и Максюшу, и штаны. Максюша орет и норовит огнеть Антонину Михайловну кулаком величиной с апельсин: воду он ненавидит. Родители объясняли, что страх этот тянется из дет-

ства — в три года Максюша едва не утонул, из-за кислородного голодания мозг мальчика непоправимо пострадал.

«Тузы из рено» запаздывают или, вернее, задерживаются. И без того уставшие дети дуреют. Зал (на самом деле это обычновенный класс с небольшим подиумом для выступлений) наполняется духотой и нервозностью. Артём слоняется туда-сюда, периодически он подходит к электронному фортепиано и со всей силы берет до-минорный аккорд. От громоздкого, резонансного и патетического форте Антонина Михайловна вздрагивает.

Комиссия приезжает с получасовым опозданием. Входят в ее состав двое: мужчина с неравномерной проседью и его невзрачная молоденькая помощница. В руках у помощницы блокнот, куда она бегло заносит свои наблюдения о состоянии школы. Вещает исключительно мужчина, помощница только пишет, отчего складывается впечатление, что она стенографирует речь шефа. Артём в очередной раз оглушает присутствующих минорным выстрелом, словно призываая начать концерт.

— Пожалуй, можем показать представление, подготовленное нашими детьми и преподавательским составом, — подталкивает директриса. Но начальник из рено не спешит, перед концертом ему нужно еще осмотреть столовую и классы. По школе он прохаживается с какой-то нарочитой, из-девательской неспешностью.

Концерт все-таки, хоть и с внушительным опозданием, начинается. Сперва выступают малыши первоклашки. Они невпопад лупят деревянными ложками под дерганую, в стиле хип-хоп, аранжировку «В траве сидел кузнецик». Затем дети постарше затягивают песню про маму. «Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе». Интонационное возвышение на «первое» и «главное» звучит так жалостливо, что Антонина Михайловна прикусывает губу. Сентиментальность разгоняет факт, что недавно у одного из поющих умерла мама. Далее еще пара номеров, а завершается действие выступлением главной звезды школы — Игната. Игнат способен в уме решить пример любой сложности и с первого раза фотографически запомнить музыкальный текст со всеми диезами, bemолями, бекарами и динамическими вилками. Совершить же элементарное бытовое действие: заказать доставку пиццы или ответить на телефонный звонок — для него задача трудноразрешимая. Игнат вместе с долговязой нервной учительницей музыки играет в четыре руки «Венгерский танец № 5» Брамса. Учительница ведет второй голос, время от времени экзальтированно откидывая голову, отчего ее каре пару мгновений парит в воздухе. Игнат же ответственен за главную, задумчивую и одновременно задорную главную тему. Ее он от волнения играет чуть торопливо, пару раз они с преподавательницей незначительно расходятся. Однако мелкие технические огрехи не способны помешать триумфу Игната. Доиграв, он встает и механически кланяется. Мужчина из комиссии негромко, но так, чтобы все расслышали, заключает: «Молодец». Директриса довольна, «тузов из рено» определенно удалось расположить. Их еще угожают в столовой пирожками с вишней, приготовленными поварами совместно с детьми на кулинарной студии, и члены комиссии благополучно уезжают. Антонина Михайловна видит из окна, как мужчина с артистичной элегантностью открывает дверь машины помощнице. «Наверняка спят», — думает Антонина Михайловна.

Школьные часы (на циферблате нарисована ромашка, от ее желтой сердцевины расходятся стрелки) показывают 15:45. Обычно рабочий день Антонины Михайловны заканчивается в пять, но сегодня она отпросилась на час раньше. Директриса в курсе годовщины и милосердно не препятствует.

— Ну, я пошла, — прощается Антонина Михайловна в учительской. Она уже в пальто, но без шапки, та убрана в сумку за ненадобностью.

— Вы что-то рановато сегодня, — насыпая растворимый кофе, комментирует коллега. В ноздри врывается терпкий, сухой запах.

— Да, отпросилась, вот на концерт иду, дочка позвала. Говорит, закисла ты, мам, давно никуда не выбиралась, — немного оправдываясь, делится Антонина Михайловна. — Привести себя в порядок надо, собраться. А потом еще пилить до этого зала неизвестно сколько, он же у черта на рогах.

— Ну, до понедельника тогда, — коллега, кажется, завидует раннему уходу Антонины Михайловны. Кипяток в чашку она заливает с легким, но ощутимым раздражением.

По пути домой Антонина Михайловна заскакивает в «Пятерочку», чтобы взять хлеб, немного овощей и пачку пельменей на завтра. Упаковка, обтягивающая твердые комки теста, холодит. Антонина Михайловна испытывает колющую боль в подушечках пальцев: последствия неудачного катания на лыжах в юности — вышла по-пижонски в легких перчатках.

Дома Антонина Михайловна не приводит себя в порядок, не собирается, как говорила коллеге, а сидит на диване. Ее одолевает обволакивающее, пятничное утомление. Усталая радость конца рабочей недели. Дома хорошо и умиротворенно, тащиться никуда, по правде, нет желания. По комнате размазаны слои мартовского солнца, из окна тянет свежестью, всё плохое вроде бы в прошлом. Счастья особенного не предвидится, но и ужас позади, тоже ведь немало. Дети из «Ромашки» потихоньку развиваются, у Машки все хорошо: радостного хватает, а плохое не изменишь. Стрелка часов дергается и останавливается на получасе. Антонина Михайловна осознает, что на часах четыре тридцать, и застывает в ожидании, когда секундная стрелка сделает оборот, чтобы роковое время переменилось.

В пять Антонина Михайловна все же поднимается с дивана. Застилает постель, брошенную с утра, наспех хлебает остатки борща и опрыскивает цветы на подоконнике, отчего по комнате разлетаются освежающие капельки влаги.

В шесть Антонина Михайловна вызывает такси (весь день на ногах, ехать на метро сил нет), надевает умеренно праздничную одежду и спускается к подъезду. Таксист по имени Умер (с ударением на второй слог) водит плавно, умеет поддержать беседу. В России Умер родился и считает себя русским. Говорит, что счастлив работать шофером, обожает, как выразился, кататься по Москве и гордится тем, что ездит по городу без навигации. Сейчас особенно актуальный навык, в центре навигаторы из-за опасности беспилотников глушат. До зала продираются долго, съезд на МКАД почти заблокирован аварией. Обреченно стоят полчаса. Сияющая стеклянная масса зала уже видна, до нее можно было бы и пешком доковылять, но из центрального ряда не вырваться никак. Общаться с Умером приятно, однако страх опоздать уже начинает покалывать. Антонина Михайловна усиленно облизывает губы, семена языком, как змея, и цокает: этот невроз вылезает при волнении. До пункта назначения Антонина Михайловна и Умер добираются без двадцати восемь.

— Фух, — выдыхает Антонина Михайловна.

— А я что говорил? — веселится Умер. — У вас еще времени вагон и маленькая тележка.

Антонина Михайловна с этим тезисом не согласна, почтить память Павлика до концерта они с Машкой явно не успеют. Дочки у входа, кстати, нет. До нее Антонина Михайловна дозванивается с третьего раза. «Осторожно, двери закрываются, следующая станция — “Парк Победы”» — докладывает бодрый дикторский голос в трубке.

— Ма, я скоро! Прости, пожалуйста, задержалась, — перекрикивая звук ускоряющегося поезда, извиняется Машка.

— Да как же так? Мы же договаривались с тобой помянуть Павлика, — раздосадованная и своим, и дочкиным опозданием бросает Антонина Михайловна.

Машка упрека не слышит — связь пропала.

— Ох, — вздохнула Антонина Михайловна и в задумчивости подняла глаза кверху. На темно-фиолетовом кусочке неба были отпечатаны неоновые буквы: CROCUS CITY HALL. Антонина Михайловна прошла в здание. Немного походила и полюбовалась на сверкающее роскошество сгинувших безвозвратно нулевых, а без семи восемь заняла место в зале.

Машка на концерт опоздала. За тем, как пожар истребляет здание и оставшихся там несчастных, наблюдала с улицы. Она не могла оторвать взгляд от безжалостного могущества огня, а в голове ее метались хаотичные мысли и беспорядочные воспоминания. На одном из них она задержалась. Когда самолет вылетел из аэропорта Ларнаки и в иллюминаторе показались горы с нарощими на макушках мурашками зелени, Павлик сказал: «Я хочу здесь жить». — «Да кому ты тут нужен», — съязвила Машка.

Задыхаясь от ядовитого дыма и теряя остатки сознания, Антонина Михайловна успела подумать об этой же сцене в самолете. «Ты нужен мне, — приободрила она тогда Павлика и нежно потрепала по шевелюре. — Купим виллу на Кипре и будем каждый день ходить смотреть на пеликанов». Машка иронично хмыкнула, а Павлик на секунду поверил, что все сложится именно так, и как-то беззащитно, совсем по-детски спросил: «Правда?»

Артем Морс

Остановить, обнять, запеленать, приkleить...

— Маша, — говорит он, — Маша,
Посмотри, как тихо во дворе,
это осень заварила кашу,
мы одной ногою в сентябре.

— Ваня, — отвечает, — Ваня,
что случилось, что-то не пойму...
Будто за руку меня куда-то тянет,
я не понимаю почему.

— Это осень, — говорит он, — Маша,
никуда не деться, не сбежать.
Знаешь, как бы ни было нам страшно,
надо просто это переждать.

Снег придёт и всю тоску укроет,
Ты попробуй это осознать:
осень — обещание покоя,
а зима — уютная кровать.

Закрывай глаза — увидишь море,
засыпай и слушай шум дождя.
— Ваня, Ваня, что это такое?
— Маша, Маша, это жизнь твоя.

Артем Морс (1982) — родился в Красноярском крае. Окончил филологический факультет Иркутского государственного университета, Литературный институт им. А.М. Горького. Член Союза российских писателей. Автор книг стихов «Из этого темнеющего сада» (2006), «Другими словами» (2014). Стихи публиковались в журналах «Дружба народов», «Футурум АРТ», «Плавучий мост», «Сибирские огни» и др. Живет в Иркутске.

Это что-то другое.
То ли песня,
то ли ветер,
то ли глаз синицы
смотрит в упор, не мигая.
То ли прощание, то ли прощение,
может быть, ожидание.
Или долгое возвращение.
Что-то другое.
Далёкое, но родное.
Невидимое, но живое.
Что-то такое, чему не найдётся слова.
Что-то другое, что приходит снова и снова.

Январь подробный раздробит
весь год на год вперёд.
Послушай, что там говорит
случайный гороскоп.

В передней мрак и тишина,
в чулане пыль и хлам.
Но лишь сейчас живёт страна,
лелея свой бедлам.

Как встретишь, так и проведёшь,
куда пойдёшь, зачем,
подумай, что ты там найдёшь
и что ты скажешь всем.

Молчи, скрывайся и тай,
смотри на белый свет.
А что там будет впереди?
Тяни уже билет.

Перевернётся календарь,
и распахнётся дверь...
А там сверкающая даль,
февральская метель.

Бойся или не бойся своих желаний,
а всё равно, что сбудется, то и будет.
Встретишь ли на дороге лежачий камень,
всмотришься ли в пустоту величайших судеб.

Если слова — это не просто память,
если огонь горит не потому, что светит,
время со временем перестаёт быть тайной,
выдох и вдох — столетие за столетьем.

Правила не нарушают — их просто нету.
Дерево говорит языком свободы.
Смотришь вокруг, как всё становится летом.
Вдруг ни с того ни с сего понимаешь, кто ты.

не бойся ничего не бойся
ты просто ниточка от шара
воздушного а он смеётся
как сумасшедший у вокзала
а он летит себе стремится
и ты за ним всё въёшся-въёшся
как будто он тебе синица
как будто ты ему сестрица
и ничего не остаётся
лети-лети пока летится
покуда шарик не взорвётся

A.JK.

В разные периоды своей
в целом нескучной жизни
я делал несколько попыток
перевести свои стихи
на разные языки:
на язык облаков, язык птиц,
на язык растений,
один раз даже
на язык шкворчащего
на сковородке масла.
Работал со словарями,
готовил подстрочки,
упорно вслушивался в речь
носителей языка.
Получалось не очень.
Прямо скажем, совсем
не получалось.
Видимо, я напрочь лишен
способностей к языкам.
А быть может, мои стихи
настолько совершенны,
что просто не поддаются
переводу.

Стоило начинать,
если без продолженья?
Как теперь всё собрать
в домик стихотворенья?

Как это всё вместить,
что разлетелось взрывом,
буйством весны цветным,
щебетом воробышковым?

Остановить, обнять,
запеленать, приклейть.
Как это всё понять,
чем это всё измерить?

Перевести на свет,
вытолкнуть из утробы
долгих счастливых лет
высшей меры и пробы.

Да прорастет трава,
выпорхнет в небо птица,
правильные слова
покидают страницы.

Перелетают за
и остаются после —
быстрые, как звезды,
медленные, как космос.

переключи телефон свой в режим полёта
дыши спертым воздухом набитого самолёта
сквозь защитную маску в 2021-м
сопровождая взлёт покашливанием нервным
пролетай сквозь белое облако его нестерпимый свет
это господь твой шлёт тебе свой привет
пока ты возносишься в небо пока летишь
в ушах самолётный гул = мертвецкая тишина
ты осознаешь: больше земли не будет
только небо и космос да эти случайные люди
в самолёте но в сущности ты один
и всё вокруг уже плавится как стеарин

Филипп Резников

Поэма о старом доме

Рассказ

Самые страшные чудовища водились под кроватью. Требовалось немало споровки, чтобы заставить пружинный матрас, колеблющийся, словно желе, не скрипеть. Еще нужна была смелость, чтобы высвободить руки из-под одеяла, перестать жмуриться и убедить себя, что звуки, которыми полнится дом, не имеют никакого отношения к существам, обитающим подо мной. Бабушка не раз открывала для меня подпол, где на полках в кромешной тьме ждали своего часа банки с вареньями и соленьями, где доживали свой век какие-то тряпки — бывшие бабушкины платья и кофты, дедушкины рубашки и штаны, где от сырой прохлады кожа всегда становилась гусиной. В подполе, углы которого затуманивали густые нити паутины, зажигался свет, и бабушка с притворным страхом заглядывала во все самые укромные закоулки. Вполголоса она звала кого-то: «А ну, выходи!» И когда кто-то неведомый не откликался на ее зов, она поворачивалась ко мне и, разводя руками, сокрушилась: «Видишь, мы тут одни!» Убедившись, что в подполе никого страшного нет, я все же думал о том, где именно могут водиться чудовища, пугающие меня перед сном своими тихими, но жуткими голосами, бередящими душу звуками, и однажды понял, что они поселились в самом полу, в старых скрипучих досках. В дереве, изъеденном древоточцем, были тысячи маленьких глазков. Через них и доносились до меня по ночам таинственные звуки, а иногда выходили и сами существа, их издававшие.

Мне ни за что не забыть одной душной летней ночи, когда что-то цапнуло меня за ногу, по неосторожности высунутую из-под одеяла. Что-то, как мне представлялось, невидимое ухватилось за мои пальцы: поначалу я ощутил влажный жар, словно моя ступня оказалась в чьей-то разинутой пасти, затем я почувствовал легкое покалывание, через мгновение сменившееся болью, — что-то сомкнуло на моей ноге свою твердую челюсть. В ужасе я провалился в жуткий затяжной сон, оборвавшийся на рассвете. Бабушка сидела подле меня, прикладывала ладонь попеременно то к моему, то к своему лбу и вскоре заключила: «Допрыгался позавчера под дождем!» Я не стал убеждать ее в том, что моя болезнь вызвана ядом неизвестного ночных чудовища, вонзившего в меня свои острые зубы. Она все равно не поверila бы.

У бабушки дождь никогда не шел — он припускал, сеял, брызгал, лился, искрил, падал, щекотал, обливал, прибивал, губил. Как и многие явления в

Филипп Резников (1981) — родился в Москве. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (семинар прозы С.Н. Есина). Автор книг «Московский театр Олега Табакова. История в тридцати сезонах» (2017) и «Московский театр Олега Табакова. История в тридцати пяти сезонах» (2022). Рассказы публиковались в журналах «Наш современник», «Неман», «Звезда», «Нева» и «Север». В «Урале» печатается впервые.

природе, дождь не был для нее обыкновенной штукой, поэтому, когда я говорил, что пошел дождь, она сразу же поправляла меня, называя, что именно он делает. Дождь был живым существом, и к нему следовало относиться серьезно.

Двор перед домом был мал: здесь умещались лишь ладно сколоченная лавка и небольшой цветник. От невысокого крыльца начиналась дорожка: она огибала дом и бежала мимо бесконечных грядок огорода. Из всех грядок я предпочитал две почти самые дальние. На них росла клубника. Я точно знал, когда она поспевает, и жадно караулил спелые ягоды. Я брал с собою бинокль и выходил на разведку, наводил окуляры на кусты клубники и, облизывая в предвкушении губы, искал прятавшиеся от меня ягоды. «Подожди, не ешь! Кислые еще!» — предупреждала бабушка, замечая меня на подступах к заветным грядкам. «Прежде нужно помыть!» — останавливалася она, но я не слушал.

В одно лето под яблоней, у самого забора, я построил шалаш. Стены моей постройки продували все ветра, она то и дело кренилась то на один, то на другой бок, но, неустанно поддерживаемая мной,остояла месяца полтора.

В шалаше я проводил большую часть дня, если только мы не отправлялись на реку или не занимались другими делами. Дед постоянно хотел затащить меня в лес за ягодами и грибами, но я упирался — занятие это не доставляло особого удовольствия.

В деревне деда прозвали медведем. Не за повадки и не за внешний вид — он был худ и невысок ростом. Прозвали за одно происшествие. Гуляя однажды по бору, он очутился на поляне, усыпанной малиной. Ягод было так много, что их, наверное, хватило бы на всю деревню. Но дед рассудил иначе и, пока не расправился со всей малиной, поляну не покинул. Домой вернулся затемно: лежал на кровати, держась за живот, и все охал. К утру кое-как пришел в себя. После того случая деревенские дети кричали ему вслед: «Большой медведь идет — малины полон рот!» Взрослые тоже подсмеивались над ним, говоря: «Мал Лексеич, да прожорлив».

Целое лето дед носил высокие резиновые сапоги, куда бы ни шел. Он прекрасно знал все окрестные болота, каждую кочку на них, каждый сухой островок. Он ходил по болотам смело, как хозяин, не боялся провалиться в вязкую топь и почти не глядел под ноги. Он любил посидеть на припеке и неторопливо покурить. Он щурился на солнечное небо и пускал облачка дыма. Я жался к нему, с тревогой посматривая вокруг и опасаясь, что нам ни за что не выбрачаться с болот. И уже выла в моем воображении собака Баскервилей и, как пишут в книгах, стыла в жилах крови.

Я боялся трясины, чавкающей под ногами жижи, шелестения высохших стеблей, криков птиц в недалекой темной чаще и черепа козы на одном из сухих островков. Дед говорил, что козу загрызли волки.

Среди болота, прозванного в народе Демидовским за то, что здесь утон когда-то местный мужичок, располагался остров. В тени его деревьев таились руины церквишки, взорванной большевиками. Я поинтересовался, как же так вышло, что стояла она среди болота одна-единешенька и как добирались до нее деревенские, а он сощурился, поглядел на верхушки деревьев, опустил взгляд до земли, словно отмеривал, сколько здесь сверху донизу, и ответил, что местность вокруг церкви заболотили по приказу председателя колхоза — народ даже после подрыва продолжал приходить к намоленному месту.

— Деда, — спросил я, — а ты видел когда-нибудь эту церковь?

— Я видел, как ее взрывали.

— Как же долго ты живешь! — поразился я.

— Все это случилось не так уж давно, — сказал он, снова устремив взгляд к верхушкам обступивших руины деревьев.

— А тебе было грустно?

— Я плакал, — он смахнул с глаза набежавшую слезу. — Мы с матерью вон там стояли, — дед указал на место, где рос высокий колючий кустарник.

— Как же ты помнишь так точно? — продолжал удивляться я.

— Не знаю, Андрюша, но словно солнечный свет падает на то место каждый раз, когда я прихожу.

Дед взъерошил рукой волосы на моей макушке, кивнул на тропку, которой мы пришли, и отправился в обратный путь.

— Гляди, малина! — крикнул я ему вслед, совершенно за ним не поспевая.

— Здесь ягода заповедная. Не будем ее трогать.

— Почему же так? — огорчился я.

— Пусть растет нетронутая.

— Тогда животные и птицы съедят! — настаивал я.

— Им можно. Идем скорей, бабка заждалась.

Вечера в доме были похожи друг на друга. Мы ужинали, долго пили чай, дед листал книгу с пожелтевшими страницами (что-то про древних обитателей мирового океана), бабушка, как обычно, хлопотала, не зная устали. Потом дед вставал, долго тер ладонью грудь, жаловался, что замучила изжога, сосал соду, подцепив ее кончиком столовой ложки в бумажном пакете, бродил по комнате и усаживался перед телевизором.

Перед сном я читал, а они сидели у окна и вели тихую беседу. Их шепот умиротворял, строчки в книжке перемешивались, и я начинал клевать носом. Сквозь зыбкую пелену надвигающегося сна я слушал их удивительные, непонятные мне разговоры.

— Знать бы, как в той жизни что будет! — говорил дед.

— Гляди на него: будто в этой уже все повидал!

— Уж повидал.

— Да будет ли в той жизни что? — спрашивала бабушка.

— Не будет — не огорчение. Будет — уже интересно.

— Ох и любишь ты порассуждать!

— Одно знаю: любить там буду так же, как здесь.

— Кого это? Любку свою, что ли?

— Тебя, дура!

— Ох, божий свет! Рюмку махнул, пока я отвернулась? А что ж ты сделаешь, если в той жизни я тебе не повстречаюсь?

— Все равно любить буду.

— А ну, дыхни!.. Да нет, не пил вроде...

В самом конце участка, у леса, рядом с баней стояло самое пугающее строение из всех виденных мною в округе — дедов сарай. В нем он хранил инструмент, рыболовные снасти (рыбаком дед был прирожденным, но ленивым) и всякую рухлядь, выбросить которую не поднималась рука. Бабушка вечно охала, что придет время, и сгодится то-то, начнем нуждаться в том-то. Она вообще считала, что в скором времени остановятся фабрики и заводы и ничего во всем мире производиться не будет. «Попомнишь мои слова, — сердилась она на деда, — все из сарая вытащим, и оно заново жить начнет».

Шли дни, месяцы и годы, а сарай так и стоял. И ничего из него не выносили, только наполняли его все усердней не пригодным ни для чего скарбом. Стенки сарая распирали предметы, его наполнявшие. Он хрюпал, кашлял, жаловался, недовольно шумел по ночам и жалобно скрипел по утрам, когда роса покрывала его крышу и порог, почти полностью ушедший в землю.

Сарай отбрасывал жутковатую тень на траву в ясные лунные ночи. Я крадучись пробирался мимо него, вспоминал городскую квартиру с ее удобствами и клял нужду за то, что она гонит меня из теплой постели на холодный ночной двор, в царство недремлющего сарая-великана.

Он тотчас примечал меня и будто начинал шагать навстречу, увеличиваясь в размерах и строго высияясь над моей головой. Хрупкая дверца уличного туалета с просветами между досок оказывалась единственной преградой

между ним и мною. Я с ужасом слушал, как трещат на ветру его старые доски, как стонут они от долгого века, в который ветер продувал их нещадно и хлестал по ним дождем и метелями. Я отпирал щеколду и, не разбирая пути, несся обратно в дом, заскакивал под одеяло, на ходу сбрасывая сандалии, и замирал, не смев пошевелиться, чтобы не привлечь внимания тех, кто жил между подполом и дном моей постели...

Поутру сарай тонул в молочном тумане, виднелась одна крыша. Я следил, как дед, направившийся к ужасавшему меня ночью строению, исчезает в белой дымке; слышал, как отзыается отпираемая дверь. Дед вряд ли подозревал, какой жизнью живет сарай в темное время суток.

Еще я хорошо помню одну деревенскую девчонку. Она была выше на целую голову и невероятно гордилась, что старше меня на десять месяцев. Ее низкий голос до сих пор звучит где-то в самых дальних закоулках моей памяти. Она без умолку рассказывала обо всем, чем был занят ее день, не упуская ни единой подробности; она знала, что случилось у соседей и от какого кота в очередной раз беременна кошка бабы Шуры:

— Тот, помнишь, с надорванным ухом? Ну как не помнишь? У морозовского двора ошивался прошлым летом, а сейчас у старого амбара живет. Он ужа загрыз и Шуре под дверь положил. Для ее кошки. Кстати, как ее зовут? Ну вот, почему ты никогда ничего не знаешь?

Я редко ей отвечал. Больше слушал. Все равно она не позволила бы мне вставить больше одного слова. Бабушка считала, что мы жених и невеста. Дедушка по этому поводу ничего не говорил. Сама Танька полагала, что я в нее влюблен, и всем при первой возможности объявляла, что ответной любви мне пока добиться не удалось. Я и не добивался, но никогда ей не перечил и только задумчиво кивал головой, когда ребята смеялись над моими неуклюжими, как выставляла их Танька, чувствами.

Она была хорошая и очень добрая. Немного зазнайка, но чуткая. Она прикладывала к моим ранам листы подорожника, предварительно смочив их своей слюной; она лазала для меня на яблони и скидывала яблоки. Я разрезал их перочинным складным ножом и отдавал ей половину. Мы листали подборку журналов «Костер», которую я привозил с собой каждое лето; Танька просила меня читать вслух, а сама сидилась, прислонившись ко мне спиной, и слушала. Когда чтение ей наскучивало, она принималась меня щекотать, зная, что я этого не терплю. Она щекотала меня до смерти, а потом убегала. Мы неслись через деревню, переполошив всех собак, подняв пыль на дороге и огласив окрестности своими громкими голосами.

На реке, жившей по весне полноводно, а к осени растрачивавшей себя без остатка, угоняли с ребятами лодку. Она принадлежала дядьке Захару, а на левом ее борту было неуклюже намалевано слово «Победа». Дно лодки сочилось водой, уключины взвизгивали, как оголтелые, сама посудина кренилась то на один, то на другой бок, и неясно было, что же такое победоносное обнаруживал хозяин в своем корыте. Мы никогда не возвращали лодку на место, зная, что Захар поджидает в кустах, готовый поколотить нас за шалость. Он приходил жаловаться на меня бабушке, и та напускала на себя гнев и бранила меня на радость Захару. Он глупо лыбился, слушая, как бабушка отчитывает меня, затем произносил сокровенное «то-то же!» и уходил восвояси сторожить свой грушевый сад, на который мы тоже регулярно совершили набеги. Захар всегда появлялся неожиданно из-за дерева, держа в руках двустволку. Он вскидывал ее и целился в одного из нас. Никогда не стрелял, но наслаждался зрелищем наших перепуганных физиономий.

В двадцатых числах августа напротив калитки останавливался красный «жигуленок», из него выходил отец, закуривал, садясь на капот, и смотрел на окна нашего дома. Он знал наверняка, что я скрываюсь от него за одной из занавесок, и ласково манил меня рукой. Я пятился дальше от окна, спотыкался о собранный накануне чемодан со всеми моими вещами, заботливо

перестиранными бабушкой в тазу с холодной водой, отступал в самую глубь дома, в темный угол за печкой. В запечной полутьме я лил слезы, перед моим взором вставали городские многоэтажки, наш тихий зеленый двор, зажатый между трех домов, и, наконец, крыльцо школы. Неминуемое столкновение со всем этим хотелось во что бы то ни стало отсрочить, но в сенях уже слышалась тяжелая поступь отца, его приятный бас; я жмурился, а какая-то сила поднимала меня в воздух, моей щеки касалась щетинистая щека отца, его усы. «Пора! — говорил он. — Пошли грузить твои вещи».

Успокоившись и перестав лить слезы, я рассказывал ему о коллекции камней, собранных за лето, рассыпал их перед ним на ковре, залитом солнечным светом, и они искрились, внезапно став еще красивее, чем были. Отец брал их в руки один за другим, а после серьезно подытоживал: «Ничего драгоценного, маме не понравится, но не оставлять же их здесь...»

В девяносто третьем я видел деда в последний раз: он стоял на дороге подбоченясь, глядя нам вслед. Бабушка была рядом с ним и махала голубым платком. На небо набежали тучи, и, вероятно, собрался дождь.

Он колотил по земле в промозглый сентябрьский вечер, когда я вернулся к этому дому годы спустя. Входная дверь долго не желала поддаваться и пускать меня внутрь. Я навалился плечом, и она, взвыв, сдалась. Внутри был неприятный запах застоявшегося воздуха, старых вещей и отсыревшего дерева. В первые минуты я хотел махнуть рукой, повернуть назад, вернуться на станцию и уехать прочь, но потом представил, как сквозь непогоду и сумерки буду возвращаться к шоссе и там ловить попутку, а потом нескончаемо ждать поезда, и остался.

Дом не разговаривал со мной, словно не узнавал. В тревожной тишине затаились предметы и воспоминания; слышен был лишь дождь. Бабушка сказала бы, что он барабанит.

Когда совершенно стемнело, я вынул из сумки припасенные свечи.

Пламя свечи колыхалось из стороны в сторону, и я берег его за ладонью, неторопливо обходя дом.

Я взрезал консервную банку ножом, его кончиком подцеплял куски ветчины и клал на хлеб. Я пил холодную воду, кое-как растворив в ней найденный на одной из полок сахар. Кипяток с сахаром был любимым напитком бабушки. Я не помню, почему не приезжал на ее похороны. Ее с дедом портрет стоял на столе. Дед в фуражке, бабушка в косынке. Оба улыбающиеся, молодые.

Не раздевшись, я лежал на своей старой постели в полной темноте и слушал. Дому все же надоело таиться и молчать, и он заговорил: сначала отозвались доски пола, растревоженные моими шагами, затем завыл ветер в дымоходе, стукнула входная дверь, которую я забыл запереть. Пришлось встать и повернуть колесо замка. Пол был холоден, и я пробежался обратно. Зазвенели стекла в серванте, затрясся старый сервис, звякнула ложка в стакане с мокрым, нерастворившимся сахаром на дне...

Утро выдалось прохладным, но солнечным. Я сошел во двор. Не было уже за домом никаких бесчисленных грядок; осыпались яблони; две из них стояли черные, с сухими, мертвыми ветками. Лежало посреди этого безмолвного разорения обезглавленное ветром пугало в порванной на груди клетчатой рубахе, с вывалившейся наружу соломой. Сарай, пугавший меня когда-то, ссунулся и, казалось, приник к земле. Баня сильно покосилась и странным, завалившимся набок ромбом замерла на фоне красно-желтого леса. На мокрой земле отпечатались следы кабаньих копыт — животное проходило здесь недавно, проникнув через распавшиеся доски забора.

В лесу пахло мокрой землей и грибами. Отовсюду глядели на меня мховики и волнушки и словно шептали: забери нас, не оставляй одних на холоде. Вспомнились лески, натянутые в доме, на которых дед сушил грибы на зиму; померещился запах сухих грибов; почудился вкус грибного супа со сметаной.

Грибов я не тронул. Я просто стоял неподвижно и с какой-то особенной радостью, с благодарностью вдыхал запах свежего леса, прислушивался к его звукам, пытался представить себя частью этой яркой осенней картины. С веток на лицо и плечи срывались редкие капли; кричала громко птица; возились неподалеку невидимые глазу лесные зверьки, поначалу затаившиеся, а затем переставшие придавать значение моему появлению.

— Ты из города приехал? Я тоже одно время жила в городе. Теперь вернулась. — На пороге дома сидела незнакомая девушка в стеганой мужской куртке, накинутой поверх платья. На ногах ее были резиновые сапожки, из-под шапки выбивались белые крашеные волосы. — Не стой, давай ключи — отопру. Холодно сидеть.

— Не заперто, — ответил я, — нужно только посильнее толкнуть.

— Действительно, — воскликнула она, вваливаясь в дом и нашупывая на стене выключатель. — Что, света нет? Теперь понятно, чего ты весь вечер сидел в темноте.

— А вы?..

— Я теперь в доме напротив. В Юркином. Помнишь?

Я помотал головой.

— Юрка Морозов. Я за ним замужем была. Это с ним мы в городе жили.

— Хорошо... — растерянно проговорил я.

— Ничего хорошего. Спился и умер.

— Как умер?..

— Очень просто: на лед зимой вышел, ну и... Весной выловили. Еле опознала. Два дня потом рвало.

— Вы проходите, садитесь, — пригласил я уже прошедшую в дом гостью. — Даже чаю не могу предложить...

— А ты как будто не изменился, — сказала она, не глядя в мою сторону и изучая комнату. — Здесь тоже ничего не поменялось.

— Таня? — неуверенно произнес я.

— Кто же еще?

В ней трудно было узнать ту вертлявую девчонку, с которой прежде мы проводили столько времени. Крашеные волосы, грубый голос, словно выстуженный на морозе, бесцеремонность, безразличный взгляд — все это принадлежало другому человеку, не Танье.

Она сняла шапку, растопыренными пальцами поправила прическу и бухнулась на диван.

— Я в деревне уже два года. С Юркиной мамкой живу. Денег нет, работы нет, личного счастья нет. Ничего нет. Подбивает тут один клинья. Тракторист. Страшный, как нетопырь. Видел нетопыря? Лучше уж на него глядеть, чем на тракториста. Солярой весь пропах. Фу, — Таня зажала нос пальцами. — На той неделе колбасы притаранил. И сам, знаешь, сидит и уплетает. Еще ругает, что плохая колбаса. Рак, говорит, от нее бывает. Бывает же?

— Наверное.

— В общем, сам целую палку колбасы и сожрал. Нам с Федотовной и не перепало. Ну а ты чего такой тихий? Дом родной не мил?

— Да не очень-то он родной, — попытался оправдаться я.

— Вы, городские, все такие. Свысока глядите. — Таня поднялась. — Когда жила в городе, местные бабы на меня с презрением смотрели: мол, чего приехала? А сами-то чем лучше меня? Вот и я думаю: ничем. Подруг не завела, только с Юркиными придурками якшалась. Но они все пили. Скучно было. В ларьке торговала. Творог, сметана, молоко...

Последние три слова она произнесла так, словно нас разделял прилавок и она указывала мне на товары. Я заметил, что ей уже неинтересно со мной, но было видно, что уходить она тоже не торопится.

— Холодно у вас в доме? — спросил я.

— Да как обычно. Терпеть можно, если не раздеваться. Дрова бережем. Обычно на ночь топим.

— Дрова дорогие?

— Тракторист иногда привозит. Нам хватает. Денег не берет. Грудь мне помнет, пока Федотовна не видит, щеки расцелует и уходит. Я ему губы не даю — не заслужил. Страшный мужик вообще.

— Что же в нем страшного?

— Лицо все в оспинах. Противное. И старый еще. Лет тридцать уже. А когда выпьет, поколотить может. Меня Юрка почти не бил. Это я его, пьяницу, охаживала. Когда умер, аборт сделала. Второй месяц шел, нормально, не больно. Я бы ребенка одна не прокормила. — Таня внимательно посмотрела на меня. — Что, осуждаешь, наверное?

— Не осуждаю. Твоя жизнь.

— Суров ты сделался. Раньше другим был. Как в своем городе живешь-то?

— Нормально. Институт заканчиваю.

— Ученым, значит, будешь?

— Вряд ли. В аспирантуру не собираюсь.

— Куда?

— Лучше скажи, к кому обратиться, чтобы в доме свет был.

— Это я не знаю, — пожала она плечами, — но у Федотовны спрошу, вдруг чего посоветует.

Она взяла со стола портрет бабушки с дедом.

— Хорошие люди были, светлые. Сейчас таких не встретишь. А у тебя что, уже своя семья? Жена, дети?

Я покачал головой.

— Городской, а живешь пусто. Вот как я совсем. — Она неожиданно развеселилась. — Перебираясь к нам. Все одно, что там, что здесь.

— Не могу.

— Чего не можешь? Никто в Москве твоей тебя не держит. А у нас хорошо...

— Что же хорошего?

— Не знаю... — Таня продолжала вглядываться в лица на портрете. — А я помню, как дед твой умер. Шел вот тут по дороге, до дома чуть не дошел и рухнул. На помощь стал звать. Сапоги стащил с ног, рядом с собой поставил да и умер.

— Зачем же он сапоги снял? — удивился я.

— Твой родственник, ты с него и спрашивай, — ответила она холодно, ставя рамку с фотокарточкой на место. — Многие гадали, да не разгадали. С тайной ушел Лексеич... Ну а ты что, надолго?

— До завтра.

Ехать нужно было сегодня, но отчего-то щемило сердце и хотелось побывать еще чуть-чуть.

— Знаешь что? Сегодня в Охотино танцы. Пойдем?

— Спасибо за приглашение, но лучше здесь останусь.

— Без света и в холода?

— Я как-нибудь...

— Скучно с тобой.

Я улыбнулся.

— Ну, тогда до свиданьица.

В нескольких коробках, найденных мною в шкафу, хранились фотографии, письма, открытки, старые сберкнижки, никому теперь не нужные документы. Я принялся разбирать находки с азартом, совершенно не ведая, что именно хочу обнаружить. Я перечитывал письма, написанные дедом бабушке, и меня не покидало чувство неловкости за то, что я прикасаюсь к чему-то, что мне не принадлежит, заглядываю в чужие тайны. Даже на время отложил письма в сторону, но вскоре вернулся к ним, потому что в них было столько любви, что, казалось, могло хватить на две или даже три жизни. Я думал о том, возможна ли в моей жизни подобная любовь, которая даже спу-

стя полвека лучится ярким светом сквозь строчки в пожелтевших письмах с померкшими чернилами.

Я бросил чтение, когда стало смеркаться. Вышел во двор, долго стоял на зябком ветру; видел, как Таня вышла из дома и направилась в сторону Охотино. Пять километров в одну сторону. Трудно было представить, в каком здании они устраивают танцы: я помнил в том селе только частные дома, почту, магазин и заброшенную церковь, долгие годы служившую складом.

Некоторое время я сидел при свете свечи, вертел в руках стеклянный шар, в котором над заснеженным деревенским домом и высокой зеленою елью, медленно опускаясь, кружились снежинки. Я задремал, сидя на диване. Глубокой ночью меня разбудил шум: кто-то пытался проникнуть в дом. Вскоре в сенях послышался женский голос, и в комнату вошла Таня. Она держалась на ногах неуверенно, взгляд ее блуждал по тусклому освещенному помещению. Обнаружив наконец меня, она сделала в мою сторону два нетвердых шага и громко спросила:

— Возьмешь меня с собой?

— Что? — Я поднялся ей навстречу.

— Ты возьмешь меня с собой в город, — утвердительно произнесла она, чтобы мне все стало понятно. — Да, решено. Я иду собираться. Жди меня через десять минут, и мы поедем.

— На чем поедем?

— А на чем ты сюда приехал?

— На поезде.

— Ну и здорово. Значит, пойдем пешком!

— До самой Москвы?

— Не смей надо мной смеяться!

— Я не смеюсь, просто уточняю.

— Так что, мне собираться?

— Тебе сначала нужно поспать. Утром все решим. Помнишь: утро вечера мудренее?

— Какой же ты зануда! Гонишь меня, да? А я здесь лягу. Тебе назло. Тогда ты не сбежишь от меня. — Она улеглась на диван. — А сбежишь, так придется меня тут запереть. Ну и пусть. Знаешь, умру вместе с этим домом, никому не нужная.

— Не говори глупостей.

— А что, думаешь, я кому-то нужна? Да ты посмотри на меня: мне двадцать два, я страшна как смерть. Меня никто не любит.

— А Юра?

— Юра умер. Да и он не любил. Просто мы с детства знакомы. Вот и поженились. Так бывает.

— Ты еще обязательно встретишь кого-нибудь...

— Вот ты, например. — Она приподнялась на локте. — Ты мне в любви клялся. «Честное пионерское» кричал.

— Не помню...

— Ты и меня не сразу вспомнил. Вы, мужики, одинаковые. Поматросили — бросили. Отшвартовались — к другой пристани пристали. А тогда, помнишь, на реке? Держал меня за руку: «Всегда буду любить тебя, Танька!»

— Ну, может быть, — неуверенно признал я. — А ты что ответила?

— Сказала, что врешь. Но я тебе тоже в вечной любви поклялась.

— Выходит, мы оба солгали.

— Я — нет. Я тебя...

Она уснула, не договорив. Я укрыл ее шерстяным одеялом, а сам устроился на своей старой постели.

Таня проснулась с рассветом, долго лежала, глядя в потолок, потом натянула на лицо одеяло. Жадно пила воду из графина, выглянула в окно, приблизилась ко мне и, решив, что я сплю, ушла.

В следующий раз я вернулся в дом через десять лет. Мы приехали вместе с тобой. Помнишь, как я говорил, что дома наверняка уже нет, что он, быть может, сгорел или развалился от древности.

От станции шел автобус. В салоне, кроме нас двоих, никого не было. Водитель расспрашивал, зачем мы стремимся в деревню, в которой осталась пара старух. «Довезу только до поворота, а дальше на своих двоих идите, — предупредил он, а потом не без радости прибавил: — А дорогу какую нам сделали! Помните прежнюю? Невозможно было проехать, не то что теперь!»

Деревня, как и рассказывал водитель, стояла пустая. Ставни в большинстве домов были закрыты, где-то заколочены крест-накрест досками; в самом центре деревни стоял дом-погорелец. Тот самый, морозовский... Высилась устоявшая печная труба, чернела зловеще сама печь. Поваленный забор со сломанными досками лежал на траве. Вокруг дома разбросаны были ведра, тазы и прочий переживший пожар скарб. «Нам сюда?» — спросила ты, с печалью глядя на пепелище, и я поспешил подвести тебя к дому напротив. Стекла в окнах были мутны, через них внутри ничего не проглядывалось.

На мгновение показалось, что за нами наблюдают из соседнего дома.

— Здравствуйте! — крикнула ты, приближаясь к забору, но тебе никто не ответил.

— Никого. Все вымерло.

— У меня жуткое чувство, — призналась ты.

— Войдем внутрь? — спросил я, нашупывая ключи в сумке.

Послыпался треск мотора. Он нарастал с каждой секундой, и вскоре перед нашей калиткой остановился мотоцикл с коляской. Из седла выпрыгнул молодцеватый мужичок, запросто прошел к нам во двор и уставился на нас обоих.

— Верно люди сказали — автобус туристов привез, — произнес он довольно. — Да не бойтесь, я с соседней деревни, почтальон местный. Решил вот разведать, кто к нам наведался.

— Добрый день, — протянул я ему руку.

— С Москвы? — улыбнулся почтальон.

— Из нее, — согласился я.

— Сейчас много москвичей приезжает. Модные места у нас тут, как говорится.

— Что же, если не секрет, привлекает москвичей? — спросила ты.

— Как что? — удивился почтальон. — Во-первых, у нас река. Во-вторых, земля продается. Дешевая. Москвичи покупают, дома строят. Даже из Ярославля приезжают, но там народ пожидче.

— И где строят?

— Да везде. Какую деревню ни возьми, кругом новые дома. Не дома — хоромы! По два, три этажа. Живут, правда, в основном летом. Ну, вы даете! Что, не знали про нашу большуюстройку?

— Честно говоря, нет, — признался я. — Соседи новые не мешают?

— Нам только радость да работа: покосить, привезти, построить, подлатать... Вы, городские, не в обиду будет сказано, сами руками работать не любите, а нам с того выгода — лишний рубль. Рубли у нас тут, как в столице, на земле не валяются, не подберешь. Вот и подрабатываем. У меня зарплата с гулькин клов. Иной раз развозжу пенсию по деревням, а сам думаю: «Не взять ли мне те денежки да не сбежать ли с ними куда подальше?» Но разве хватит их надолго? Тыфу, а не пенсии...

— А что же здесь, в этой деревне? — поинтересовался я.

— Двоих остались. Одна старуха из дома не выходит, вторая еще хозяйством занимается. Коза у нее, куры, огород. Восемьдесят пять уже, а два ведра с колодца как пушинки переносит. Боевая баба! Ну а вы что же, место для себя присматриваете?

— Здесь жили мои родственники, — ответил я, оборачиваясь на дом. — Приехал посмотреть, стоит ли эта лачуга или уже развалилась.

— А куда денется, только если не сгорит? Прежде как строили? Навсегда!

— Но, я смотрю, дома тут все же горят...

— Было дело, — кивнул он. — Это вы про соседей про своих? Печальная история. Мишку-тракториста знали? И хорошо, что не знали. Лет пять или шесть назад сжег свою бабу вместе с домом. Скрывался потом долго. Поймали. Срок дали. И поехал...

— Я знал Таню...

— Дык кто ж ее не знал! — весело отозвался почтальон. — Хорошая была девка, но дурная.

Он набрал воздуха в легкие, задержал дыхание, а затем с каким-то почти детским восторгом выдохнул:

— А места у нас хорошие. Только дожди часто. Прямо аномалия. За десять километров отсюда ни дождинки, а тут льет с утра до вечера. А лес! Знаете, какой у нас лес? — обратился он к тебе. — Нигде такого нет. Заповедный. Ягоды, грибы. Змей только берегись, гадюки тут злые. Медведь в том году ходил, но вроде бы ушел. А река! Вот прямо сейчас пойдите искупайтесь. Вода чистейшая! Одна тоска — людей поблизости нет. Не с бабками же вам водиться! Они сами по себе, вы — сами. Но это ничего, я сам давно бобылем. Привык. Можно и без людей. А в городе такого, как у нас, нет. Тут благодать. Лепота! — Он достал папиросу и закурил, не сводя с нас внимательного взгляда. — Ну, так что, строиться будете? Я вам работников быстро сыщу.

Я поглядел на старый дом с немытыми окнами, на баню и сарай у леса, на чистое голубое небо, на тебя. И ответил:

— Будем.

ДРАМАТУРГИЯ

Николай Коляда

Сарафанное радио

Комедия в двух действиях

Действующие лица:

ГЕРМАН, 65 лет

НАДЯ, его жена, 20 лет

ТАТЬЯНА, дочь Германа, 45 лет

МИША, сын Германа, 40 лет

НАТАЛЬЯ, их мать, 65 лет, бывшая жена Германа

ИГОРЬ, муж Натальи, 20 лет

ЛИЗА, дочь Татьяны и Валерия, 20 лет

МАРИЯ, соседка по даче, 65 лет

РУСТАМ, ее муж, 20 лет

СТЕПАН, 20 лет

ГОЛОС ВАЛЕРИЯ, мужа Татьяны, 45 лет

Богатая дача в три этажа за городом. Вокруг дачи лес, поле и чуть подальше — озеро.

Первое действие

...Тут когда-то был только крошечный домик, чулан в садовом товариществе, сколотили его давно, в нем хранили лопаты и грабли. Постоянно не жили тут, а кормились участком наездами, приезжали, копошились в земле и всё выращивали. Тут была просто полянка в лесу, потом деревья спилили, пни выкорчевали, вскопали землю и сделали огород. А когда стало возможным всё купить в магазине, а не корячиться на огороде, то засеяли всё газоном. Долго строили, строили дом и наконец возвели этот бревенчатый замок в три этажа. И приезжали, и теперь приезжают сюда всей семьей только отдыхать. Но редко. Какой тут отдых среди комаров? Чаще на Мальдивах все.

Дом такой хороший. Он почти в лесу. Теперь лес только за оградой — сосны и березы вперемешку. В лесу стрекочут сороки, а хомяки и кроты тихо копают себе норы, еще — бесшумно бегают длинноухие зайцы, а может — это кролики тут живут, расплодились и одичали? Сразу за забором в лесу грибы.

Николай Коляда — актёр, прозаик, драматург, сценарист, театральный режиссёр, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат международной премии им. К.С. Станиславского, Царскосельской художественной премии, премии «Хрустальная роза Виктора Розова» в номинации «Литература», литературной премии им. П.П. Бажова и мн. др. Директор и художественный руководитель «Коляда-Театра». С 1999 по 2010 гг. — главный редактор журнала «Урал».

И не какие-то там синявки, а самые настоящие белые, потому что народу тут ходит мало: тут тихо, пусто. Тут не жмутся дома друг к другу, тут не высматривают соседи, а что там у других творится? За деревьями дом, чуть видна крыша, — в нем живет МАРИЯ.

Огромный двор огорожен высоким железным забором. Газончик, травка зеленая и посредине даже — бассейн небольшой. В нем вода, и по воде плавают листочки березок: давно никто не купался в бассейне — не до того сейчас обитателям, гостям этого дома.

Тут так красиво, так хорошо я это придумал... Всё как в моей мечте, как могло бы быть. Не моя заваливающаяся избушка в Логиново, где я пишу эту пьесу, а огромный и сказочный дом я сочинил. У моих соседей в Логиново на против такой вот дом, и они такие злые — от своего богатства, что ли?

Так и эти, что тут живут. Богатые и злые. Вроде у них три этажа, огромная дача, ну так — чего злиться-то? Ну, еще бы у богатого ГЕРМАНА БЕЛКИНА была не огромная дача. Ему все ж таки 65 лет, а к этим годам пора бы уже обзавестись и дачей, и большой квартирой в городе, и машиной, и прочим, что положено для статуса всяким там селебрити. А он — селебрити, ректор в университете, да. А все селебрити и их родственники, как известно, злые и сморщеные.

...Сегодня у Белкина-старшего важный день. Он женится. Второй раз в жизни. Его и невесты пока за столом нету. А стол на веранде накрыт огромный: прямоугольный, с красивой скатертью, на нем дорогая посуда, то-сё.

За столом сидят ТАТЬЯНА, дочь Германа, ей 45, МИША, сын Германа, ему 40, ЛИЗА, дочь ТАТЬЯНЫ, — ей 20 лет.

Тут еще и соседка — МАРИЯ, ей 65 лет, Марусей ее зовут. Она почти член семьи, много лет — соседями, она за этим домом присматривает, потому что она тут живет постоянно, не наездами. Да к тому же она какая-то дальняя, седьмая вода на киселе, родственница. МАРИЯ сидит рядом со своим мужем РУСТАМОМ, ему 20 лет.

Стол от еды ломится. И выпивка тут, ну — всё есть. Всё праздничное очень. И даже букет полевых цветов в центре стола в трехлитровой банке. Букет так стоит, что, чтобы говорить, все сидящие за столом или налево-направо склоняются, или встают, чтобы тому, кто сидит напротив, что-то сказать.

Веранда большая. Всё из чистого дерева, всё не новое, а обжитое, прошорканное ногами всех живших тут взрослых и выросших тут, на этой даче, детей. Перила красивые, балясинки пузатенькие, сделаны на совесть. Ступеньки с крыльца — три штуки, краска слезла, половичок вязаный у входа.

Под столом кот ходит, ЖЕБАЙКА, ходит, трётся об ноги — хвост трубой, доволен, что его вывезли в лес. ЖЕБАЙКА у ЛИЗЫ живет, ЛИЗА, дочь ТАТЬЯНЫ, привезла его.

РУСТАМ всё курит, всё встает из-за стола и на перила облокачивается, дым выдыхает в сторону леса, в сторону берез и сосен.

Лето. В лесу птицы поют и сороки стрекочут: тра-та-та да тра-та-та...

ТАТЬЯНА. Миша, кисюля моя, хоть ты и писатель, хоть ты и художник от слова «худо», но я давно сказать тебе хочу: у тебя не голова, а мусорное ведро.

МИША. Таня, ты к фонарному столбу привязаться можешь. Что тебе от меня сегодня надо? Пристала, банный лист. Чего надо, ну!?

ТАТЬЯНА (*поет*). «Девочка Надя, чего тебе надо?!» Песня есть такая. Молчи. Выступать будешь в морге.

МИША. Я тут при чем? Не задирайся. А у тебя какая голова, не помойка, нет? Что ты всё несешь и несешь, что ты меня туркаешь всё время и позоришь? Дай поесть спокойно. Молчи, сойдешь за умную. Я в чем виноват? Да, я писатель. И что? А что ты всё по этому поводу меня елдыкаешь? Я писатель, да. Не завидуй.

ТАТЬЯНА. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали.

МАРИЯ. Конечно, Миша, ешьте, я приготовила всё.

ТАТЬЯНА. Кисюля моя, Марусенька, ну, не всё ж ты одна приготовила, нет?

МАРИЯ. Ну, давай теперь с Миши — на меня кидайся. Ой, горе...

ТАТЬЯНА. Да, да, Маня. Ты — салат, винегрет сделала, как я попросила, но денег на это барахло я перевела тебе, кисюля, ты не забыла? Подвиги не устраивай тут. А всё остальное я привезла на машине из города. Всё холодное, правда, и мясо, и колбаса, но что делать? Правда, назад ехать на машине не смогу — напьюсь сегодня с горя. Поеду на электричке. Ночевать тут — да упаси бог! И больше сюда ни ногой, нет, нет! Не понесут меня ноги сюда, на эту фабрику грэз, завод снов, мастерскую иллюзий.

МАРИЯ. Ешьте. Тут много всего на стол Наденька заказала, вот — доставка была, привезли из ресторана из богатого.

ТАТЬЯНА. Какая еще Наденька, Машенька?

МАРИЯ. Надя — жена Германа, твоего папочки.

ТАТЬЯНА. А, Наденька — жопка гладенька?! Кисюля, Марусенька, ты не говори так. Он мне и Мише не папочка, а он — гад последний. Вот что! Так, вот что! Ты покажи — какое от нее, да? Я не буду это есть. Ткни пальцем, флагжи поставь. Это, это и это? Ага. Итак! Из ресторана, еёное, — жрать не будем. Будем только моё, моё холодное жрать! Едим! Ну?! Не будем ждать его с ней, тыфу, с ней его!

МАРИЯ. Ты не говори — «его». Ты говори — «отца». Хватит, Таня.

ТАТЬЯНА. Кисюля моя! Какой он мне теперь отец? Он молодой муж!

ЛИЗА. Мама, хватит.

ТАТЬЯНА. А как это, Лиза, а?! А?! Как, по-твоему? Если он жениться решил на молодой, то — я что, а?! Маша, Миша, она Лизке вон ровесница, а он старбень, он — ровесник тебе, Манька, и он что делает?!

МАРИЯ. А тебе не всё ли равно?

ЛИЗА. Что повидло, что говно ...

МАРИЯ. Помолчите все, хватит! Считаешь тут всем года. Танька, какая ты злая стала. Хватит тебе! Сидит уже час и всех пилит. Всех богов и боженят собрала, ругается. Так, всё! Надо начинать есть. А то мухами засидится всё, подвянет всё. Что их ждать? Раз он ее повез окрестности показывать, дак, поди, надолго.

ТАТЬЯНА. А ей зачем окрестности? Она тут по грибы ходить будет, что ли? Будет веники для бани вязать, по березам лазить, что ли?! Дрова для камина будет собирать?! Ага! Она что может? У нее же по морде видно: белоручка! А по рукам видно: воровайка, руки на kleю! Отца обокрасть, облапошить хочет!

МАРИЯ. Хватит, говорю! Гав да гав. Что ты отца задираешь? Говорено сто раз. Хватит, сидите и ешьте. Рустам, ешь тоже

ТАТЬЯНА. Я его не задираю. Я ему, папе, слова ещё не сказала. Я в церкви стояла как вкопанная. А они — что?! Боже, боже! «До смерти с тобой! Пока смерть не разлучит!» А они — кольца! Ужас, ужас! Неужели я дожила до такого позора?! (Рыдает.) Я не хотела ехать, но решила: буду, буду тут и посмотрю этой твари, этой кисюле в глаза!

МИША. На цугундер тебя отправить уже надо или сдать в ЛТП на лечение за пьянство.

ТАТЬЯНА. Какое еще ЛТП?

МИША. Лечебно-трудовой профилакторий для алкашей. Был раньше такой. Я вот как писатель недавно поймал такой фразеологизм: «Сарафанное радио». Даже хочется написать такую книгу. С таким названием. Где люди разговаривают, а не слышат друг друга. Про нас.

ТАТЬЯНА. Да ты к чему это?! Какая логика в твоей речи? Какое радио? Кто тут в сарафанах ходит?!

МИША. А такая логика. Я всё время ловлю словечки. Мне так радостно, что у нас русский язык ...

ТАТЬЯНА. ...а не татарский?! Миша Белкин писатель, боже! Упасть и не встать! Я тут недавно книжку прочитала, называется: «Как разгадать мерзавца!» Не ты написал?

МИША. Отстань. Рустам, я написал большую книгу о скандинавских богах под названием «Фрея, Тор и Локи»...

ТАТЬЯНА. Ага. «Фрея, Тор и Локи в гостях у Чебурашки».

МИША. Отстань. Я подпишу вам книгу, Рустам.

ТАТЬЯНА. Нет, ну хоть «аллах!» кричи! «Да, Рустам? Нет, Рустам? Так, Рустам?» Ты не борзей, Миша! Ты как со мной разговариваешь?! Я ж говорю: у тебя не башка, а мусорное ведро! Ты смалку дурак. В голове грыжа у тебя. Колхоз-навоз! Змеючи твои ноги, гадюча голова — вот кто ты. Какое-то радио тут приплел...

МИША. Сама не борзей. Кстати, запишу это слово. Красивое.

МАРИЯ. Тихо вам! Вот это ешьте. Это баклажанчики. У меня растут. У нас с Рустамом. Да, Рустамчик? Вы сюда так редко стали приезжать. Как серебряный полтинник появитесь, и снова вас полгода нету.

МИША. А что тут комаров кормить? Мы на Мальдивах чаще или где-нибудь в Европе.

МАРИЯ. Ну, ешьте.

ТАТЬЯНА. Что ты им уже суешь еду? Приедут эти, начнутся танцы с бубном, тогда начнем есть, пить и драться.

МАРИЯ. Тебя не поймешь. Ты — то ешьте, то — не ешьте. Ты уже приняла, Танька, крепко, вижу. Ну и пей, пройдет тоска.

ТАТЬЯНА (*поет*). Пройдет тоска, наступит лето! Спасибо партии за это!

МАРИЯ. Раз так, я тоже хочу чутка выпить. Да, Рустамчик?

ТАТЬЯНА. А я хочу вусмерть нажраться, не чутка! А ты что это у него всё время разрешения спрашиваешь и всё словно ждешь от него одобрения, поддакивания?

МАРИЯ. Так просто. Да, Рустамчик?

ТАТЬЯНА. Ужас-ужасный-преужаснейший-жуткий-жути. Да кто там трется под ногами?!

ЛИЗА. Это мой Жебайка. Он счастливый, что я его привезла. Пусть мышек половит.

ТАТЬЯНА. Ненавижу кошек. Они похожи на мужиков.

МИША. Таня?! Хватит! Правда выпить надо. А то морды кислые. Такие кисюли все сидят. (*Смеется*.) И надо молодых встретить как-то повеселее. (*Смеется*.) Рустам, мне много не наливай. Мне стакан бражки да стакан компоту, и я — в лоскуты в кустах. Это поговорка такая. Я так образно и витиевато говорю, Рустам, вы понимаете, да? Я писатель. (*Смеется*.)

ТАТЬЯНА. Заладил! Алкаш! Мусорное ведро! Прибауточник! Вот кого папочка вырастил! Каких молодых мы ждем, а?! Ей 20, а ему 65! Он чокнулся, а вы его поддерживаете, да, так?

МИША. «Так, так!» — сказал бедняк. То да потому. Хватит тебе, надоела. Пьем. На цугундер вас всех. На цу-гун-дер!

Миша смеется. Больше никто. Выпили. Молчат. Едят. Вздыхают.

МАРИЯ. Сменим тему на позитивное. И про здоровье. Вот слушайте: я теперь везде хожу с норвежскими палками. Это очень полезно для здоровья. Тут идти-то к вашему дому два шага — вон мой дом, рядом. Рустамчик, не кури ты так часто, сядь. Ну, вот. А я с палками. Это для здоровья. И по лесу за грибами так хожу. Рустам плохо понимает по-русски. Да и не надо ему, ему наши дела до лампочки. Он вообще не всасывает — кто тут замуж выходит, что и зачем. У татар по две и по три жены бывает. Ну, не в городе, а в деревнях по три жены — так говорят.

ТАТЬЯНА. И у него так? Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять? Ой, дурко ты, Манька, дурко. Сядьте тут, Рустам. То есть сиди тут, Рустам. Нет, стой там! Ой, уйдите все! (*Рыдает*.)

Все долго молчат.

Татьяна, вытерев слезы, начинает громко кричать, обращаясь к Рустаму.

ТАТЬЯНА. Э, Рустам?! Объясняю ситуэйшен: это — моя брат. (*Тычет пальцем в Мишу, Миша ест и смеется.*) Это — мой дочка! (*Тычет пальцем в Лизу.*) А моя отца пошла жениться! Она — скоро! Это наш изба! Это наша стол! (*Молчит.*) Как ему сказать, что отец скоро из церкви с молодой женой приедет?

МАРИЯ. Дак так и скажи, чего ты орешь? Он понимает. Плохо, но понимает.

ТАТЬЯНА. Да кого он понимает? Как он русскую душу понять может? Он же татарин. И молчит. Ему свинину нельзя, а ты ему холодец поставила. Татарин гость, как в горле кость. (*Кричит в сторону Рустама, встала, из-за букета выглядывает.*) Свинья — нет! Секир башка! Айда аллах! Секир башка свинья! Аллах акбар, алга, понимаешь-?

МАРИЯ. Да ты пьяная совсем, Танька, ну? Что ты разоралась-то, всех сорок в лесу перелякаешь, вон — всполошились, стрекочут. Что кричишь? Он всё понимает.

ТАТЬЯНА. Он же молчит. Даже головой не мотнёт.

МАРИЯ. Ну и что? Рустам, мотни ей головой, пусть отстанет, да?

Рустам хмурится, машет головой.

ЛИЗА (*смеётся*). Собачка у нас в машине так же вот головой кивает, на бардачке стоит. Мама, ну где дедушка? Позвони ему. Что мы тут сидим комаров кормим? Поедим быстро да ехать. Я вас с Мишой отвезу. Ты уже пьяная.

ТАТЬЯНА. И ничего и не кормим. Ты гоняешь, тебе нельзя за руль.

ЛИЗА. А тебе нельзя — ты пьяная.

ТАТЬЯНА. Хоть бы ты переживала, Лиза, кисюля ты моя! Хоть бы ты переживал бы, Мишка! Никто не переживает! (*Рыдает.*) Кисюля ты моя Лиза, ты хоть меня слышишь?! Твой дед женится на двадцатилетней! Ты чуть постарше ее — на два месяца! Ну, надо ведь что-то делать-?

МИША. Снять штаны и бегать! (*Смеется, выпил.*)

ТАТЬЯНА (*кричит*). Рустам, моя понимай тебя, а ты меня понимай, нет?! (*Молчит.*) Да хер ты понимаешь, татарва.

МАРИЯ. Да что ты к нему пристала? Кисюля, кисюля. Задолбала.

ТАТЬЯНА. Меня прям потрясает ваше равнодушие.

МИША. Анекдот. У бабы спрашивают: «Ты с ним по любви или за деньги?» Она отвечает: «Конечно, по любви. Три рубля — разве это деньги?!» (*Хохочет, выпил.*) Смешно?

ТАТЬЯНА. Ужас. И этот татарин молчит. В воде черти, в земле черви, в Крыму татары, в Москве бояре, в лесу сучки, в городе крючки. Понял?

МИША. Ну, ты даешь. Запишу.

ТАТЬЯНА. Я вообще-то закончила филфак.

МИША. А я фак журналистики. (*Смеется.*) Ты ни дня по специальности не работала.

ТАТЬЯНА. Можно подумать, ты работал.

МИША. А зачем мне работать? У меня же папа. Да мы с тобой, можно сказать, люди искусства. Искусственники, значит! Не работаем! (*Смеется.*)

ТАТЬЯНА (*кричит Рустаму*). Моя отца женилась! Взяла девка молодой отца моя, понимаешь?! Я ей, отцу мой, — дочка! А эта — мой дочка! А эта — моя брат! А наша отца на бип-бип ехать из мечеть, из церкви поехала с молодой жинкой! Понял?! (*Молчит.*) Да блин, где ты нашла этого татарина?! Почему я должна так тратиться, орать ему всякое, язык ломать?

МАРИЯ. А ты не ломай. Что ты к нему привязалась?

ТАТЬЯНА. Потому что я не вижу тут союзников! Дак я хоть с татарином в союз вступлю в этой ситуации!

МИША. Они триста лет ордой сидели на шее русского народа. Союз республик татарских! (*Смеется.*)

МАРИЯ. Он мне крышу ремонтирует. Еще вскопал огород. Еще калитку починил. И теплицы подлатал.

ТАТЬЯНА. Дак он гастарбайтер?! А ты его с нами за стол?!

МАРИЯ. Он не просто гастарбайтер. И потому он — за столом. Он ремонтировал мне крышу, а потом спустился…

Молчание.

ТАТЬЯНА. А? Что?! В смысле? Ты что? Ты шутишь, да? Он моложе тебя на сорок лет!

МАРИЯ. Ну, если чутка точнее, на сорок пять. (*Ест, смеется.*)

ТАТЬЯНА. А?! Что?! Ты шутишь, Маня, кисюля моя? Он — значит, да?! А ты перед ним в халатике, в таком затрапезном виде, с таким вот термоядерным декольте?! То есть совсем семья?!

МАРИЯ. То есть совсем семья. Нормально я одета. Отвали. Не позорь меня при нем.

ТАТЬЯНА. А папаня наш не от тебя ли этой свободой, этим свободомыслием заразился?! Он сюда на дачу в последнее время часто нырял, дак — значит, от тебя?!

МАРИЯ. Чем он заразиться от меня мог? Хватит тебе. Выпей вот и молчи.

ТАТЬЯНА. Маня! Очнись! Проснись! Ты с гастарбайтером сожительствуешь?!

МАРИЯ. Уже почти полгода. И он татарин, а не таджик и не узбек. То есть он не гастарбайтер. Он такой же гражданин России. Как и все. Только молодой.

ТАТЬЯНА. Дак и что теперь, старухам, гражданкам России, разрешается с молодыми гражданами России, с нацменами, разврат делать, так, что ли, кисюля?!

МАРИЯ. Танька, ну помолчи, а? И на отца не выступай, как приедет. Ленин говорит: воруй, Сталин говорит: не трогай. Поняла?

ТАТЬЯНА. Ты к чему это?

МАРИЯ. Так. Сколько там нам еще осталось? Хоть порадоваться.

ТАТЬЯНА. Маня?! Ты звезданулась! Я вещи называю своими именами! Это же разврат! Это же уму непоп…димо! (*Молчит, ест.*) Нет, нет, мне надо стресс заесть. Я буду это есть, твое. Говоришь, вот эти салаты твои? Нет, не буду! Этот молчун-заде помогал тебе готовить? Я его грязные руки вижу, и я не буду!

МАРИЯ. И не грязные. А просто загорелые. Да, помогал. И не ешь. А это, я ж тебе сказала, — молодая жена заказала, из ресторана, это ешь.

ТАТЬЯНА. На папины деньги?!

МАРИЯ. И что?

ТАТЬЯНА. И это есть не буду. Я не буду ничего есть! Я лучше помру с голоду тут! (*Рыдает.*) Да куда он ее повез, куда он отвезти ее здесь может?! На речку?

МИША (*поет*). «Поедем, красотка, кататься, давно я тебя поджидал! И за борт ее бросает в набежавшую волну!»

ТАТЬЯНА. А правда, может, он ее бросит в набежавшую волну? И дело с концом, и все проблемы решены? Подсказать ему? Позвони ему!

МИША. Папа уже звонил и сказал, когда мы ехали впереди, а он сзади на машине, сказал, чтобы начинали за столом, что — мы, ну, они, мол, — сейчас подъедем. Может, им надо просто в тишине после этой суэты побывать. Может, он на цугундер хочет. (*Смеется.*)

ТАТЬЯНА. Заладил про свой «цугундер»! Что это значит?

МИША. Красивое слово. Я писатель, собираю всякие словечки. Рустам, я писатель, понимаете?

ТАТЬЯНА. Писатель, писатель, тысячу раз уже! В гробу в белых тапочках видала я таких писателей! Дурак! Я тоже писатель! Роман «Сволочи» я

уже написала! Теперь заканчиваю роман под названием «Суки!» Нет, ты его поддерживаешь! Вот она, вот она — ваша поганая мужская солидарность! Вот она! Вы все твари развратные, вы просто куклы, для вас бабы — секс, вы не люди, вы бесстыжие, бессовестные, наглые, подлые!

МИША. Мы же и бессовестные. Ну, ты дала. Конечно, для нас бабы — кекс, а не секс. (*Смеется.*)

ТАТЬЯНА. Смешно тебе? Каламбуришь? Дурачок! Не смешно, нет! Кисюля! Он ведь в церкви с ней венчался, тыфу! С мамой с нашей не венчался! А с этой — венчается!

МИША. Потому что сейчас такая мода. Так все делают.

ТАТЬЯНА. Все кокаин теперь нюхают, сидят на белом порошке, тогда и нам так делать?

МИША. Да что ты завелась? Выпила, орать давай. В церкви молчала.

ТАТЬЯНА. У меня язык отнялся потому что! Я что, на нее кинуться должна была? Там поп с кадилом ходил, как я на него закричу?! И что я закричу? Что я — против?! (*Кричит.*) Э, Рустам?! Это — наш изба! Наш дача! Я тут маленький бегал, а теперь тут вот! (*Рыдает.*) А теперь тут будет Наденька — жопка гладенька хозяйничать! Одна мучка, да не та ручка!

МАРИЯ. Да, я помню, как ты маленькая и засратенькая жила тут всё лето, тут бегала в коричневых колготочках! Наталья с Германом тогда часто тут были. А потом Лизка маленькая тут росла, ко мне прибегала, я ей пирожков пекла со щавелем. Я квартиру сдавать в городе стала лет 20 назад, как раз она родилась. Раньше жили тут, а потом перестали. Лизка, ты помнишь? Ты меня любишь?

ТАТЬЯНА. Ты нам не совсем соседка. Кисюля, ты нам родственница. Вот ты и приглядываешь без оплаты за домом.

ЛИЗА. Люблю, конечно, баба Маруся.

МАРИЯ. Не зови меня бабой при Рустаме. С ума сошла?

ТАТЬЯНА. Замолчите вы, все бабушки и все внучки! Ты отцу двоюродная сестра, ему 65, тебе 65, замолчи, ты старая, старая! (*Кричит Рустаму.*) Он — мой тетя, понимаешь? Он — родной тетка мой!

МАРИЯ. Да не родная я вам, а троюродная, седьмая вода на киселе. Соседка почти.

ТАТЬЯНА. «Киселе, киселе»! Кисюля! Ты тоже — прибаутошица наша! Ты тут в лесу совсем озверела, гляжу??!

МАРИЯ. Моя бабушка и твой дед были двоюродными. Такое вот у нас родство. И потому дачи выстроили рядом.

ТАТЬЯНА. Хватит мне тут рассказывать про своё гинекологическое дерево! Хватит! Ты дурак, Рустам, скажу тебе по-русски, хоть ты и не понимаешь! Дурачина ты, простофиля! Связался со старой, дурак!

МАРИЯ. Танечка, не завидуй. Я даже и не слушаю. (*Встала, стоит рядом с Рустамом, положила локти красиво на перила, улыбается, закурила.*) Ой, какой воздух тут — чудо! Как красиво у нас. И в город не езди. Лес, речка, грибы. Смотри, смотри: зайцы бегают, видишь? Красавчики наши ушастенькие. Пусть, пусть он Наде покажет места наши привольные. И бассейн есть во дворе. А раньше тут просто сарайка стояла, чуланчик, в нем мы хранили лопаты да ведра. А потом — видишь, как поднялись, Рустам? Такую домину выстроили!

ТАТЬЯНА. Давай запой еще тут, как Зыкина про Волгу!

МАРИЯ. И запою. (*Поет.*) «Ты Россия моя! Золотые края! Я твой тонкий колосок!»

ТАТЬЯНА. Помолчи! И так на душе кошки скребут, а еще ты тут воешь, как радио!

МИША. «Мама каку поет», — ребенок сказал про маму, я слышал в трамвае, когда мама пьяная пела. (*Смеётся.*) Кстати, про наше озеро. Там ведь лебеди жить стали? Ну вот. Есть «Лебединое озеро», а можно назвать «Лошадиное озеро». Это когда танцуют толстые балерины. (*Смеётся.*) Смешно,

да? Я писатель, Рустам, я всё время ловлю какие-то словечки из воздуха. Мне надо жизнь зафиксировать.

ЛИЗА. Ой, как вы мне все надоели.

МИША. Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко: хоть за курицу, да на свою улицу, хоть за помело, да в своё село, хоть за Лыску, да близко, хоть за петушка, да за милого дружка. (*Смеётся.*)

ЛИЗА. Чего?!

МИША. Я говорю: не грусти, грудь не будет расти. (*Смеётся.*)

ЛИЗА. Ой, надоели вы мне все до смерти, ужас просто как.

ТАТЬЯНА. Миша, писатель ты наш! Ты написал одну книжонку к своему сорокапету и больше не написал ничего, так? И книга твоя про что? О! Фэнтези! О, мы в мире грез! О, ты в мире грез! О, боги Скандинавии!

МИША. Таня, успокойся. Танечка, моя книга имеет жизненную подоснову. Да, действие происходит в фантастическом лесу в Скандинавии. И что? Мы все живем в фантастическом лесу. Вся наша Россия — это некая, понимаешь, Скандинавия. Кстати, издана моя книга тиражом 500 тысяч. Это, кстати, понимаешь? Не хило, нет? И я еще много напишу, Рустам.

ТАТЬЯНА. Ой, ну как же?! Он вставил свои пять копеек про тираж в пятьсот тысяч! Миша! Ты влез в эту тусовку писательскую, в эту корчагу гнилую, в Союз писателей, и ты там с ними только керосинишь! И вы там разговариваете про что-то высокое, да, но вы все там на деле — алкашня последняя, тунеядцы, бомжи! И ты не работаешь, Миша! Книга издана в мягкой обложке, ее читают дуры в трамваях и в электричках! О, да! Фантастический русский лес! С добрыми медведями и красивыми красавицами!

МИША. А тебе нужен унылый реализм? Тебе про хрущёвки надо писать? «Тьмы низких истин нам дороже...»

ТАТЬЯНА. «... нас возвышающий обман». Знаю, плавали!

МИША. Ты, что ли, работаешь, Таня? Папа нас всю жизнь содержал. Но это очень интересно! Вот как, оказывается?! (*Смеется.*) Дак ты всё-таки прочитала-таки мою книгу? Молодец. А говорила: нет. (*Смеется.*) Таня, фэнтези — это всё. Россия — это фэнтези. Я сейчас обдумываю новый сюжет. Такой же. Фантазийный. Про Россию.

ТАТЬЯНА. Вот тебе сюжет, Миша: про фантастический, фантазийный русский лес. Значит, была у зайца изба лубянная, а у лисы ледяная. Дальше — знаете, что случилось? Заяц — наш папа. Лиса — понятно кто. У зайца в доме было простое радио, а у лисы было только сарафанное радио, а сарafана у нее не было вообще...

МИША. Бред какой. Успокойся.

ТАТЬЯНА. Да, бред! Ну, куда уж мне додуматься до скандинавских богов... Это только с большого бодуна можно придумать такое, как у тебя...

МИША. Хватит. Надоела. Давай не будем поднимать вообще эту тему, хорошо? Ну что про нас Рустам подумает?! Да, Рустам?

Слышно, как к воротам дома подъехала машина.

Звякнула калитка, и к веранде идут Герман и Надя.

Герман молодится, волосы покрасил, а Надя и молодиться не надо: совсем девчонка. Как будто внучка с ним рядом под ручку идет. Идет, улыбается, букетом цветов размахивает. Герман в черном костюме с бабочкой, Надя в свадебном платье.

Входят на веранду. Герман Надю прижимает к себе за талию, целует. Все встали из-за стола.

МАРИЯ. Ой, вот они и наши молодые! Ну, накатались? Добро пожаловать! Ну, где вы там были, мы заждались, садитесь сюда, в центр стола, будем отмечать! Сюда, сюда!

ТАТЬЯНА. Да, садитесь, отметим. 15 лет Жебайке, триста лет гранено-му стакану, тысячу лет богам Скандинавии — Фрея, Тор, Локи, Шмора и Боря — или как там их зовут — вот что будем отмечать!

ГЕРМАН. Друзья! Родные мои! Я так счастлив! Я так счастлив! Таня, Миша, Лиза, Маша, Рустам, я так счастлив! Наденька, а ты как?

НАДЯ. Что?

ГЕРМАН. Ты счастлива?

НАДЯ. И я тоже, естественный процесс.

Садятся за стол, платье Нади гремит крахмалом.

ГЕРМАН. Я Надюше показывал пляж тут на реке, у Разбойничьего острова, куда мы всегда ездим летом. Ездили. Теперь будем туда с Надей ездить! Пикники, пикнички устраивать там будем, да, Надя? Шашлычки, салатики, ушица — всё у нас там будет, да?

НАДЯ. Естественный процесс. Мне что-то правая туфля жгёт прямо. Я босиком тогда буду, ага?

ГЕРМАН. Наденька! Друзья мои! (*Взял фужер с вином.*) Надя, да, вот это я тебе хочу сказать! Это наш дом, да! Тут была просто полянка много лет назад, мы приводили ее в порядок, в девяностые мы тут садили всякое, а потом — вот газон теперь, бассейн даже, цветочки, качелька вот там тут у меня, Наденька... Теперь мы тут редко, чаще всё за границей, а это нехорошо, неправильно... Потому что Россия...

ТАТЬЯНА. Кончай, папа, за Россию переживать. Надя! Мы приводили это место в порядок вместе с нашей мамой, Надя! Стояли раком тут всё лето, Наденька! Работали как проклятые, чтобы создать это всё. Маму нашу звали Наталья, Наденька, кисюля вы наша. Зовут то есть. Она жива еще, Надюшечка, если что.

НАДЯ. Я знаю. Если что.

ГЕРМАН. Подожди, Таня. Так вот, Надя, тут у меня словно всегда включалось что-то в зрении. Я тут, на природе, всегда видел иначе жизнь и что-то понимал о ней ...

ТАТЬЯНА. Ну, давай расскажи нам о своем понимании жизни, о зрении давай: понеслась душа в рай, а нога в милицию! Расскажи нам: бегу, волосы назад, рубаха пузырем...

ГЕРМАН. ...И вот тут, глядя, скажем, на листок, упавший с березы в бассейн, или на паутинку, где паук ест свою мушку...

ТАТЬЯНА. Хороший образ, папочка. Только кто тут паук?

ГЕРМАН. ...Да, да, тут только я вдруг видел жизнь иначе, в увеличительном стекле! И я тут бывал счастлив в соединении с природой! Но счастье ушло... Когда-то оно ушло... Говорят: у бога дней не решето... А теперь, Надя, мне снова хочется приманить его, счастье моё, мне так хочется счастья!

ТАТЬЯНА. Молодец, папа. Всю ночь гребли, а лодку отвязать забыли.

ГЕРМАН. Что — молодец? Что, Таня?

ТАТЬЯНА. Ну, как в том анекдоте.

ГЕРМАН. Я не знаю никаких таких анекдотов. А ты можешь помолчать, дочь моя? Надя, она очень злая выросла, не обращай на нее внимания, Наденька.

НАДЯ. Естественный процесс.

ГЕРМАН. Ну и вот. Выпьем же, друзья, за счастье, которое хочется приманить!

ТАТЬЯНА. Много не пей, папа. Впереди брачная ночь, вдруг чего...

ГЕРМАН. Да, счастье где-то тут рядом, в листве, в птицах, в том, что ты, любовь моя, наконец-то рядом!

НАДЯ. Да. Давайте выпьем. Сижу, чего вставать-то.

ТАТЬЯНА. Конечно, сижу. Не стоймя же. Надечка, кисюлечка моя, как вы хотите, так и сделайте, родная моя, да, заинька?

ГЕРМАН. Прекрати, сказал.

ТАТЬЯНА. Я и не начинала.

НАДЯ. Эти стулья пыльные. А платье белое. Кто бы протер? И от кого это пахнет? Чем это пахнет?

ТАТЬЯНА. Простите, что не приготовились, не вымыли тут, не протерли всё к вашему приезду, волновались сильно.

ЛИЗА. Мама!

ТАТЬЯНА. Да, а пахнет — ну, не знаю, от кого. Миша, от тебя? Нет. От Лизы? Нет. От папы, вашего мужа? Нет, он пахнет одеколоном «Босс»! От Марии, наверное, а? Ну, проще — от бабушки Маруси? Да нет! От кого же это пахнет, как от китайца? А это либо вот от нашего Абрама-Ибрагима-Рустама запашидзе, он не понимает русского, с ним можно запросто. Ну, вот. Или, может, остались еще вы, Наденька? Не от вас запашок?

ГЕРМАН. На платье тебе упала божья коровка. Их тут много летает. Смотри, какая красивенькая, ползет, сейчас полетит!

ТАТЬЯНА. Это знак от бога. А что еще-то? Божьи коровки на нас на всех падают — и сразу лапки кверху, и ссыхают. А вот с вас — они взлетают, взмывают, как с космодрома. А на нас — на нас они лапки кверху. Это знак. Вы другая, мы — тоже. Мы — барахло, а вы — модель и селебрити.

НАДЯ. Чего? Какой знак? Я что-то ничего не понимаю?

ТАТЬЯНА. Знак, что нам пора домой улетать. Мы ведь как божьи коровки. Вжик! — и нету нас, в небе уже, у бога. Да и мы теперь тут никто. Нам надо валить, да, Лиза? Да, Миша? Поехали. Кончен бал, погасли свечи. Понеслась корова в щавель.

ГЕРМАН. Мы только начали застолье. Только всё началось.

МАРИЯ. Я протерла стулья, Надя, садись уже тут, пересядь сюда...

НАДЯ. А мы давно на «ты»?

МАРИЯ. А?

ТАТЬЯНА. Простите ее, княгиня, кисюля вы наша, простите ее, глупую, вырвалось у нее, она не со зла! На «ты», на «ты», на «ты» — ты с кем, б..., Маня??!

МИША. Выпьем, да? Надя? Шампанского?

НАДЯ (*смеется*). Да я и водки могу хряпнуть. Делов-то. Естественный процесс. Согреться надо. В машине так дуло, окна открыты были. Но красиво тут везде всё, да.

ТАТЬЯНА. Когда ехали, платье развевалось, да, Надя? Опасно это. Вот Айседора Дункан так же вот ехала в платье в таком, в шарфике, а шарфик закатало в колесо, и...

НАДЯ. И что?

ТАТЬЯНА. И померла. А Есенин с горя потом тоже — чивырк! — и вздернулся тоже.

НАДЯ. Правда?

ТАТЬЯНА. А вы не читали, кисюля?

НАДЯ. Нет пока. Я вам совсем не кисюля.

ТАТЬЯНА. Ну, и бог с ним. С ними со всеми. Пусть их всех в колесо закатывает. «Ну, понеслась!» — сказали две курицы и поднатужились.

НАДЯ. Ой, нет, водки мне нельзя же, я же забыла. И шампанского тоже. Мне же рожать скоро.

ТАТЬЯНА. Что? Вдруг пронеслась собачья будка, а с ней собака на цепи! Ого! Ну, всё. Кого рожать? Кто рожать? Когда рожать? Уже рожать? Всё, говорю! Пошла горбатая вприсядку.

НАДЯ. А кто меня трогает за ноги под столом?

МИША. Не я.

ТАТЬЯНА. Это котик наш жмется к хорошему человеку! Кисюля наша бродит среди ног, как в фантастическом лесу Скандинавии!

МИША. Надоела. Выпьем!

ТАТЬЯНА. Хорошо. Тогда я тост, ага? Значит, объясняю тебе, Ибрагим, Рустам или Абрам, как там тебя... Итак! Кисюля наша, Рустам, введу тебя в курс дела. Это — моя отец, этот — его жинка, этот — мой тетка. Понял?!

Да провались вы все тут — всё вам объяснять! Короче, папа, поздравляю вас обоих, и вас особенно, Наденька!

НАДЯ. А почему это меня особенно?

ТАТЬЯНА. Потому что у вас такое приобретение, в смысле, кисюля моя, в первый раз вы замуж, а папа — во второй, а для вас — один раз, как говорится...

НАДЯ (*встала, держит фужер*). Да, да, спасибо вам. Это сок. Тут воздух, конечно. Я была тут с Герой один раз...

ТАТЬЯНА. Я и говорю: один раз...

НАДЯ. А вы можете помолчать, нет? Спасибо. Ну, мы с Герой не деревенские жители, мы будем жить в городе в основном. Там — хорошая квартира, три комнаты. Тут — да, но мы — нет.

ТАТЬЯНА. Понятно. Там — да, но тут — нет.

НАДЯ. Да. Тут — нет.

ТАТЬЯНА. Пусть невестка и дура, только б огонь пораньше дула.

НАДЯ. Что? Гера, ешь, закусывай, не обращай внимания. Таня, Татьяна Германовна, вы мне так вот не говорите, а?

ТАТЬЯНА. Что именно?

НАДЯ. Ну, вот это вот: «кисюля, кисюля». Ну какая я вам «кисюля»?

ТАТЬЯНА. А что такого? Вы же Гере, Герману то есть, ну, Герману Сергеевичу, папочке моему старенькому, говорите, поди, «Зая!» Нет? Так вот говорите: «Зая, поедем в Дубайю!»? Нет? Не говорите?

НАДЯ. Нет. Мы не собираемся в Дубай. Мы будем экономить. Я работаю. Гера работает. Детей надо на ноги поднимать. Я рожу, детям нужны деньги.

ТАТЬЯНА. Нет, ребенку денег не надо. Ему надо ласку и доброту.

НАДЯ. Денег надо всем. Естественный процесс.

ТАТЬЯНА. Ну, вам-то точно надо денег, Надежда Патрикевна.

НАДЯ. Я не Патрикевна. Я Семёновна.

ТАТЬЯНА. Лису в сказке зовут Лиса Патрикевна. У нее еще на стенке висит радио сарафанное!

НАДЯ. Я не читала.

ТАТЬЯНА. Думаю, вы не умеете. Ой, да вы не кисюля, а лисюля! Такая вот хитрая, хитренъкая лисичка! Не вы, нет? Вы разве не лиса, нет?

НАДЯ. Как вы много говорите, Татьяна Германовна. Вы хотите скандала? Его не будет. Гера, молчи! Мне надо с ней разобраться и поставить все точки над «ё».

ТАТЬЯНА. Над «и».

НАДЯ. В данном случае — над «ё». Татьяна, я люблю Геру, вашего отца. Вас смущает что-то? Разница в возрасте, да?

ТАТЬЯНА. Разница в воздухе. Вам вот тут — то плохо пахнет, то воздух — чудо. Интересно девки пляшут, если снизу посмотреть. Да?

НАДЯ. Ой, всё. Я вас и вашего юмора совсем не понимаю. И не собираюсь понимать. И я тут не буду под чьей-то подошвой, словно меня из жалости в дом позвали прислугой работать. А раз мы муж и жена, то на правах хозяйки я вполне могу, если меня оскорбляют, я могу нежеланным гостям показать на дверь. Такой вот мой тост. (*Села, ест, улыбается*.)

ТАТЬЯНА. ЧТО?! Что ты сказала?! Ты меня, сикуха поганая, меня, меня, меня ты будешь гнать из моего же дома?! ЧТО?!

НАДЯ. У вас дом в городе. А тут — дача. И она наша с Герой.

ТАТЬЯНА. Нет, ты понял, Абрам-Ибрагим-Рустам?! Нет, ты понял?! Он ему — жена! Он меня — пугайтен! Абрам, слышишь?!

РУСТАМ (*вдруг громко*). Вы меня простите, пожалуйста. Меня зовут Рустам. И не надо так кричать. Я всё понимаю, и я спокойно говорю по-русски.

ТАТЬЯНА. Вот как?! Еще один вылупился жених?! Как война — мы шмыг тайга, как медведь — мы зареветь, кедр лезем, шишка бьём, бурундук мозга трясём?! Каля-балясы Пятачок, зур-зур секрет белям? Киш-бабай, киш-бабай! Дед Мороз идет! Мин син ярутам, приходи к воротам! Так?!

РУСТАМ. Вы про что? Я вообще не понимаю?

ТАТЬЯНА. Про то я! Про то! Мария, ты зачем врала, что он не понимает?

МАРИЯ. Чтобы ты к нему не приставала.

ТАТЬЯНА. Я не пристаю, к нему Миша пристает. А ты, кисюля татарская, что ж ты молчал, как шпион? Сведения собирал?! Да зной, вот моё сведение, раз так: я такие вот браки считаю преступлением! Понятно? Сообщи там всему Татарстану! Потому что я вижу, что за этим стоит! Что тут ни о какой любви, как она говорит, нет речи, и что ни о каком счастье, как он говорит, — нет и быть не может! А я назову всё своими словами: ему надо похоть свою удовлетворить, а ей надо только одного — его денег и положения, и всё! Тут всё яснее ясного, нечего и к ворожее ходить! И не говорите мне, что бывает иначе! Я жизнь прожила, и я знаю, что иначе не бывает!

ЛИЗА. Мама, поехали. Жебайку найду, и поехали.

МИША. Я тоже с вами. Хватай мешки, вокзал отходит. (*Смеется.*) Рустам, приятно было познакомиться.

ТАТЬЯНА. Сядь, я не всё сказала!

ГЕРМАН. Пусть говорит. Интересно.

ТАТЬЯНА. Ты, зая Рустам, ты что, ты тоже любишь свою бабушку? Ее дряблое тело, да? Или тебе её дом понравился, дом в четыре комнаты? Нет, конечно, — не дом, тут любовь! Верю, знаю — любишь ты свою бабку! Ты ей тоже говоришь: заяля, кисюля?! Или как старичкам-бабушкам-разбойничкам говорят: «Бабуля-седуля, дедуля-пердуля, срамотуля-порнотуля!» Нет?

МАРИЯ. Да не ори ты, весь лес распугала. Рустам, не обращай. Она как выпьет — всегда такая заполошная. Маленькой такой не была.

ТАТЬЯНА. От такой жизни запьешь! Маленькая я не пила, а теперь пью!

МАРИЯ. Не ори, говорю.

ТАТЬЯНА. Я вам не поору! Я вот как сейчас дёрну эту скатерть на пол, чтобы все тут в помой, в крошево, в окрошку превратилось, всё ваше убранство, все рестораны и винегреты, и чтобы платье тебе испоганить, вот как дёрну, так будет вам весело!

ГЕРМАН (*улыбается*). Ну, дёрни.

НАДЯ. И что?

ТАТЬЯНА. И дёрну! Увидишь, что будет.

МИША. Лучше дёргай в морге покойника за нос. (*Смеется.*) Нам и правда пора домой. Поехали.

ТАТЬЯНА. Нет, я договорю! Ты посмотри на нее: глиста в корсете, клизма с пенициллином, посмотри! Поганому виду нету и стыду! Нет, я не уйду, пока ты не напишешь!

ГЕРМАН. Что?

ТАТЬЯНА. Завещание напиши — при нас при всех, вот тут. И не забудь там меня с Мишой, да и Лизу до кучи упомянуть. Напиши тут! На салфетке, при всех, без нотариуса! Сейчас напиши, а я посмотрю, как у нее морда, рожа-то вытянется до третьей пуговицы, до земли, посмотрю!

ГЕРМАН. Напишу. Завтра. И не на салфетке, а у нотариуса. Раз так хочешь.

ТАТЬЯНА. Договорились. Хорошо. Тогда я поеду сейчас, но каждый день буду звонить тебе и напоминать. Ты понимаешь, кисюля, что она на твое богатство нацелилась, и она будет ждать, когда ты крякнешь, а может — травить тебя медленно будет?! Понимаешь?! У нее, поди, мышьяка полкило вот тут, в лифчике, в титьках для тебя запрятано! А потом она тебе в гробу будет ласково носик ваткой припудривать!

МАРИЯ. Таня, уходи.

ТАТЬЯНА. Не уйду!

ГЕРМАН. Так, вы что тут начали? Меня всё начинает бесить. Вы что устроили тут мне Олимпиаду в Париже, Тайную вечерю, бал уродов?! Сидят

тут всякие татары, русские и мне выговаривают, выволочку мне устраивают, а?! Вам какое дело до моих дел, а?!

РУСТАМ. А татары тут при чем? Как что — так сразу татары, да?! Я вообще молчу. Я тут вообще не при делах. Зачем вот я пришел? Чурка, чурка — надоели.

МАРИЯ. Никто тебя чуркой не называл.

РУСТАМ. У них в глазах написано, что я для всех — нацмен и чурбан.

МАРИЯ. Ничего там не написано, сядь.

ТАТЬЯНА. Вот еще одна, поздоровайтесь, полюбуйтесь! Братик и сестрица из одного выводка, одна порода! Стыд не дым, глаза не выест! Машенька и медведь! Тут — заяц и лиса, а тут — Машенька и медведь татарский! У нее тоже муж молодой, на сто лет её моложе!

МАРИЯ. Я тебе сказала: на сорок пять. И я не прячу свой возраст. Рустам знает.

ТАТЬЯНА. А чего его прятать? Делай, не делай подтяжки, уколы, ботексы-шмотексы, а руки-то вот они, ручки шаловливые, вот они, сразу видно: старые! И брылы тут вот висят под подбородком!

МАРИЯ. Сама ты брылы. Ничего тут не висит.

ГЕРМАН. А чего я должен стыдиться, Таня?

МИША. Ассалям алейкум, Гитлер-ага! Так кино про войну на казахскомозвучивают. Это я тебе, Рустам.

РУСТАМ. А я тут при чем? Нет, ну, дурдом какой. Пошли домой.

ТАТЬЯНА. Домой зовешь бабу Маню? К себе домой, да? Как ты там, дом еще не переписал на себя?

РУСТАМ. Пошли, Мария!

ТАТЬЯНА. Всем сидеть! Постой, татарин, дай саблю наточить! Я что, одна должна эта расхлебывать?

МАРИЯ. А ты не расхлебывай.

МИША. «Идут татары-горемыки, несут петицию Громыке...» Это из детства. (Смеется.)

ТАТЬЯНА. Ты в детство впал?! Ты какого хера барагозишь тут мне?! Он детей нарожает, нам ничего не оставит, а тебе шуточки да прибауточки, да вот эти вот твои какие-то собачьи частушки про сарафанное радио?

ГЕРМАН. А тебе мало своего?

ТАТЬЯНА. Мне хватает. Но я не хочу чужим отдавать дом наш. Папа, ты, кажется, пьешь, ты сдвинулся от пьянки и такоетворишь, да?

МАРИЯ. Пьющая тут только ты одна.

ГЕРМАН. Я не пью давно, Таня. Закодировался. И нарожаю. Тебе, что ли, на стол положу, если нарожаю? Ты, что ли, их воспитывать будешь? Ты что вообще можешь, кроме как орать?

ТАТЬЯНА. Папа, папочка, они тебя не папой будут звать, а дедом!

ГЕРМАН. Кто?

ТАТЬЯНА. Дети твои, если она от тебя их родит, а не от твоего шофера, как в кино бывает!

ГЕРМАН. У меня нет шофера.

ТАТЬЯНА. Ну, от швейцара, от водопроводчика, от почтальона — блин, от кого хочешь! И эти чужие дети будут тебя звать дедом, а ты уже будешь лысый, если будешь краситься в рыжий цвет, как сейчас покрасился! Волосы у тебя повылезают! Облысеешь налысо!

ГЕРМАН. Я не красился. У меня от природы такое.

ТАТЬЯНА. Красился, папа! Я помню тебя от природы! Детей этих надо будет поднимать!

ГЕРМАН. Ты вон свою поднимай.

ЛИЗА. Не надо меня поднимать. Я сама поднимаюсь. И Жебайку сейчас из-под стола подниму.

ТАТЬЯНА. Ты видишь? Твоя внучка и твоя жена — одного возраста. Ну?!

ГЕРМАН. И что?

ТАТЬЯНА. А то!

ГЕРМАН. Да какое твое дело?

ТАТЬЯНА. Год семьи, и брака, и традиционных ценностей у нас президент объявил, а вы тут такое устраиваете!

МАРИЯ. Мы как раз браки и устраиваем и традиционные ценности.

ТАТЬЯНА. У вас не традиционные ценности! А ты, Миша, — вообще дурак, заходи — никого дома нет, червяк тут у тебя в голове, не все дома! Не можешь меня поддержать!

МИША. Вот что я скажу насчет того, что у меня не все дома и что я дурак...

ТАТЬЯНА. Да помолчи уже! Писатель! Младший помощник старшего подметалы! Квакает тут из болота! Да что это за мода пошла такая, да что это все с молодыми давай, да что это все кругом стали Пугалкины?!

МИША. Хватит, Таня! Помолчи, послушай. Я хочу, чтобы не уезжал никто никуда и не уходил бы. Я позвонил маме, и она сейчас приедет.

ГЕРМАН. А зачем?

МИША. Ну, чтобы решить тут все вопросы, чтобы не откладывать в долгий ящик, и чтобы договорить всё и всем успокоиться. Папина женитьба всех так привела в волнение.

ЛИЗА. И бабы-Марусина тоже!

МАРИЯ. А за Марсю не волнуйся!

ТАТЬЯНА. Кто приедет?

МИША. Мама приедет! Сидеть!

ТАТЬЯНА. Они с отцом в разводе десять лет почти. Чужие люди. Зачем ей приезжать?

МИША. Мы их дети — затем.

К воротам подъехала машина.

Вот мама, легка на помине. Она мне написала, что едет.

ТАТЬЯНА. И мама тут... Вот ура! Чудо! Приехала наша мать-настоятельница...

От калитки к дому идет Наталья, ей 65 лет, рядом идет Игорь, ему 20 лет.

НАТАЛЬЯ. Я всё слышу. Сама ты мать, и сама ты настоятельница. Ну, привет всем. Ну, еще с дороги слышно вас — скучутся. Как обычно. А что еще делать? Скучно им, вот и скучутся. Белкины, одно слово. Бакланы, второе слово. Ой, нет, сороки, сороки, сороки! (Смеется.) Красавы. Дурачье. Игорь, проходи, садись. Ну вот, я снова ин дер цухаузе! Дом стоит еще? Сто лет тут не была.

ТАТЬЯНА. Ты от Парижа устала, кисюля. Понятное дело. И сто лет бы тебе еще тут не бывать. А зачем? У тебя и так всё в шоколаде...

НАТАЛЬЯ. Что, Танечка? Здравствуй, дорогая. Игорь, садись, сказала, ешь. Здравствуйте все! Ой, стол какой!

МИША. Мама, ты в своем репертуаре. А где Никита? Уже — всё? (Смеется.)

НАТАЛЬЯ. Ой, Миша, ты тоже тут? А, ну да, ты же мне звонил. Я совсем замоталась. Привет тебе, Михуил, привет. Гера, здоров тоже. Машка, ты не меняешься, всё такая же защеколда. А это твой новый хахаль? А старый где?

МАРИЯ. Наташа, на себя глянь.

НАТАЛЬЯ. Ну да, да, молчу. А это мой хахаль, так сказать. Новый. Точнее сказать — муж уже. Ой, Игореша, букет забыли в машине, сбегай, прошу, миленький, а? Не в службу, а в дружбу, а?

Игорь быстро идет к калитке, берет в машине букет, несет его к столу.

ТАТЬЯНА. Хахаль, муж. Фу. Слова какие. Скажи уж: прислуга. Совсем позор.

НАТАЛЬЯ. А вы Наденька, да? Здравствуйте. Красивое платье какое. Да, Игорёша, принёс? Ну, подари от нас букет невесте. А, уже жене, да? Ну и прекрасно.

ИГОРЬ (*отдал букет Наде, кричит*). В небо взвиваются голуби мира! Рождается славная ваша семья! И восславляет вас песнею лира! С днем вашей свадьбы, друзья!

ТАТЬЯНА. Это что за... Что за песня Сулико, что за маразм?! А?!

МИША (*поет, хохочет*). Сулико моя, дорогая, не нужна теперь мне другая!

НАТАЛЬЯ. Ой, сколько заготовлено жратвы-то! Так, давайте выпьем за новую ячейку нашего общества ...

ТАТЬЯНА. Мама, ты сейчас в своем уме?!

МИША (*хохочет*). Да она всегда такая была. Мама, ты прелесть.

НАТАЛЬЯ. Ты про в смысле, что я одета в брючный костюм? Ну, я директор театра, нужен строгий костюм, такой, знаешь ли, чтобы был и рабочий, и торжественный. Меня ведь часто вдруг ни с того ни сего из кресла могут вынуть, так сказать. И вызвать сразу к мэру или к губернатору. Театр — главный в области, тут много идеологической работы ведется, да и вестись должно...

ТАТЬЯНА. А они тебе, кисюля моя, ничего не говорят?

НАТАЛЬЯ. Кто?

ТАТЬЯНА. Начальники твои?

НАТАЛЬЯ. Говорят много. Но если ты про Игоря, то это мое личное дело, которое не должно касаться никого — ни в театре, ни тут, в нашем, так сказать, кругу семьи.

ТАТЬЯНА. Тут твоей семьи нет давно уже.

НАТАЛЬЯ. Ну, как нет — есть. Так вот, выпьем за новую ячейку, да я поеду, дел много. Миша позвал, а так бы я не поехала. К тому же тут такая атмосфера — сразу вижу! — много агрессивных людей. (*Достала из сумочки веер, пудреницу, смотрится в зеркало*) Ой, сколько мух. На меня садятся — бр-р-р-р!

ТАТЬЯНА. Мухи редко ошибаются. Ну, что с тебя взять, мама, кроме анализов...

НАТАЛЬЯ. Ты опять всё со своим гнилым юморком. И где ты научилась?

ТАТЬЯНА. Твое воспитание.

НАТАЛЬЯ. Гоняйте вы мух, что вы сидите? Мухи яйца отложат. Надо думать про это. Таня, это неправда. Я тебя такой не воспитывала.

ТАТЬЯНА. Воспитывала, воспитывала. Про что думать, говоришь, мама? Про яйца?

НАТАЛЬЯ. Ну, думай про них. Машина у нас — кадиллак «Эскаладе». Дорогая, да. Для Игоря куплена такая машина. Театр купил. Мне и Игорю. Ну, больше для Игоря, ему нужнее. Говорят, для мужика машина — продолжение его сексуальной энергии. Ой, у меня такой завал на работе. Игорь, ну, что ты столбушком стоишь, сядь уже, не шьешь и не порешь? Ешь, зая, ешь.

МИША. Какой завал? Премьеры?

НАТАЛЬЯ. Да прям. Карьер новый копаем, глину вывозим — теперь прямо на силикатный завод...

МИША. Ты ж директором театра?

НАТАЛЬЯ. И осталась. Одно другому не мешает. Прикупила еще и карьер.

ТАТЬЯНА. Ну, и оформила на Игоря?

НАТАЛЬЯ. Угадала. Надо же думать про отступное. А то губер сменится — и меня под жопу. Как бывало уже с моими предшественниками. С этими губернаторами — триндец просто. Представляете, пришло недавно снять детский спектакль «Мишуткины игрушки». Позвонили из администрации

губернатора: «Снимите эту сказку, этот спектакль, немедленно!» — «Почему?» — спрашиваю. Отвечают: «Потому что нашего губера зовут Михаил Иванович». И что? У него какие-то игрушки особенные? Дурдомище. Сняли. Не губера, спектакль. А тут мы поехали в область на выездной, а там мэр в городе по имени Сергей. И что? Там играть спектакль «Сережа очень тупой» — нельзя. Так что живешь и оглядываешься, как бы не провалиться в болото. А ведь у нас накоплены серьезные компетенции в театре. Мы в театре научились создавать качественный продукт по конкурентным ценам. Понимаете? Главное — коллaborация театра с городом. Ну, и питчинги, фандрайзинг и так далее. Школа Дадамяна. Не слышали? Ну, Кирилл Крок! Не в курсе? Ну, ВТФМ?! Нет? Тоже не подсекаете?

МИША (смеется). Мать, на цугундер тебя надо. Бредишь.

НАТАЛЬЯ. Нет, не брежу. Так что работы много. Я и с администрацией области дружу, точнее, страдаю с ними. Ну, и главное: еще и с этими дебилами, кретинами, мохнатыми зверьками маюсь. Да, да. Это я про артистов моего театра. Их еще называют «тюбики». Надавиши, бывает, а оттуда — сами знаете, что вылезет...

МИША. Тюбики! Это хорошо: тюбики! (Смеется.)

НАТАЛЬЯ. Про них я так говорю, милая Таня, про них, любезных, сердешных. Да, да, при Игоре говорю, он знает моё к ним отношение. Игорь, мне только компотику налей, да? А ты, сына, — уже в лоскуты? Эх, сына-сына. Еще не женился? Ох, сына. Боюсь я за тебя. Ну, да и бог с тобой. Ты, знаю, на бутылочной пробке поскользнешься и уже — в запое неделю, так? Так. Девушку не нашел себе? Или бабушку хотя бы? Нет?

МИША. Мама, да ведь тебе по барабану.

НАТАЛЬЯ. Ты прав. Я вас родила, а остальное уж — вы сами. Ну и ладно. Ну, пьем? Горько?

Все встали, чокаются. Татьяна сидит и рыдает.

ТАТЬЯНА. За что?! За что??!

НАТАЛЬЯ. Что такое? Что с ней? Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. (Смеется.) Будто я и не выходила из театра. Там тоже все истерики. Какие же вы все больные — и тут и там.

МИША. А Игорь — артист, да?

НАТАЛЬЯ. А Игорь — артист, да. Красивый, правда? Не заглядывайся так откровенно.

МИША. Очень, да. Да, красивый. Надо сходить к тебе. Кого он играет? Ромео?

НАТАЛЬЯ. Кота в сапогах в основном. Мальчика-с-пальчиком еще — большая роль, недавняя премьера. Ну, и Буратино — давно.

МИША. И даже Буратино? Очень приятно. Цугундер, цугундер, цугундер...

ИГОРЬ (кричит). Тост за молодых! Чтоб голуби вокруг летали, стучали в новый дом в стекло! Чтоб стены вас добром встречали, в шкафу звенело серебро! Чтоб детским криком огласился еще не раз ваш новый дом! Чтоб ангел в детскую спустился, покой хранил своим крылом!

ТАТЬЯНА (рыдает). Да заткнись ты! Лучше спляши нам танец Буратино! Что-то из твоей деревянной жизни!

ЛИЗА. Мама, кончай.

ТАТЬЯНА. Я еще и не начинала! (Встала, ходит по веранде.) Ну, Лизонька, теперь твоя, стало быть, очередь. Давай доставай из-под стола.

ЛИЗА. Кого?

ТАТЬЯНА. Своего старичка.

ЛИЗА. Какого старичка?

ТАТЬЯНА. Ну, раз у нас такой вот круговорот воды в природе, в смысле — старые с молодыми, то и молодые должны быть со старыми. Раз у нас

тут повальная геронтофилия началась, или как там у вас называется — любовь к отеческим гробам, что ли? Ну, дак — у тебя, Лиза, по логике, должен быть какой-то старишок, нет? И ты, чтобы меня доканать, сейчас мне его предъявишь, да?

ЛИЗА. Мама, у меня всё нормально. Мама, сядь. Какая муха тебя укусила?

ТАТЬЯНА. Не муhi, а комары меня кусают, пьют мою кровь! А муhi просто так пикируют, садятся на меня, как на навоз последний, и яйца во мне откладывают! Он, твой старишок, может, под столом, потому что он липнет, или собачка, или еще что? Главное, чтобы богатый был, вот как твой дедушка! Доставай его за волосы, тяни его из болота!

ЛИЗА. Мама, сядь, у меня всё нормально. Ну вот, под столом сидит Жебайка, котик наш. Иди на ручки, кисонька! (*Взяла кота из-под стола, посадила на колени, гладит, улыбается, разговаривает с ним.*) Ты где был, Жебаечка? Мышей в лесу ловил? Молодец, молодец, молодец какой...

ТАТЬЯНА. Вот и Жебайка наш пришел! Все совсем в сборе!

ИГОРЬ (*кричит*). Ах, свадебные голуби и белые цветы! Невеста ослепительна, жених — под стать любимой! Пусть ваша жизнь семейная, начавшаяся с красоты! И дальше продолжает быть такой неповторимой! Выпьем! Ваше здоровье! (*Пьет, смеется и ест.*)

ГЕРМАН. Таня, что ты разоралась? По-твоему не будет, всё сделано, всё решено. А если тебе надо что-то из моего — так забери. Тебе нужна эта моя квартира в городе? Будто у тебя своей нет? Ну, забери ее. А я куплю другую нам с Наденькой.

НАДЯ. А зачем отдавать, Гера? А с чего это? Это какой-то совсем уж не естественный процесс.

ТАТЬЯНА. Смотри, как вспыхнула, а?! Да не спеши, коза, все волки твои будут.

ГЕРМАН. Я заработаю, Наденька.

НАДЯ. Да нет, тут дело принципа. (*Встала, платье шуршит крахмалом.*) И с чего это меня всякая сявка, всякая шушуваль будет порочить, бесчестить? Я не в канаве валялась, и меня не на помойке подобрали, ясно вам?

ТАТЬЯНА. Правда?! А где? На каком вокзале?

НАДЯ. Помолчи, коза! Кочумай давай, развонялась.

ТАТЬЯНА. Недаром я читала книгу «Как разгадать мерзавца!» Там про мужиков, но и про баб сходится. А тебя тоже не в канаве нашли, Игорь?

ИГОРЬ. Нет, не в канаве. Я, Татьяна Германовна, закончил Екатеринбургский государственный театральный институт, отделение «Актёр театра драмы и кино».

ТАТЬЯНА. Да что ты?! Постой, татарин, дай саблю выхватить! А почемуу картавишь и щепелявишь? А что я тебя еще в кино-то не видела? Пленка у них кончилась?

ИГОРЬ. Стоп, кино. Надя, вот что. Пошли. Мне надоело это всё. Какой-то вонючий скандал. Пошли.

НАТАЛЬЯ (*хихикает*). Да ладно тебе, Игорь, у нас в семье всегда так: скубёмся. Как соберемся раз в пятилетку — так скубёмся, за волосы таскаем друг другу.

ИГОРЬ. Надя, я говорю: можно вас на секунду сюда?

НАДЯ. Куда?

ИГОРЬ. Ну, встаньте и выйдите из-за стола, сюда идите, ко мне. Я же тамадой на свадьбах работаю, знаю, как нужно гостей веселить.

ТАТЬЯНА. А, точно! Он же тамада, подрабатывает после «Кота в сапогах», и сейчас они нам, две обезьянки, станцуют, браво, браво, давай вали, хлопаем в ладоши!

ИГОРЬ. Надя, идите сюда, ко мне!

НАДЯ. У меня туфля снялась, давит... и мозоль...

ИГОРЬ. Не страшно. Можно босиком. Так даже лучше. Мы с вами сейчас возьмемся за руки...

ТАТЬЯНА. И что? И взлетите, как пердёж?!

Надя смеется, вышла из-за стола. Игорь взял ее за руку.

ИГОРЬ. Вот так, прекрасно!

НАТАЛЬЯ. Игорь, ну, какой же ты смешной... Молодец! Развеял тоску!
(Хохочет.)

МИША. Очень красивый.

НАТАЛЬЯ. Миша, завянь.

ГЕРМАН. Я так хотел поддержки, мои дорогие, я так хотел, чтобы вы вместе со мной радовались. Я ведь болею, а вы даже и не спросите... Мы, может, в последний раз вместе собрались здесь...

НАТАЛЬЯ. Ой, да ты еще сто лет проживешь... Какая у тебя еще болезнь?

ИГОРЬ. И мы с вами, дорогая Надя, мы, молодые, мы сбежим сейчас отсюда...

НАДЯ. ...от этих козлищ и козлиц...

ИГОРЬ. ...аки голуби небесные! Ура! *(Кричит.)* Поздравляем вас, супруги, вы теперь одна семья! Жить желаем вам, друг друга уважая и любя! Словно голубь и голубка, вейте гнездышко вдвоем! Чувства трепетно и чутко берегите день за днем! Крепнет пусть союз с годами, и семья числом расстет! Пусть удача будет с вами! Впереди вас счастье ждет!

НАДЯ *(хохочет, хватает Игоря за руку)*. Постойте, Игорь, я не могу, у меня свадьба!

ИГОРЬ. И прекрасно! Я веду свадьбы, я всегда беру инициативу в руки, и всем нравится! *(Хохочет.)* Там часто в конце или в середине свадьбы невесту похищают! А они, все гости, — ищут невесту! И найдут ли? Не знаю! Страшна русская свадьба, как и русский бунт! Обычно невесту находят всегда, но в данном случае — вряд ли! Погнали наши городских делать кучерявими! Бежим, Надя! Ура!

Хохочет, хватает Надю за руку, они бегут к воротам, потом за дом, в лес.

Все визжат, вскакивают и бегут за ними. За столом остались Наталья, Мария и Татьяна. Мария смеется, Татьяна плачет.

Татьяна не выдержала, вскочила, побежала за всеми.

Наталья стоит у перил, смотрит на всю компанию, хохочет.

Темнота Конец первого действия

Второе действие

Все бегут и бегают вокруг дома.

ИГОРЬ. Надя, повторяй! Погода шепчет — зайди да выпей! Ура, ура, ура! Повторяй, ну?!

НАДЯ. Погода шепчет — зайди да выпей! Ура, ура, ура! Повторяй!

ИГОРЬ. Ай, ай, догоняй!

НАДЯ. Ай, ай, догоняй!

ИГОРЬ. Ай-ай, помогай!

НАДЯ. Ай-ай, помогай!

ИГОРЬ. Ай, ай, догоняй!

НАДЯ. Ай-ай, ты слоняй, ты болтай, ты кончай, раздолбай, ты гундяй, ты собачай! Не смеши меня, не теребенькой меня, не разгуливай меня!

Надя бежит за Игорем, он тащит ее за руку. Надя повторяет его слова и смеется.

За ними бегут Герман, Рустам, Татьяна, Лиза с Жебайкой в руках.
Бегут как заполошные по лесу, потом по берегу озера...
Наталья и Мария сидят за столом, едят и пьют.

НАТАЛЬЯ. Ну, какой же он живчик у меня, какой юморной, как он умеет всех завести... Прелесть что за парень.

МАРИЯ. Понеслись по полю танки. Говорила — беременная, а носится, как коза.

НАТАЛЬЯ. Такая и соврет — недорого возьмет. Да пусть она его охомутает, а то он всю жизнь в меду жил. Пусть хоть теперь потянет лямку и помучается.

МАРИЯ. Тебе-то за что ему мстить?

НАТАЛЬЯ. Еще чего. Мстить ему. Я к нему равнодушна. Он мне полоцательен. Он мне отрижителен. Упыри и вурдалаки приготовились к атаке. (Смеется.)

МАРИЯ. Не боишься, что Игореша убежит от тебя?

НАТАЛЬЯ. Да куда он от меня денется... Это не тот коленкор, Маша. Это сейчас другая масть пошла, другое поколение или, как грибники говорят, другая грибница, другой мицелий, другие корешки...

МАРИЯ. Он же за молодой девкой побежал?

НАТАЛЬЯ. И что? И пусть. Что от этих молодых ждать, кроме визга? Я его специально и привезла, раз свадьба, чтобы он повеселил всех. Он умеет. Пусть он роль тамады повторяет. Он часто ведет свадьбы. А там положено невесту воровать. Вот и своровал. Ну, понарошу же. И смешно: «Ай-ай, донгай! Ай-ай, не скучай!».

МАРИЯ. Артисты, да...

НАТАЛЬЯ. А ты своего никуда не отпускаешь бегать, что ли? Или вот так сидите невесело над грядкой с редиской? Тогда, Маня, скажу тебе: плохо кончится. «Всей беды одно начало: сидела женщина скучала», — кто-то сказал стихи. Поняла?

МАРИЯ. Да куда он денется. Как твой, так и мой. Сорок лет — бабий век. А мне уж — сама знаешь... Да и тебе.

НАТАЛЬЯ. Побежал ведь... Плевать. А на что живете? Ты чем своего привязала?

МАРИЯ. Торгуем с огорода, что вырастим. Трасса рядом, там банки выставлю — денег полно к вечеру. Моя пенсия плюс. Да нам хватает. Он хорошо помогает, три теплицы у нас, 26 соток огород. Огородом. Редиской, сама говоришь. Ну, и квартиру я задорого в городе сдаю. Живем. Дом у меня тут широкий, красивый.

НАТАЛЬЯ. Ясно. Молодец, что запрягла его в огороде боронить и вскапывать. Выпьем.

Чокаются, смеются, пьют.

МАРИЯ. А ты чем своего?

НАТАЛЬЯ. Чем артистов привязывают? Деньги, роли. Ой, делимся опытом! (Хохочут.) И что? Я с ярмарки еду. Мне можно. «А сейчас вам клоун Вася обоссыт девятый ряд!»

МАРИЯ. У него в Татарии еще одна семья вроде есть, катается туда раз в полгода. Да и пусть. Говорю же: бабий век — сама знаешь...

НАТАЛЬЯ. Да и правильно. Нам с тобой должно быть — побоку всё. Никаких нервов, никаких ревностей. В нашем возрасте — молчать больше надо и не дергать парней своих, а спасибо говорить, что рядом спят. Ладно. Молчу. Пьем. Поем и смеемся. Пей, не напивайся, люби, Маня, да не влюбляйся, играй, да не отыгryvайся!

Они сидят и смеются, машут руками, им страшно весело, поют что-то.

Страшно весело и Игорю с Надей, они несутся вокруг дома — три круга пробежали.

Потом побежали к воде — по берегу озера носятся.

Потом прибежали во двор к бассейну, вокруг него круги наворачивают. Хорошо, что бассейн маленький.

Прибежали к крыльцу и с криками «Уя, уя!» навернули еще круг вокруг дома.

Вбежали на веранду, упали на свои места за столом, ржут.

Надя держит в руках кролика — поймала. И когда успела?!

Только Татьяна и Герман не смеются, бегали, запыхались.

Они не сели за стол, стоят во дворе, смотрят вверх на веранду, дышат тяжело.

Лиза котика в руках подкидывает и что-то кричит.

Миша тоже бегал, но так — за компанию, по пьяни.

Он в основном за Рустамом бежал, хватал его за руки.

НАДЯ. Игорь! Это было лучшее за весь день! Какая ржака! Я хочу есть! Выпить хочу! Ну, нет — только компот, компот выпить! Гера, не смотри на меня так! Смотрите все! Я поймала кролика!

ТАТЬЯНА. Это заяц! Ну, ты дала, подруга, ну, у тебя и хватка, мать! Зайца поймать!

НАДЯ. Это заяц? Зайцев люди поймать не могут! Они же бегают триста километров в час! Или я — могу? Да, да, я всё, я всё могу!

ИГОРЬ (*хочет*). Какая ты зая, зая какая!

НАДЯ. Зая, ага! Германчик, зая, я поймала заю! (*Хочет*.) Надо его сварить срочно! У меня есть знакомый таксidermist, я сделаю из него чучело и поставлю тут вот на веранде! Красиво будет!

ИГОРЬ. У Чехова чайка стояла, а у нас будет кролик! О, колдовское озеро! И пять тонн любви!

Надя, Игорь и Лиза умирают от хохота.

ГЕРМАН (*во дворе стоит, дышит тяжело, бабочка сдвинулась, волосы расстрапались*). Наденька, подожди! Это что значит — лучшее за день? А венчание? А когда я тебе окрестности показывал? Это было не прекрасно разве? Ведь ты же сама мне говорила... Понятно. С молодым лучше, да?

НАДЯ. Это что, в первый день и — ревности уже? Я так сказала? Я это сказала? Я сказала, что это было лучше, лучше было бегать, чем сидеть в машине, лучше, когда — бегать и видеть всё, лучше, чем мы с тобой на машине катались! Вот это сейчас — было лучше! Зайчик, ну, не сердись, мы немножко растрясли наши нервы и замяли скандалы! Посмотри, какого зайчика я поймала! Ой, он царапает!

Хохочут с Игорем.

ТАТЬЯНА. Пельмени разлепить, фарш в исходное состояние. Отпустите его на волю.

МАРИЯ. Ну, она права, отпусти. (*Взяла кролика у Нади, выпустила во двор, там сразу побежал траву щипать*.) С молодыми можно и побегать. Я бы вот тоже побежала, да вот... А где мои норвежские палки?

РУСТАМ. Почему ты с нами не побежала? Можно было бы с палками! Я бежал за ними с палками!

ТАТЬЯНА. Это идея. Не ходить, а бегать с норвежскими палками. Бабушкам бегать за молодыми — это хорошая идея. Постой, татарин, дай саблю наточить...

МАРИЯ. Да хватит, хватит, Таня ...

НАДЯ. Платье намокло, потеряло форму, колбасой теперь. Да и черт с ним! Китай поганый

ЛИЗА (*села, ест, кормит Жебайку*). А представляете, через много лет, когда нас не будет, нас раскопают, нашу пыль, не нас даже, даже косточек наших не останется, и вот раскопают археологи, найдут остатки наших вещей, наших всяких предметов, не знаю, что еще может остаться, микроволновок там, или не знаю, что не сгниет или еще чего и прочитают: «Маде ин Чина», и подумают, что тут, где мы живем, жили раньше китайцы, и что тут был Китай, представляете?! Китайцы! Где Россия, ау?! Нету!

ИГОРЬ (*хочет*). Китайцы тут жили и сидели на веранде, свадьбы спрашивали, косоглазые!

ТАТЬЯНА. Какая ты умная. Оставь кота мучить.

ЛИЗА. Я к тому, что будет после нас, мама.

ТАТЬЯНА. Ничего не будет. День прошел, число сменилось — ничего не изменилось.

ЛИЗА. А ты, бабушка, почему не побежала?

НАТАЛЬЯ. Директора театров не бегают. И я тебе не бабушка. Однако резво ты, Игорёша, бегаешь.

ИГОРЬ. Я же натренированный, я артист. Я в свободное время занимаюсь сценическим движением, сценбой и так далее...

МИША. И даже сценбой? Как интересно...

ИГОРЬ. А что ты не побежала?

НАТАЛЬЯ. Ну, не солидно мне, говорю же.

ТАТЬЯНА. Ага. Директора театров сейчас не бегают, они сидят в тюрьме сейчас обычно. Даже бабушки.

НАТАЛЬЯ. Сплюнь двадцать три раза! Матери родной такое желаешь.

ТАТЬЯНА. Ничего я не желаю уже ни тебе, мама, ни себе. Как-то сегодня словно треснуло всё, сломалось, и жизнь моя мне кажется такой ничтожной и глупой.

НАТАЛЬЯ. Не завидуй. Найди себе мужика помоложе. Твой-то где?

ТАТЬЯНА. Где, где — рифмуй. Лежит на диване, чешет пузо, подушку давит, жрет чипсы, пузо жиреет у него, и вся недолга. Он сегодня сказался больным, говорит: «Дак там вам и без меня хорошо будет!» Смотрю я на тебя, мама, и думаю: ты мне какая-то подружка, а не мать. Одногодки будто мы с тобой. А мне 45, тебе 65.

НАТАЛЬЯ. Тихо, Игорь слышит. Ай, хотя — пусть.

ТАТЬЯНА. Он думает, тебе 18? Дак нет же. У нас с тобой 20 лет разница, но мы сравнялись: ты старуха, и я старуха.

НАТАЛЬЯ. Ты про себя говори, ладно? Я не старуха. Следить за собой надо. А ты распустёха.

ТАТЬЯНА. Ты вся в подтяжках, в ботоксе, в золоте, а у меня откуда деньги?

НАТАЛЬЯ. А муж?

ТАТЬЯНА. Коней на переправе не едят. Он такой ленивый, вон — не приехал, только отцу смс прислал.

ГЕРМАН. Нет, он мне наговорил. Я не успел еще послушать. Потом послушаю.

НАТАЛЬЯ. Нет, включай сейчас и ставь на громкую связь, мы все послушаем!

Герман нажимает кнопку на телефоне, звучит голос Валеры.

ГОЛОС ВАЛЕРЫ. Герман Петрович, я вас поздравляю. Я надеюсь, вы слышите это один, не при всех...

ТАТЬЯНА. Так, стоп, выключи.

ЛИЗА. Нет, мы хотим послушать.

ТАТЬЯНА. Ладно, черт с вами...

ГОЛОС ВАЛЕРЫ. ...Ну да, так вот. Я просто выпил и хочу вам много, и долго, и красиво что-то сказать... Только если замолчу, да знайте: это я плачу... Знаете, я вас как мужик мужика понимаю. И сильно понимаю. Конечно, я к вашей доченьке, к Танечке, хорошо отношусь. Ну, столько лет вместе... И Лизонька у нас хорошая. Хотя та еще, надо сказать... Ну, не про то разговор. Ребенок она взрослый. Да. Вот именно, да. Взрослый. Простите, я плачу... У нас ведь как принято: посади дерево, роди ребенка, построй дом. Ну, сына не вышло, дочь вышла... Да и остальное — так себе Я уже всё сделал. Я еду с ярмарки.

ЛИЗА (*говорит кому*). Это папочка мой говорит... Все повторяют сегодня про какую-то ярмарку... Понял, Жебай? А когда — да, так — нет. А нет если, то никогда. А когда — что, то как? Да никак.

НАТАЛЬЯ. Почему ты с ним так разговариваешь?

ЛИЗА. Собаки понимают 250 слов и жестов. Могут выполнять команды и считать до пяти. Что примерно соответствует уровню развития пятилетнего ребенка. Коты и кошки понимают всё. Но не будут делать ничего. Что примерно соответствует уровню развития сорокалетнего женатого мужчины. Ну, как мой папа Валера... Итак! Киса, слушай. Вот так. А когда — да, так — нет. А нет если, то никогда. А когда — что-то, то как? Да никак. Вот так. А когда — да, так — нет. А если нет, то никогда. А когда — что, то как?

ТАТЬЯНА. Ты с ума сошла в свои 20 лет. Что это у тебя за книга на коленях?

ЛИЗА. Ты мне дала.

ТАТЬЯНА. А, да. Книга «Как разгадать мерзавца». Очень популярная. Издана тиражом три миллиона.

ЛИЗА. Мне не надо эту книгу, я без нее грамотная, вижу всех. Потому что вот так. А когда — да, так — нет. А нет если, то никогда. А как? Да никак. Включите мне папу дальше.

ТАТЬЯНА. Не надо его.

ГЕРМАН. Нет, пусть говорит.

Герман снова нажимает кнопку на телефоне, снова звучит голос Валеры.

ГОЛОС ВАЛЕРЫ. ...Я уже и дом, и всё остальное сделал, да... И мне, знаете, Герман Петрович, уже всё не интересно. Танечка ведь моя, блин, собачка, она ведь мертвого задрючит... Она ведь покоя не даст мне, когда я дерево сажу, когда я дом строю... Я его построить не успел, а он уже горит, и она, конечно, останавливает коня на скаку и идет в эту горящую избу, выражаясь красивым языком. Вы извините, я выпил, и я поздравить вас хочу, Герман Петрович, хотя я это уже говорил, но меня слезы душат... И я скажу тебе, Гера, на «ты»: как же я тебя, блин, уважаю, что ты всех послал на хер и женился на молодой! Так и надо! Им, сукам, назло! Гера, ты вообще — мужик! Вот так вот взять и сделать — и это дороже дома, дерева и сына, на фиг блин! Я плачу просто вот, Гера, вот кровавыми слезами, блин! Я завидую тебе! Но! «Его пример — другим наука! Но, боже мой, какая сука, нет, скука!» Ты помнишь эти стихи, Гера?! Скука мне страшная! И я решил: а чем я тебя хуже, то есть чем ты меня лучше?! Да ничем, Гера! Да знай: у меня тоже есть молодая любовница, да! Кристина! Я с ней не оформляю пока отношения, но всё впереди! А с Танькой с твоей я — параллельно! А может, она и знает, да и пусть тогда, и насрат! Так вот. Да. Это я не к тому, а вот к чему! Гера, я с тобой на «ты» теперь буду, потому что ты теперь мне не папа, ты мне никто, то есть ты мне просто друг, я с тобой ни в каких родственных связях не состою! Потому что я вообще ухожу от твоей старой Таньки! Наша Таня громко плачет, понимаешь! Да и хер на нее, пускай поплачет, я ее столько терпел! Я просплюсь и завтра скажу ей это всё, а тебе, Гера, — счастья со своей девочкой, и ты мне пожелай, а я тебе песню спою или стишок расскажу, нет, не буду, я пьяный, я буду плакать, расставаясь со своим прошлым, человечество, смеясь, расстается с

прошлым, а я не человечество, а я с прошлым плачу, я к Кристинке к моей не поеду сегодня, сейчас, нет, и Таньке твоей звонить не буду, а утром — всё! Спасибо тебе за пример и за поступок! Понимаешь, уж если даже ты, хрен лысый, старый, если даже ты в свои-то годы начинаешь жизнь с нуля, с начала, то почему бы и мне не начать?! А то я уже протух с твоей Танькой! Ты ее попозже не мог родить, чтобы она сейчас помоложе была бы?! Если торопиться жить, то можно скоро помереть, так? Нет. Короче, нет, я заговориваюсь, я пьяный, мысль запинается, поздравляю, и пока! Прости, что не посетил лично и лично не поздравил! Знаешь, еще и неохота так на все эти поганые рожи, что там у тебя собираются, на все эти рожи, которые как прошлогодний, нет, как позапозапрошлогодний огурец, на них еще смотреть — фу! Ей-богу, сил нет! Короче: тэп и дэтэп. Пока.

Молчание.

ТАТЬЯНА. Это что такое было, папа? Что он такое сказал?

МИША. Он сказал: «Тэп и дэтэп».

ТАТЬЯНА. Ясно. Дэтэп. Ага. Незнамая прямизна наводит на кривизну. То есть я правильно поняла, что вы с ним сговорились, чтобы он тебе вот такое сообщение прислал? Чтобы он вот так вот меня мог бы прилюдно опозорить, размазать, осрамить? Какая Кристинка? Лизка, ты её знаешь?

ЛИЗА. Конечно. Давно. Мы с ней друзья. Она моя ровесница. И что?

ТАТЬЯНА. Ох, и тварь ты. Два дебила — это сила. Я ему вот сейчас позвоню и сама ему скажу, что это он, он, он вот и есть — прошлогодний огурец! Нет, банан! Нет, баклажан! Нет, гнилой помидор!

ГЕРМАН. Не надо никому звонить.

НАТАЛЬЯ. Тогда — горько?

ГЕРМАН. Сама виновата. Ты весь день дома чем занимаешься? Ты всю жизнь дома сидишь? А он работает тебе.

ТАТЬЯНА. Мой работы не видно. Что же мне теперь делать? Жизнь моя рассыпается.

ГЕРМАН. У тебя семеро по лавкам? У тебя даже домработница есть. А ты лежишь и на нее покрикиваешь.

ТАТЬЯНА. Ты откуда знаешь? Ты видел, чтобы я лежала? Домработница три раза в неделю пыль трет, так трет, что лучше бы и не терла. Как у нас в подъезде делают генеральную уборку: воды побольше налиют, чтобы было сыро, чтобы все шли, скользили бы и падали бы, вот это называется — генеральная уборка. Что же мне делать?

ГЕРМАН. А?

ТАТЬЯНА. Что делать? Вы же слышали его?

ГЕРМАН. К чему ты про подъезды?

ТАТЬЯНА. Я их мыла когда-то, папочка, когда ты меня не обеспечивал, когда мы раком стояли тут на огороде. Ты забыл?

НАТАЛЬЯ. Падают, скользят так по воде, по кафелю только тупые — потому что такая вот генеральная уборка: дураков на тот свет отправляет эта уборка. Как говорили: 20 миллионов вымрут, потому как не вписались в рынок.

ТАТЬЯНА. Не вписались в поворот. Какая же ты злая стала, мама. Ты так про меня?

НАТАЛЬЯ. Про тебя. А ты посмотри на себя. У вас с Мишенькой такой разговоречно поганый — только про бабки да про пожрать. Противно уже.

МИША. Медведь по корове съедает, да голоден бывает. А курочка по зернышку клюет, да сыта живет.

ТАТЬЯНА. Мама, ты отвратительна.

НАТАЛЬЯ. Не воняй мне тут. Поработаешь в театре — и не такой станешь. Раньше я руководила

ТАТЬЯНА. ...мукомольным комбинатом...

НАТАЛЬЯ. Сама ты — комбинатом! Будто не знаешь?! Я руководила отделом образования города, а теперь — театром. Тут легче. Чудесно просто. Приду на репетицию или даже на спектакль, сижу, кофе пью из чашечки и смотрю на них, как они прыгают.

ТАТЬЯНА. Позорница. Кисюля. Кофе она пьет в зрительном зале. Позор.

НАТАЛЬЯ. Я там начальница. Что хочу, то и ворочу. А ты — идиотка. Я хоть в театре с кофием, а ты — с утра до ночи смотришь по телику «Морских дьяволов» или «Морских котиков» — не знаю, как там это говно называется. Там, где всё кино — с голыми мужиками на пляже. А ты лежишь на диване, а домработница шоркает под тобой пол. Коза. Вырастила идиотку.

ТАТЬЯНА. Не ври. «Морские котики» только днем во вторник и в четверг, и там не про голых мужиков, а про настоящих мужчин, которые на пляже всех спасают, там про дружбу и про взаимовыручку.

ЛИЗА. Жебайка, почему ты не морской котик? Или ты котик морской?

НАТАЛЬЯ. Ага. Про дружбу. Я знаю: ты смотришь это барахло без звука. Только картинку. Они там бегают по пляжу в трусах, и тёлки ихние в трусах — жуть, с автоматами бегают, трясут своим хозяйством, а ты мне тут про взаимовыручку говоришь.

ТАТЬЯНА. Это у тебя в театре твоем артисты с автоматами деревянными по сцене бегают и трясут хозяйством.

НАТАЛЬЯ. А они, сволочи с телевидения, подставляют так государство и правительство, разрушают ценности России — показывают это порно днем, а дети смотрят. Тоже!

ТАТЬЯНА. Ну, слышите? Ее слова — хоть в Библию, а мои и в татарские святыни не годятся. Слышишь, Рустам? Мама, ты за детей у телика не беспокойся. Ты их в своем дурдоме-театре воспитывай получше.

НАТАЛЬЯ. Побеспокоюсь. У меня в театре традиционные ценности, никакого ЛГБТ ...

ИГОРЬ (*подсказывает шепотом*). ЛГБТ!

НАТАЛЬЯ. Ну да! У нас идут только «Тимур и его команда», «На страже России», «Кутузов и Суворов» — у меня только патриотика идет!

ТАТЬЯНА. Блевантин у тебя там идет.

НАДЯ. Итак, я беременна. Скоро рожать. Ну, как скоро: через шесть месяцев.

ТАТЬЯНА. Вот будет тебе еще один зритель на ёлку и на «Суворова» — жди, придет бесплатно по старой памяти.

Молчание.

РУСТАМ. А вообще русский язык — это высокая кухня. Я знаю и английский хорошо, но английский — фастфуд для бедных, это правда.

МИША. Точно? Ну, да, я как-то не думал об этом, но ты прав, Рустамчик...

РУСТАМ. Я тут рыбу ловил в позапрошлый год в нашем озере.

ТАТЬЯНА. Озеро наше. Русское. России. И надо говорить: «В позапрошлом году».

РУСТАМ. Ну да. В позапрошлом году. И вот я на три килограмма больше положил. Этого самого...

ГЕРМАН. Чего?

РУСТАМ. Ну, чего ложут.

ТАТЬЯНА. Ложут? Взрывчатки, что ли?

РУСТАМ. Ну да.

ГЕРМАН. Дак это ты был?

РУСТАМ. Я.

ГЕРМАН. Молодец. Не на удочку ловил, значит. Тут три дня после тебя и твоих трех килограмм поезда не ходили — все провода оборваны были. Дак это ты был?

РУСТАМ. Я. Но я тогда убежал. И месяц сидел в лесу. Признаюсь. У меня там землянка есть. Вырыл тогда. Там со мной от военкома еще один парень жил. Ну, не посланный от военкома, а прятался от военкома. Степан. Стёпа.

ГЕРМАН. Ясно. Татарский хан крымский да папа римский нам бед понаделили. Тяжело жить русским. Татары мешают — Гоголь сказал.

ТАТЬЯНА. Он сказал, что немцы русским жить мешают, а не татары. Жуть. Этот — женится, этот — рыбу глушит тротилом, там в лесу от военкома парни прячутся, а эта еще — вдобавок ко всему рожать собралась. Это что, папа, ребенку будет 20, а тебе — 89, что ли? Или 90? Какой-то сюр. Не могу сосчитать.

ГЕРМАН. Мне будет 85.

ТАТЬЯНА. Или ты уже помрешь к тому времени? Ну, земля тебе пуховик.

ГЕРМАН. Не хорони.

ТАТЬЯНА. А ты собрался триста лет жить? А кто детей поднимать будет?

ГЕРМАН. Ты вон свою подняла.

ТАТЬЯНА. Подняла — и что? И не стыдно тебе, что внучка и жена — одногодки?

ГЕРМАН. Ты это уже тысячу раз сказала. Нет. Не стыдно. А ведь ты, Танька, и ты, Мишка, всю жизнь на моей шее, как кровососы, как клопы, как комары вот эти, что летают. Ты же, Танька, ни дня нигде не работала. И ты, Мишенька, тоже. Я же думал, что деньгами своими заработка любовь вашу. И кормил, и кормлю вас всю жизнь. Да и Наташенька — как сыр в масле всю жизнь — тоже.

НАТАЛЬЯ. Ой, Гера, дымно кадишь, святых зачадишь. Не ври уж. Я всегда была бизнесвумен, я была самостоятельной и осталась такой. Я трезвая всегда. А вы все как пьяные — не земные, вы все какие-то — черт его знает: ино-прили-тяне. Ой, с вами жить — как на сварку смотреть.

ГЕРМАН. Да кто тебе всё в жизни сделал?

Встал, стоит у перил крыльца, молчит, смотрит на лес, слушает трещание сорок, потом говорит:

...Нет ни одного дома тут. Там была улица, было сено летом, сушилось, были дети, бегали, утятя шли на яму купаться, и вот — нет ничего, стерто. И кто помнит, и кто вспомнит, когда мы уйдем? Так и будут люди думать, что тут всегда была степь и окраина, и что тут никогда никто не жил и не бегал. Никто не просыпался утром в крепком доме, а в окне тополя шумят, а на улице лето, а где-то озеро наше, купаться туда бежать, там утки плавают и гуси, в доме пахнет хлебом, и мама у печки. Невероятно, невозможно. Только картинки в моей памяти. Как у Набокова: сожгли усадьбы, и нет их. И Москву, и Питер тогдашние, старые, дореволюционные, — сожгли. Пришли ироды и сожгли, и стали в наших храмах коней держать. Только память моя какая-то, где-то невысказанная, непрописанная, невыговоренная. Все поменялось, забылось, и время идет вперед и топает железными сапогами-стрелками, вбивает всё прошлое в землю, всё делает чернозёмом, землей, на которой растет что-то другое. Оно и не хорошее, и не плохое, а просто — другое. А мне, когда я смотрю оттуда сюда, и всем нам, смотрящим оттуда, из прошлого, нам всем — вот это ваше, сегодняшнее, что стало через пятьдесят лет, — кажется таким чужим, таким гадким. И не просто другое оно, это новое, а мерзость последняя. И не сделаешь, как было, как бы ни старался, ты не сделаешь ничего, ты не устоишь перед временем и не можешь бороться против времени, ты не сможешь бороться с ним, у тебя сил не хватит, потому что время — это пустота, вот и всё. Бей пустоту, воздух кулаками до крови — что получится? Ничего.

Молчание.

ЛИЗА. Ты о чём, дед? Про свое детство в деревне, что ли, вспомнил?

ГЕРМАН. Вот кот — если он залез к тебе на коленки и ластится — значит — что? Жрать хочет. Так и вы. Вы были добрыми ко мне, когда вам денег надо было.

МИША. Нам не денег надо было, а любви. А вы с мамой где были? Ты всё на работе, раз в неделю появляешься, как татарское солнце. А она уже сто лет как — по молодым всё.

НАТАЛЬЯ. Да закрой ты свой супохлебатор, Миша. Ты правда болеешь, Гера?

ГЕРМАН. Вы всё время ненавидели меня и продолжаете так же. Я ведь не знал, как надо, я ведь — в первый раз жил, я думал: дам денег, устрою их в школы, в институты, и они будут счастливы. А вам, оказалось, другое надо было.

МИША. А нам другое надо было.

ТАТЬЯНА. Мы тоже в первый раз живем, кисюля.

ГЕРМАН. И что, что мне стыдно должно быть? И почему? Ты что пришла сюда: стыдить меня и укорять, и учить, как жить? А я знаю и так. Думаешь, не знаю? Это моя маленькая, крошечная жизнь, и почему я должен ее жить, как надо тебе, им, ей, ему? Татарам вон?

РУСТАМ. А татары тут что, товарищи русские? Живите как хотите. Мы от вас вообще отделились давно.

ГЕРМАН. Отделился ты. Ага. Тебя не отцепишь, репей.

НАТАЛЬЯ. Первый раз в жизни я согласна с тобой, Герман. Столько лет я с тобой прожила, а вот согласилась с тобой в первый раз.

ГЕРМАН. Что ты вдруг мне тут стала играть Клеопатру?! Согласилась она. Всё что-то втыкает свои мыслишки мелкие, всё что-то крякает из болота, чушь городит невпопад. Ты вообще не понимаешь, что происходит?! Ты вообще когда-то понимала что-то или нет? Что?!

ТАТЬЯНА. Мама красуется перед молодым мужем.

ГЕРМАН. Да он ей не муж, не любовник, никто он, он — сраный говнок. Поганый артист, который хочет выехать на ее шее, поганый артист, и всё.

ИГОРЬ. Я хороший артист. Я даже свадьбы веду. Но — ладно. Терплю. Я в гостях. Я тут даже и не тамада. Ладно.

МИША. Ладно, ладно, в трусах прохладно.

НАТАЛЬЯ. Тебе откуда известно, кто на ком выехать хочет? Может, у нас любовь, как и у тебя с твоей Наденькой? Нет? Только у тебя может быть? Тебе откуда известно?

ТАТЬЯНА. Я отвечу. Мне известно!

ГЕРМАН. Я хочу хоть пару дней быть счастлив, и пусть все на хер идут лесом. Ты забыла, да, Наталья, ты не помнишь, да, как однажды мы шли молодые через Плотинку, счастливые, ночью, луна, звезды, и дождь шел, и там лужа на Плотинке была большая, и как я от счастья и любви к тебе лег в эту лужу в костюме и лежал, звезды, луна... Костюм новый, галстук, белая рубашка, а я лежал в луже, и ты легла со мной, и мы так ржали, ты забыла?! Я хочу, чтобы это повторилось!

НАТАЛЬЯ. Помню прекрасно. Потом после той пьянки две недели лежали в больнице с воспалением легких. Вот до чего любовь довела. Лежали в разных палатах, правда. Не в одной. Ромео и Джульетта, блин. Ты меня зачем растеребенькал до слез?

ГЕРМАН. И что, что заболели? Зато были счастливы. А больше с тобой — ну, по пальцам сосчитать могу, сколько раз было такое же, потому что всё остальное с тобой была — мука дикая. А я снова хочу в лужу, в счастье, и чтобы снова — луна и звезды...

НАТАЛЬЯ. Не будет такого.

ГЕРМАН. Будет, не боись. У меня всё впереди. А ты обижайся, сколько хочешь.

НАТАЛЬЯ. Я не обижаюсь. Я знаю, что на обиженных волки срать ездят на речку.

МИША. Мама, ты яблоко кусаешь, а мне кажется, что сейчас твоя вставная челюсть останется на яблоке.

НАТАЛЬЯ. У меня не вставная, Миша. Я яблоки ем с зернышками.

МИША. Потому что хочешь, чтобы у тебя в животе сады зацвели.

НАТАЛЬЯ. Ну, считай, что так. Но вообще — полезнее с зернышками.

ИГОРЬ (смеется). Я слышу, как в твоем животе растет сад!

ТАТЬЯНА. Ну, раз родилась лошадка с лысинкой, то с лысинкой и помрет. Это я так, про себя.

Молчание.

ЛИЗА. Хорошо тут. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Да, Жебайка?

ТАТЬЯНА. Какая пошлость.

ЛИЗА. Это Лермонтов.

ТАТЬЯНА. Что — Лермонтов?

ЛИЗА. Это Лермонтов сказал: «Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо сине — чего бы, кажется, больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?»

ТАТЬЯНА. Ну, правильно, вы все умные, одна я у вас дурная.

МИША. А помнишь, мы маленькие были, отец нам горку тут делал зимой, и мы катались. Ну, не сам, а помогали ему — гастробайтеры какие-то. И мы катались. Он же что-то всё время для нас делал. Он нас любил, как ты думаешь? Может, и любит до сих пор. Нет?

Рустам вдруг встал, приложил руку к голове козырьком, как солдаты честь отдают, стоит перед Германом.

ГЕРМАН. Тебе что?

РУСТАМ. Честь отдаю.

ГЕРМАН. Зачем?

РУСТАМ. А вдруг вы будете министром обороны.

ГЕРМАН. И что?

РУСТАМ. Меня парень, Стёпа, там, в землянке, научил так делать.

ТАТЬЯНА. Понеслась моча по трупам.

ГЕРМАН. Я хотел тут всем про счастье рассказать, чтобы меня поняли, а ты, чертов татарин, мне всё перебил.

РУСТАМ. А я про свое, про татарское счастье. Честь вот отдаю вам.

ТАТЬЯНА. Да какое у татар счастье может быть?

РУСТАМ. Там в землянке мы с парнем Степой ели сушеные мухоморы и были счастливы.

ТАТЬЯНА. А детей не родили в землянке в той?

РУСТАМ. Нет. Не успели. Была облава от военкома. Парня забрали. Почти забрали. Он на крыше живет сейчас. А я притворился пеньком, и меня не заметили.

МАРИЯ. На какой крыше он живет? Где?

ТАТЬЯНА. А зачем ты кормил этого дезертира?

РУСТАМ. Я исполнял обязанности Христа во время его отсутствия. Он мира хочет. Он против войны. Нормальное желание и у татар, и у русских.

МАРИЯ. Ты про какую крышу сказал?

РУСТАМ. Да не важно.

МАРИЯ. Да? Ну, ладно, всё. Вам всем пора ехать.

ТАТЬЯНА. Мы про завещание говорили, да?

НАДЯ. Не надо завещание. У нас составлен договор. Свадебный договор.

ТАТЬЯНА. Где половина имущества тебе в случае чего? Нет, папа, мол-

чи, я тебя не хороню, но если развод — то половина всего ей? А мы куда? На улку?

НАДЯ. Наоборот. Если развод, то только возьму сумочку и уйду. И ребенка заберу. Я попросила сделать такой договор. С нотариусом. Всё законно.

ТАТЬЯНА. Сумочку с бриллиантами и банковскими карточками?

НАДЯ. По себе людей не судят. Договор такой, чтобы он знал, Гера, что мне от него ничего не надо и что я люблю его.

ТАТЬЯНА. А что ж ты тогда сейчас за руку Игоря держишь?

НАДЯ. Да так. Для передачи энергии.

ТАТЬЯНА. Надя, ну, хорош играть, а? Или у тебя не все дома? Или что? Или правда есть такие, что стариков любят? Ну, не бывает же так, слушай, дорогая. Любят — молодость, любят — блеск в глазах, а не затухание искорок в камине. Любят длинные кудрявые или курчавые волосы у парней, или усы, или мягкую бородку, шелковую, упругое, накачанное тело любят, прости Господи, и мягкое, чистое, белое, нежное тело у баб. И чтоб лицо без морщинок и без этих желтых пятен чтобы — ни на шее, ни на спине, будто горчицей в рожу дали, да, да, сунули словно рожу в тарелку с горчицей. Ну, что, не так, что ли?! И чтобы грудь упругая у девочки была, чтоб не висела она, как уши у спаниеля! Ну, что ты мне тут рассказываешь: он прекрасен душой?! Ну, не бывает так, ну, не говори ты мне, не лги мне, и себе, и всем нам тут, ну??!

НАДЯ. Прям телепередача «Час суда». Вы-то откуда знаете?

ТАТЬЯНА. Да я жизнь прожила. Или ты себя сама так уговариваешь? А не надо уговаривать и крест на своей жизнь ставить не надо, кисюля. Мол, я терпила такая, я буду терпеть, я смогу без всего вот этого молодого прожить, мне это не надо! Ага. А с чего ты на себя руки, не убивая, наложить хочешь? Или уже наложила? Ну, в смысле, убиваешь себя — зачем? Если нет у тебя к нему, как ты говоришь, ни материальных, ни финансовых претензий нет, то — что тогда? А если ребенок родится от старика — инвалид?

ГЕРМАН. А с чего ему рожаться инвалидом? Я тебя, скажем, что — инвалидом сделал?

НАТАЛЬЯ. Но я понимаю Таню, как директор театра. У меня актрисы вот так же вот живут со стариками народными, чтобы только роли им давали.

ТАТЬЯНА. В чужом глазу соломинку мы видим, ну, а в своем не замечаем и бревна. В который раз спрашиваю, мама: этот артист — почему с тобой?

НАТАЛЬЯ. Да просто так. Я ему сразу сказала: иди сюда, ложись, потому что вам, то есть тебе, Игорь, нужен взрослый друг, который поможет вам, тебе в жизни. И всё. Без брачного договорились.

ИГОРЬ. И я согласился. А что тут такого? Но, впрочем, еще и до того, как легли, я полюбил Наталью Сергеевну, Наташу, то есть, всей душой. Еще до того, как сыграл главную роль в «Капитанской дочке». Кроме Кота в сапогах. Кстати, это была роль на вырост, на сопротивление, и она была как Рубикон в моем творчестве.

ТАТЬЯНА. Боже, у него даже творчество есть! Кого ты там играл в «Капитанской дочке»? Пугачёва страшного?

НАТАЛЬЯ. Нет. Гринёва. Молодого и красивого.

МИША. Гринёва? Ух, какой ты бабилаз. (*Смеется.*) Как интересно. Я сначала не понял, а потом как понял... Не поможет ни грелка, ни клизма, нет спасения от ботулизма!

ТАТЬЯНА. Ты к чему это?

МИША. Просто — веселое рассказываю! Едем мы из Зарядья в Кремль девятый день! Та-та-та-та! И всё! Просто присказка!

ТАТЬЯНА. Этот любит старуху. А эта любит старика, а татары...

РУСТАМ. Да что вы к татарам привязались?!

ТАТЬЯНА. Постой, татарин, дай саблю наточить... Привязалась я, потому что татары из землянки любят тоже русскую старушку!

НАТАЛЬЯ. А тебе кто мешает так делать?

ТАТЬЯНА. А в кого влюбляться? Где? Не на кого глаз положить! Выйди, глянь — нет никого!

НАТАЛЬЯ. Не так смотришь. Русский час — всё сейчас.

ИГОРЬ. Есть. Не туда смотрите.

НАТАЛЬЯ. Правильно.

ТАТЬЯНА. А где твой дезертир, Рустам? Тащи его сюда.

РУСТАМ. Позвать? Шутите?

ТАТЬЯНА. Где он у тебя спрятан? Ты его спрятал?

РУСТАМ. Он на чердаке живет у нас. Давно. Прости, Маша. А когда Белкиных не было, он в этом доме жил. Потихоньку.

ТАТЬЯНА. В нашем доме?

РУСТАМ. А вам жалко?

МАРИЯ. Ты серьезно? Блин, думаю, кто жрет так много, холодильник пустой каждый день...

РУСТАМ. Он там. Он там сидит. У него там окошечко. Он всё слышит давно. Я могу ему крикнуть, и он сюда придет. Позвать?

ЛИЗА. Ешь, Жебайка, ешь. А вырастешь, я тебе покажу, кого сожрать надо будет...

ТАТЬЯНА. Зови. До кучи. Два дебила — это сила, три дебила — это мощь... Кто работал и трудился, тот потом тазом накрылся.

РУСТАМ (*кричит*). Степа! Иди сюда! Давай не бойся!

От дома Марии с букетом цветов идет Степан. Молодой красивый парень, идет, улыбается.

СТЕПАН. Тут газон зеленый. А я прям как по облакам иду, босиком, нет обуви у меня давно. Будто газон не зеленый, такой красивый, а как синий — синий весь, как небо или как белые облака. Да?

ТАТЬЯНА. Чего?!

СТЕПАН. Здрасте.

Молчание.

ТАТЬЯНА. Я сейчас зарыдаю, закричу, кончусь, утоплюсь, повешусь от этого дурдома! От этого абсурда! Вызовите скорую, пожарных, милицию, полицию, Роспотребнадзор, налоговую, приставов, таможенников или еще кого!

СТЕПАН. Таня, не надо. Всё хорошо. Я давно за вами наблюдаю. Слежу. С крыши. Я давно из землянки вышел. Вы мне нравитесь, Таня.

МИША. Добрый день. Какой приятный молодой человек...

СТЕПАН. Я из лесу вышел, был сильный мороз...

ТАТЬЯНА. Чего? Я тебе нравлюсь, кисюля? Но я просто домохозяйка! Я не ректор в университете, как Герман, я не закончила журналистику, как брат мой Миша, писатель, я смотрю «Морских котиков», у меня квартира не моя, а Валеры и Кристины, как оказалось сегодня, и дача — папина, не моя, и машины у меня нет, у меня нет ничего! Только книга есть про мерзавцев! Но не мной написана!

СТЕПАН. И не надо. Вы красавая, и всё.

ТАТЬЯНА. Приплыли тапочки к дивану! Иди отсюда! Не пугай меня, Стёпа, не надо! Я умру сейчас от разрыва сердца, или у меня пупок развязется! Не надо меня жалеть! Иди отсюда, или сейчас пенделя получишь, иди, ну?! Тебе, Стёпа, надо от лихоманки лечиться!

СТЕПАН. Перестаньте. Пошли со мной лучше. Я ночью купаюсь тут, в бассейне. Пойдемте все. Уже ночь почти. Можно пойти купаться.

ТАТЬЯНА. Чего? Чего тебе надо, Стёпа?! Стой... Ты — ангел, да? Ангел с крыши, да?!

СТЕПАН. Да. Да. Да.

ЛИЗА. Пошли. Раз он зовет — пошли, мама.

Татьяна плачет.

Все встали, идут во двор, к бассейну.

МИША. Кролика поймайте и тоже его в бассейн. И Жебайку тоже. Они плавать с нами будут!

НАДЯ. Чего?! Кролик мой!

МИША. А что такого?

ИГОРЬ. Может, искупнемся все и правда?

СТЕПАН. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч.

ТАТЬЯНА. Дурак какой. Какой дурак, это что такое, а?!

НАДЯ. Прыгаем в лужу? Ну?!

ГЕРМАН. Да! Прыгаем в лужу...

СТЕПАН. Конечно! Вместе все — в лужу, в бассейн! Луна и звезды! Иди сюда, Таня, я тебя пожалею. Поплачь у меня на груди. Всё будет хорошо, Танечка, всё будет хорошо.

МАРИЯ. Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой, служила наша Танечка в столовой заводской...

ТАТЬЯНА. Нигде я не служила... Никогда, и нигде, и никому...

СТЕПАН. Прыгаем в воду! Ура! Все, ура!

Все кричат «ура».

Таня рыдает и смеется.

Все прыгнули: с кроликом, с Жебайкой — как были в одежде, в чем были — прыгнули в бассейн, кричат и поют что-то.

**Темнота
Занавес**

Конец

ПОЧТИ БЕЗ ВЫМЫСЛА

Александр Кердан

Роза ветров

В дверь кабинета председателя райисполкома Ларионова постучали. Он даже не успел удивиться тому, что к нему рвутся без предварительного до-клада, как на пороге возникла «цербер в юбке» — его секретарь Зинаида Прокопьевна:

— Валерий Михайлович! К вам из КГБ... — Она отпрянула в сторону, пропуская в кабинет высокого, осанистого генерала и нескольких человек в штатском.

Генерала Корнеева Ларионов помнил ещё со времени своей работы в обкоме комсомола. Корнеев в ту пору возглавлял Кировский райком партии. Затем его направили служить в госбезопасность, и вот совсем недавно он вместе с должностью начальника областного управления получил погоны «ёлочкой» и брюки с лампасами.

Корнеев небрежно кивнул Ларионову, прошёл к столу для совещаний и уселся на место, которое обычно занимал хозяин кабинета.

— Присаживайтесь, товарищи, — властно распорядился он.

Ларионов, поморщившись от генеральского чванства, занял место спра-ва от Корнеева и наконец-то разглядел его спутников. Двоих из них оказались Ларионову знакомыми: с крепышом Геной Лапушкиным он в годы учёбы в сельхозинституте занимался в секции классической борьбы; а Владимир Кряквин, чернявый и юркий, был уроженцем Сысерти и прослужил здесь полтора десятка лет, совершив головокружительную карьеру от инспектора служебного собаководства до капитана и оперуполномоченного. Ларионов часто встречался с ним на заседаниях бюро райкома партии и на рыбалке, к которой оба питали слабость.

— Товарищ генерал, может быть, чаю... — попытался вернуть себе хо-зяйские позиции Ларионов — Зинаида Прокопьевна всё ещё топталаась у двери.

Генерал Корнеев поднял ладонь, как пролетарий на плакате по борьбе с пьянством:

— Не до чая сейчас. — И, опять нарушая служебный этикет, приказал секретарю: — Проследите, чтобы нам никто не мешал...

Зинаида Прокопьевна вышла, и Корнеев потребовал от Ларионова:

— Доложите обстановку в районе.

Ларионов кратко сообщил, что в целом ситуация у руководства района тревоги не вызывает, сельхозпредприятия готовятся к посевной кампании, в

Александр Кердан (1957) — родился в г. Коркино Челябинской области. Окончил высшее военное училище, военную академию и адъюнктуру военного университета. 27 лет прослужил в Вооруженных Силах. Полковник запаса. Доктор культурологии. Автор 58 книг стихов и прозы, вышедших в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Западной Сибири и в США. Лауреат Большой литературной премии России, всероссийских и международных литературных премий. Координатор Ассоциации писателей Урала. Живет в Екатеринбурге.

трудовых коллективах организовано соревнование по выполнению решений XXV съезда КПСС, и криминогенная ситуация в норме...

— А какова эпидемиологическая обстановка? — нахмурившись, перебил генерал Корнеев.

«Ах, вот ты о чём...» К Ларионову вчера заходил главный санитарный врач района Горюшкин и сообщил, что в Свердловске зафиксирована вспышка какой-то инфекции, от которой люди мрут как мухи, но успокоил, что у них на территории пока всё тихо.

Именно поэтому на вопрос генерала Ларионов ответил уверенно:

— Эпидемиологическая обстановка в районе благополучная. Случаев инфекционных заболеваний не выявлено.

— Мы поработаем у вас какое-то время... — наконец-то обозначил генерал Корнеев цель своего визита. — Посмотрим, что у вас здесь происходит. — И потребовал: — Выделите нам с коллегами кабинет в здании райисполкома и обеспечьте места в вашей гостинице.

«С чего это чекисты вдруг заинтересовались санитарно-эпидемиологической обстановкой? Это ведь не их сфера...» Ларионов прошёл к своему рабочему столу и по селектору вызвал начальника первого отдела Мухортова, майора милиции в отставке. Мухортов явился тут же, словно караулил в приёмной. Ларионов распорядился:

— Иван Иванович, передайте свой кабинет коллегам и проводите их в гостиницу. Пусть выделят для гостей весь второй этаж. Я дам соответствующие указания.

— Ну, что ж, за работу, товарищи, — приказал генерал своей свите. — А вы, товарищ Ларионов, будьте постоянно на связи...

«А мне этого Корнеева нахваливали... Дескать, области очень повезло, что такой хороший мужик начальником КГБ назначен... По-моему, от этого хорошего мужика ничего хорошего ждать не стоит...» Ларионов по «вертушке» набрал первого секретаря райкома КПСС Шилкова, чтобы сообщить о приезде гэбэшников, но в трубке раздались длинные гудки.

Ларионов позвонил к нему в приёмную:

— Доброе утро, Тонечка! А где у нас Валентин Алексеевич, что-то он по прямому не отвечает?

— Валентин Алексеевич с сегодняшнего дня в отпуске... — радостно проворковала секретарша. — Могу соединить вас со вторым секретарём...

— Спасибо, Тонечка, не надо. С Павлом Михайловичем я сам свяжусь...

«Странно, виделись вчера с Шилковым на обеде в райкомовской столовой, ни о каком отпуске он даже не заикался... Неспроста партийный вожак так быстро в отпуск слинял. Наверное, знал про приезд комиссии...»

В дверь заглянула Зинаида Прокопьевна:

— Валерий Михайлович, Важенин на линии. Возьмите трубку...

Заместитель председателя облисполкома Важенин говорил всегда по существу:

— Валерий Михайлович, в области — эпидемия. В вашем районе вводится карантин. Действуйте по стандартной схеме. Немедленно изолируйте район от Свердловска и от соседей. Срочно отмените все автобусные рейсы, перекройте дороги, оборудуйте санитарные посты для обработки техники и незамедлительно начните санитарную обработку школ и детских садов, мест общего пользования и государственных учреждений. Все перемещения по территории района и выезд за его пределы только для экстренных служб и по спецпропускам. Лично проконтролируйте всё. Завтра жду вас у себя в одиннадцать ноль-ноль с докладом об исполнении...

— Задачу понял, — Ларионов за три года работы в исполкоме привык к неожиданным вводным и, пока Важенин давал указания, в голове уже выстроил план, как выполнить то, что требует областное начальство.

Как водится в подобных случаях, он начал с оперативного совещания. Дал поручения своим заместителям и руководителям отделов, военкому

и начальнику районной милиции, санитарному и ветеринарному врачам, директору районной типографии и главному редактору газеты. Затем лично обзвонил директоров крупнейших совхозов и председателей колхозов, объясняя ситуацию и требуя самых решительных действий по реализации карантинных мероприятий. После обеда выехал из Сысерти и ближе к полуночи объехал всю территорию района, проверяя, как выполняется план, намеченный на утренней оперативке.

Подчинённые сработали хорошо. Все выезды из населённых пунктов района на трассу Свердловск — Челябинск перекрыли шлагбаумами, около них установили палатки для круглосуточного дежурства участковых милиционеров, деревенских старост и дружинников. На въезде в сёла и в райцентр выложили «маты» — короба с опилками, пропитанными дезинфицирующими средствами для обработки колёс. И типография сработала оперативно, отпечатала специальные пропуска для водителей машин милиции, скорой помощи, бензовозов, автомобилей руководства района, подвоза продовольственных товаров...

Рано утром Ларионов выехал в областной центр.

Свердловск удивил необычной малолюдностью и неожиданно большим количеством поливомоечных и пожарных машин, проводящих «влажную уборку» улиц. Так драили город только в шестьдесят третьем, перед приездом кубинского лидера Фиделя Кастро...

Важенин выслушал доклад Ларионова внимательно, похвалил за оперативность и сообщил некоторые подробности случившегося:

— В Чкаловском районе зафиксирована неизвестная эпидемия. Двадцать четвёртая и двадцатая горбольницы заполнены инфицированными. Все с высокой температурой, головной болью. Есть летальные исходы. Точного диагноза медики пока поставить не могут. Пневмония или грипп... Есть подозрение на сибирскую язву, но это ещё не точно... Вчера в области создали чрезвычайную комиссию. Подключили всех, кого смогли: медицину, органы СЭС, ветеринарную службу... Завтра прибывают руководители Минздрава СССР, в том числе главный санитарный врач страны академик Бычков...

— Откуда же взялась эта напасть? — удивился Ларионов.

Важенин только руками развел:

— Не знаю... Основная масса заболевших — сотрудники керамического завода. Директор грешит на сырьё, поступившее из Узбекистана. Сейчас проверяем его на наличие вирусов.

— Николай Федосеевич, а для чего чекистов к нам направили? — спросил Ларионов. — Мы ведь с Узбекистаном не сотрудничаем, да и с заводом общих дел не имеем...

— Все версии проверяем, Валерий Михайлович. Эпидемиологи не исключают, что заражение могло быть спровоцировано болезнью животных... Так что не расслабляйтесь. Членам комиссии оказывайте всяческое содействие.

— Уже оказываем, — заверил Ларионов.

Несколько последующих дней он тем только и занимался, что встречал и провожал новых проверяющих. Они заселялись в гостиницу, поедали завтраки, обеды и ужины, которые специально для них готовили в райкомовской столовой. Ларионов выделял им служебный транспорт для поездок по району. От сопровождающих приезжие категорически отказывались. Их деятельность была покрыта тайной. Из населённых пунктов и сельхозпредприятий района Ларионову докладывали, что проверяющие что-то ищут, высматривают и выспрашивают, ковыряются в земле и в навозе, берут на пробу комбикорма, а что именно им нужно — не говорят.

Как-то поздно вечером к Ларионову в кабинет нагрянули его приятели Лапушкин и Кряквин.

— Увидели у тебя свет в окнах, вот и решили зайти, — доверительно сообщил Кряквин, вынимая из-за пазухи бутылку коньяку.

— Проходите, проходите, — искренне обрадовался им Ларионов.

Он провёл чекистов в комнату отдыха сбоку от кабинета, такую крошечную, что в ней смогли поместиться только диван, на котором он спал, когда оставался ночевать в исполнкоме, журнальный столик и холодильник, в котором всегда имелась какая-то закуска и дежурная бутылка на случай приезда важных людей из области.

— Ты совсем не изменился, Валера, — сказал Лапушкин, приобняв Ларионова за плечи. — Всё такой же монолит, хоть сейчас на первенство страны. Помню, как мы гордились твоим чемпионством!

— Скажешь тоже, — засмущался Ларионов. — Ничего от былой стати не осталось, жирком начал зарастать. Теперь уже золотую медаль не возьму даже среди юниоров...

Он достал из холодильника хлеб, сало. Кряквин торопливо наполнил рюмки коньяком.

— Ну, за нас!..

После того как выпили, Ларионов спросил:

— А теперь колитесь, что ищете?

— Под тебя яму роем, Валера, — с грустным смешком отозвался Лапушкин, запихивая в рот кусок хлеба с салом.

— А что под меня рыть, вот он весь я как на ладони... У меня от родного КГБ секретов нет... — широко улыбнулся Ларионов.

— Это правильно. От нас ничего не утаишь... — с полным ртом подтвердил Лапушкин.

— Даже если очень захочешь, — поддакнул Кряквин: — А если серьёзно, Михалыч, генерал нам задачу поставил: найти подтверждение, что в Сысерском районе идёт падёж скота от сибирской язвы. Специалисты по язве пробы берут, мышей и бабочек ловят, а мы с Геной злодеев ищем... Пока, надо сказать, с переменным успехом... Но Корнеев приказал найти виноватого. А виноватый у нас всегда кто? Власть районная, то есть — ты и Шилков! А Шилков у нас где? В отпуске, а ты — на месте...

— Так что, мне начинать сухари сушить?

— Ты, Валера, не дрейфь, мы тебя проинформируем загодя, сушить или не сушить... — пообещал Лапушкин.

— За желание упредить спасибо вам, люди добрые, — Ларионов потянулся к бутылке. — Так к чему же мне готовиться?

— Ну, прежде всего готовься получить по полной за ветеринара из Щелкуна. Юклевский его фамилия. Взяли его за живое, и он тут же сознался, что в обход совхозной кассы сдавал мясопродукты в продторг. Завтра его в Свердловск повезём, в ОБХСС передавать будем...

— На этого Юклевского директор совхоза давно мне жаловался, да всё никак руки до него не доходили... А что ещё?

— У тебя свалки неофициальные и скотомогильники на территории района есть? — спросил Лапушкин. — Если такие имеются, немедленно поставь на учёт, обнеси забором, организуй охрану. На днях приедут московские инфекционисты, они эти объекты особо пристально осматривать будут...

— Добро! Подготовимся!..

Когда визитёры ушли, Ларионов вызвал начальника СЭС, бригадиров двух плотницких бригад и поставил им задачу: прямо сейчас поднять рабочих, выехать к главной районной свалке и до утра огородить её, а завтра к концу дня обнести заборами другие мусорные объекты.

— Сделаете всё в срок, будут вам и премии, и дополнительные дни к отпуску, — пообещал он.

И работа закипела.

Приехавшие во главе с академиком Бычковым санитарные врачи осмотрели территорию района и очень удивились, не найдя ни одной неофициальной свалки. В акте отметили, что все скотомогильники и мусорные полигоны обнесены заборами и охраняются дружинниками.

В соблюдении карантинного режима проверяющие (а они ещё несколько раз внезапно приезжали в район) тоже не нашли серьёзных недочётов: все скотные дворы были обработаны при помощи дегазационных установок — ими выручил командир дислоцированной в районе воинской части. А когда поступил из Свердловска срочный приказ сжечь запасы якобы заражённого зерна, Ларионов и здесь не оплошал: обратился напрямую к командующему военным округом и выпросил у него несколько двухсотлитровых бочек с напалмом. Так что инспекторам осталось только зафиксировать груды пепла там, где они надеялись увидеть заражённое зерно и комбикорм...

Работа без сна и отдыха продолжалась целый месяц. Ларионов похудел, безо всяких тренировок сбросил тот самый жирок, о котором сокрушался при встрече с друзьями. И всё-таки тревога не покидала его.

После майских праздников члены различных комиссий начали уезжать из района.

В один из дней к Ларионову заглянул попрощаться Лапушкин. Он тоже выглядел усталым.

— Извини, Валера, как мы ни старались, но заключительные акты комиссии составлены, увы, не в пользу районного руководства.

— Ну, на то комиссии и создаются, чтобы недостатки выискивать...

— Всё это так, но не тогда, когда результаты подгоняют к заготовленному выводу.

— Значит, снимать меня будут? Так я за должность не держусь...

Лапушкин приглушил голос:

— Да по идеи, дело вообще не в тебе! С этой эпидемией всё совсем не просто. Ты, Валера, как ответственный советский работник, «забугорное» радио не слушаешь, а мне по службе положено. Так вот, «Голос Америки» ещё пятого апреля сообщил, что в Свердловске эпидемия сибирской язвы, а ведь у нас об этом официально заявили только одиннадцатого... Причём они уже тогда утверждали, что пошла инфекция из девятнадцатого военного городка.

— Так весь Свердловск и без вражеских голосов гудит про это!

— Одно дело — городские сплетни. Совсем иное — официальная позиция. Сложность ситуации в том и заключается, что никто не хочет и, более того, не может называть настоящих виновников случившегося, дабы не давать повода империалистам говорить, что СССР не соблюдает конвенцию семидесят пятого года по биологическому оружию. Им ведь необходимо подорвать престиж нашей страны, получить дополнительные ассигнования на разработку собственных вирусов. Они-то ведь свои лаборатории никогда и не закрывали, а теперь есть повод нас обвинить. Мол, в Советском Союзе проводят запрещённые испытания, на секретных заводах производят боевые штаммы. Поэтому признать, что утечка случилась из трубы девятнадцатого городка, значит, самим себе зелёной лоб помазать...

Ларионов кивнул:

— Да, такое признание вызовет у наших противников бурные овации! Но ведь внутри страны, с соблюдением секретности, можно разобраться в истинных причинах эпидемии? Достаточно посмотреть и сопоставить, где проживали и работали умершие и заболевшие... И сделать правильные выводы.

— Тут тоже есть свои подводные камни, — вздохнул Лапушкин. — Если допустить прямую вину военных, то от секретного НИИ сразу же цепочка потянется к Академии наук, от неё — к санитарно-эпидемиологической службе. Да и нашей Конторе достанется, дескать, не досмотрели... Словом, разные столичные ведомства норовят снять с себя долю ответственности и сделать виноватыми других. Да так, чтобы при этом ещё друг с другом не поссориться... Вот им и потребовался козёл отпущения, за которого никто не заступится... Догадываешься, что лучше тебя, самого молодого председателя исполкома в области, на эту роль никого не найти...

— Что же мне делать, Гена? Так ведь и посадить могут... — продолжал бодриться Ларионов.

— Пока ничего не ясно, Валера. Завтра, когда поедешь на заседание чрезвычайной комиссии, главное, в бутылку не лезь. Держи нос по ветру... — посоветовал Лапушкин. И совет друга неожиданно подтолкнул Ларионова к верному шагу.

Попрощавшись с Лапушкиным, он вызвал из гаража служебную «Волгу» и поехал на метеостанцию Бородулинского совхоза, обслуживающую весь район. У метеорологов Ларионов запросил сводки погоды и направления движения ветров на каждый день прошедшего месяца. Получив подробный отчёт, он немного успокоился: теперь у него появился веский аргумент против тех, кто пытается повесить всех собак на Сысертьский район.

Вернувшись в исполнком, он до позднего вечера корпел над картой-двухвёрсткой, нанося на неё необходимые условные обозначения. На своём диване в комнате отдыха и остался ночевать.

Утром тщательно побрился, надел свежую рубашку и отправился на заседание чрезвычайной комиссии, напевая: «Это есть наш последний и решительный бой...»

Секретное заседание проходило в душном зале облисполкома. За плотно закрытыми окнами журчал любимый горожанами фонтан «Каменный цветок», вовсю цвела душистая сирень, пели птицы...

Председатель облисполкома — строгий и принципиальный Мехренцев — предупредил о неразглашении всего, что здесь услышат. Ларионов отметил, что на этот раз в зале не было представителей Министерства обороны — только руководители города и районов (в том числе и его друзья-приятели: Житенёв из обкома партии и Князев — главный областной милиционер), медики и санитарные врачи во главе с академиком Бычковым. КГБ представлял генерал Корнеев, явившийся в штатском.

Давний знакомый Ларионова, председатель Чкаловского райисполкома Василий Запорожцев, вытирая платком пот со лба, успел шепнуть ему:

— Анатолий Александрович распорядился военных на заседание комиссии сегодня не пускать... И это хорошо. А то опять будут воду мутить, себя выгораживать... А так, может быть, по делу поговорим... — И тут же умолк, заметив поднятую руку Мехренцева, призывающего к тишине.

Первому предоставили слово москвичу Бычкову. Седовласый и лобастый академик долго и нудно, с приведением цифр и использованием специальной терминологии, мало понятной непосвящённым, излагал выводы санитарной комиссии, настаивая на том, что источником эпидемии сибирской язвы и заражения жителей явились инфицированные животные из личных и общественных хозяйств Сысертьского района.

— Свердловская область вообще относится к территориям, неблагополучным по сибирской язве, — монотонно, как на лекции перед студентами, вещал он. — В этой связи весь обобществлённый скот ежегодно прививается, кроме скота частных владельцев, который обычно становится жертвой эпизоотии. Весной этого года в сельских районах области, особенно в Сысертьском, ощущался острый недостаток кормов. Частные владельцы добавляли в рацион своих животных мясокостную муку, которая оказалась заражённой спорами сибирской язвы. Комиссия выяснила, что, не дожидаясь падежа скота, хозяева забивали его тайком от ветнадзора и, пользуясь дефицитом мясопродуктов в городе, вывозили инфицированное мясо для продажи в Чкаловском районе, являющемуся своеобразными южными воротами Свердловска.

«Интересно, а почему тогда на Химмаше не продавали? — мысленно парировал доводы Бычкова Ларионов. — Этот район куда ближе к Сысерти, чем Вторчермет...».

Тем временем Бычков продолжал выкладывать свои аргументы:

— Комиссия в период с десятого по тринадцатое апреля сего года обследовала хозяйства жителей села Абрамово и установила, что в двенадцати

подворьях имел место падёж от сибирской язвы овец, коров и тёлок. Часть трупов была тут же сожжена... Однако несколько туш успели продать жителям Чкаловского района, которые в результате и заболели...

Неожиданно подал голос генерал Корнеев:

— Добавлю. Нами установлено, что факты забоя инфицированного скота имели место и в других хозяйствах Сысертского района, скажем, в Кашино или в том же Целкунском совхозе, где несанкционированную продажу мяса организовал главный ветеринарный врач Юклевский, уже привлечённый за это к уголовной ответственности...

Мехренцев недовольно покосился на генерала, но замечание не сделал, а обратился к академику Бычкову:

— Уважаемый Пётр Николаевич, объясните нам, людям, от микробиологии далёким, почему же в семьях заболевших рабочих Чкаловского района, где инфицированное мясо употребляли в пищу и взрослые граждане обоих полов, и дети, смертельные случаи зафиксированы только среди взрослых мужчин?

Бычков откашлялся и нравоучительным тоном заметил:

— Это легко объясняется, Анатолий Александрович: дети в большинстве семей обедали в школах или в детских садах. А хозяйки, по заведённой у нас в народе традиции, в первую очередь кормили мясом своих мужей. К тому же, учитывая, что приближались майские праздники, многие граждане с начала апреля делали заготовки и хранили инфицированное мясо в домашних холодильниках. СЭС, конечно же, сразу после появления первых заражённых распространяла информацию о недопустимости использования мяса, купленного с рук. Однако несознательные граждане продолжали его употреблять. Скажу вам больше, самой сложной проблемой профилактики явилась именно кампания по изъятию и уничтожению мяса, хранившегося в холодильниках у населения. С этим обстоятельством, на наш взгляд, и связаны повторные вспышки инфекций в середине апреля и в дни майских праздников.

Следом за Бычковым выступил главврач областной больницы Синицын. Он был более краток и, как будто стесняясь собственных слов, во время своего выступления то и дело заглядывал в «шпаргалку».

— На данный момент в нашей области зарегистрировано девяносто шесть больных. Из них умерли шестьдесят четыре человека. Большинство из них имели кишечную (септическую) форму, семнадцать — кожную. Этих пациентов, находившихся буквально на грани смерти, нам, благодаря помощи московских коллег во главе с профессором Никифоровым, удалось спасти... — сказал он, косясь в сторону сидящего в президиуме Бычкова.

Держал речь и главный ветеринарный врач области Трушкин. Он горячо поддержал вывод московских специалистов о том, что заражение животных произошло с наибольшей вероятностью через инфицированный корм. И подтвердил, что в марте–апреле заметно увеличился забой скота в индивидуальных хозяйствах Сысертского района, и что мясо из этих хозяйств продавалось в частном порядке на окраинах города Свердловска на неорганизованных рынках.

Затем выступали представители СЭС и пожарной службы, дорожники и руководители ЖКХ. Они вещали о принятых мерах по устраниению последствий эпидемии, о количестве вакцинированных горожан, числе заасфальтированных улиц, помытых заборов, домов, деревьев, о снятых и вывезенных кубометрах грунта...

«Нет смысла асфальтировать улицы и мыть заборы, если источник инфекции — мясо заражённых животных... — думал Ларионов, слушая отчёты этих должностных лиц. — Почему медики молчат об умерших в тридцать втором военном городке и не называют симптомы, никак не относящиеся к кишечной и кожной форме? Неужели не найдётся никого, кто скажет, как было всё на самом деле? Прав Гена Лапушкин: нас всё-таки хотят сделать крайними...»

Мехренцев словно прочитал мысли Ларионова.

— Что ж, товарищи, в целом картина более или менее ясна. Давайте будем подводить итоги. Прошу членов комиссии сделать краткий вывод о том, что всё-таки послужило первопричиной трагедии, случившейся у нас, и кто за это должен понести ответственность.

Один за другим снова выступили Бычков, Синицын, Трушкин и генерал Корнеев, обвиняя во вспышке инфекции жителей Сысерского района. Виновниками трагедии они однозначно считали руководство района, проявившее непозволительную беспечность и бесконтрольность за состоянием санитарно-эпидемиологической обстановки. В общем, райисполком и лично Ларионова обвинили в непонимании линии партии и советского правительства в вопросах сельского хозяйства и сохранения здоровья граждан.

Во время выступления главных обвинителей Ларионов заметил, как всё ниже и ниже опускали головы Житенёв и Князев, и сделал неутешительный для себя вывод: «Не заступятся... Надо полагаться только на себя!»

Поэтому, когда Мехренцев поднял его: «А теперь послушаем, что скажет нам председатель Сысерского райисполкома товарищ Ларионов...», встал, повёл плечами, как борец перед выходом на татами, и, следуя доброму совету «не лезть в бутылку», сказал:

— Международную обстановку, политику партии и советского правительства мы в районе понимаем правильно. Что же касается вопроса, который мы сегодня обсуждаем, так у меня есть своё особое мнение. Но высказать его я могу только в личной беседе с председателем облисполкома товарищем Мехренцевым и генералом Корнеевым. — И, оглядев ясным взором присутствующих, опустился на своё место.

В зале воцарилась такая тишина, что сквозь закрытые окна стало слышно чириканье воробьёв в кустах сирени.

Мехренцев, переглянувшись с Корнеевым, объявил перерыв на час и направился к выходу из зала. Проходя мимо Ларионова, бросил на ходу:

— Валерий Михайлович, следуйте в мой кабинет.

В приёмной у Мехренцева толпились военные. Ларионов узнал командующего войсками округа, долговязого Тягунова, шарообразного особиста Миронца, начальников войск химической защиты и медицинской службы, с которыми ему приходилось не раз контактировать за прошедший месяц.

Мехренцев поздоровался с генералами и попросил их немного подождать, распахнул дверь в кабинет и, пропустив вперёд Корнеева и Ларионова, вошёл следом, плотно закрыв дверь за собой.

— Ну, что ж, товарищ Ларионов, излагайте своё особое мнение. Мы вас слушаем.

Ларионов молча расстелил на столе «домашнюю заготовку» — карту Сысерского и Чкаловского районов с нанесёнными на ней розой ветров и овалом, в котором теснились чёрные и красные точки. Овал своей вершиной упирался в секретное НИИ рядом с тридцать вторым военным городком, а противоположным концом тянулся к окраине посёлка Горный Щит.

— Ну-ка, ну-ка, что тут у вас, Валерий Михайлович, — Мехренцев и Корнеев склонились над картой.

Ларионов пояснил:

— Здесь обозначена роза ветров на начало апреля сего года, то есть на тот период, когда появились первые инфицированные сибирской язвой. Красные точки обозначают заболевших, чёрные — умерших. Сегодня не прозвучало, что основные летальные исходы связаны с лёгочной формой инфекции, а вовсе не с кожной или кишечной, но я полагаю, вам, товарищи, хорошо известно, что инфекция проникала в организм воздушно-капельным путём, то есть из атмосферы. Ветер в эти дни дул исключительно с севера, перенося споры сибирской язвы в южном направлении. Наибольшее число чёрных и красных точек находится в вытянутом овале с осью примерно в четыре километра — от военного городка номер девятнадцать и до южной

окраины Чкаловского района. У нас в Сысертьском районе ни одного случая летального исхода не зафиксировано. Незначительное число заболевших есть только в Горном Щите, граничащем с городом. Следуя простой логике, источник инфекции надо искать там, где число инфицированных самое большое, и он явно не в нашем районе.

Генерал Корнеев, слушая Ларионова, багровел всё больше и больше. На конец заорал:

— Что вы нам пытаетесь доказать, товарищ Ларионов? Какой девятнадцатый городок! Откуда эта роза ветров у вас взялась?

— Сведения о направлении ветра — с метеостанции. А вообще-то розу ветров мы в четвёртом классе на географии изучали...

Корнеев зло посмотрел на Мехренцева, мол, ты-то чего молчишь?

— Мы вас услышали, Валерий Михайлович, — спокойно сказал председатель облисполкома. — Оставьте мне карту. Я доложу ваши соображения членам комиссии. А вы поезжайте к себе в район, занимайтесь посевной...

— Рад бы, Анатолий Александрович, но ведь карантин же... У меня люди уже месяц по домам сидят. А погода ждать не будет... Разрешите снять ограничения?..

— Разрешаю, — махнул рукой Мехренцев.

Из его кабинета Ларионов вышел, чувствуя себя если не победителем, то и не побеждённым.

Приехав в Сысерть, он тут же распорядился разблокировать все дороги.

На следующее утро как по мановению волшебной палочки объявился на рабочем месте первый секретарь райкома Шилков. И жизнь в районе потекла своим чередом, как будто ничего и не было... Но об эпидемии и твёрдой позиции, занятой Ларионовым, люди не забыли. Само собой разумеется, его авторитет в районе, да и в области вырос.

И даже когда в научном журнале по микробиологии академик Бычков опубликовал статью, в которой упрямо настаивал, что эпидемия сибирской язвы в Свердловске — это следствие заражения людей инфицированным мясом больных животных из Сысертьского района, на судьбе Ларионова это никак не отразилось. С должности его не только не сняли, напротив, начали готовить к продвижению по карьерной лестнице, заговорили о переходе на партийную работу на место Шилкова.

Ларионов работать в райкоме не хотел и заартачился, ссылаясь, что он имеет диплом инженера-механика и хотел бы работать по специальности. Столь явное непонимание Ларионовым «своего счастья» вызвало недоумение у кадровиков обкома партии. Доброхоты тут же донесли Шилкову, мол, держи ухо востро: председатель исполкома метит на твоё место, а сопротивляется только для виду — цену себе набивает. Партийный вожак района, просидевший в этом кресле более двух десятков лет, занервничал и вызвал Ларионова на откровенный разговор.

Ларионов успокоил старшего товарища:

— Валентин Алексеевич, я в партийные вожаки не рвусь, мне бы к земле поближе... Вон у нас Никольский совхоз отстающий и нерентабельный. Готов пойти туда директором, если райком поддержит...

Шилков поддержал, ибо хорошо знал старый принцип: конкурента с глаз долой — себе спокойней...

За два года директорства в Никольском Ларионов вывел совхоз в передовые. Правда, борясь с ленью и безответственностью в хозяйстве, заработал инфаркт. Кардиолог посоветовал ему найти работу поспокойнее. Ларионов перевёлся в Свердловск преподавателем в инженерно-педагогический институт. Потом работал главным инженером нескольких заводов. В годы перестройки возглавил объединение подсобных хозяйств Верх-Исетского района, где и трудился до самого выхода на пенсию.

Нет-нет, а память возвращала его к событиям семидесятого года. В эпоху гласности таинственная эпидемия снова оказалась на слуху. Несколько-

ко известных журналистов провели свои расследования и выложили в СМИ то, о чём в былые времена говорилось только шёпотом: вспышка сибирской язвы — результат аварии, случившейся в лаборатории закрытого военного городка. Выяснилось, что совершил ошибку сотрудник НИИ, который не записал в журнале, что один из фильтров вытяжки неисправен. На следующий день эксперименты продолжили в том же боксе, что и привело к выбросу заражённого аэрозоля. Версия о заражении горожан мясом инфицированных животных — это не более чем дезинформация, адресованная мировой общественности. Журналисты раскопали также, что академик Бычков являлся непосредственным создателем штамма, вырвавшегося из пробирки в военной лаборатории. Он отстаивал до конца своих дней версию санэпиднадзора, чтобы вывести себя из-под удара, а подписавшие акт о происхождении эпидемии члены комиссии — это его сын и лучший ученик.

Ларионов, несмотря на то что его в семьдесят девятом году хотели сделать «стрелочником», не одобрял желание журналистов срывать все маски, демонстрируя перед «западными партнёрами» свою открытость. Он понимал, что существуют государственные секреты, которым нет срока давности.

Но эпидемия гласности охватила всех. Бывший первый секретарь Свердловского обкома партии, став всенародно избранным президентом страны, тоже внезапно вспомнил о трагедии семидесят девятого года, посвятив ей абзац в своих мемуарах со странным названием «Исповедь на заданную тему». Хотя напрямую он и не подтвердил, что сибирская язва вырвалась из трубы секретного подземного завода, но не преминул рассказать, что лично обращался к Андропову с просьбой вывести «опасное производство» из Свердловска.

Вероятно, он всё же чувствовал некую вину перед земляками, потому что в девяносто втором году издал указ об улучшении пенсионного обеспечения семей граждан, умерших вследствие заболевания сибирской язвой в 1979 году. Правда, ни один житель Свердловской области так и не смог получить ни копейки компенсации, ибо ни в медицинских книжках, ни в свидетельствах о смерти не был указан диагноз «сибирская язва». И более того, все истории болезней ещё в начале восьмидесятых из лечебных заведений Свердловска были изъяты и уничтожены «за истечением срока хранения».

Ларионов к середине девяностых перебрался жить в дом на берегу реки Сысерть. Строить его он начал, работая в райисполкоме. Теперь, выйдя на пенсию, наконец-то пробурил скважину, провёл электричество и водопровод. На крыше установил флюгер в виде Георгия Победоносца, поражающего копьём дракона, чей заострённый хвост являлся стрелкой, указующей, куда дует ветер.

И вот что примечательно, какие бы ветры перемен ни проносились над Россией, меняя государственный строй и начальников, а в уральском захолустье роза ветров практически не изменилась: из года в год весной преобладающим направлением воздушных потоков здесь остаётся движение с севера на юг.

БЕЗ ВЫМЫСЛА

Андрей Попов

Слон и Ельцин

Мне не часто приходилось менять место работы. Может, поэтому и сейчас хорошо помню, как в середине нулевых проходил собеседование, пытаясь устроиться в одну крупную московскую компанию. Менеджер по кадрам — молодая женщина лет 25–27, изучая мою анкету, не смогла удержаться от улыбки и изумления:

— Место рождения — Караганда? А я и не знала, что такой город на самом деле есть! Думала — сочинили для прикола: «Где-где? В Караганде!» Можете о ней немного рассказать?

Как же я обрадовался такой неожиданной просьбе! О Караганде я могу говорить много и охотно. Объяснил, как город получил свое название, почему его называют шахтерской столицей, космической гаванью, упомянул о Карлаге и его знаменитых узниках. Даже вспомнил строчки из стихотворения Заболоцкого о Караганде (после освобождения из лагеря он два года здесь жил):

Всю ночь над нами тлеют терриконы —
живые горы дыма и огня.

О терриконах москвичка, как оказалось, тоже ничего не знала: пришлось ей и это растолковать.

— Не припомню, чтобы кто-то на собеседовании читал стихи. Вы первый, — заметила она с улыбкой, но мое предложение выслушать еще несколько строк из карагандинских стихотворений Наума Коржавина решительно отвергла:

— Нет, стихов хватит!

А вот следующий ее вопрос застал меня врасплох:

— Ну а есть в Караганде какая-то смешная, веселая достопримечательность?

Никогда раньше я об этом не задумывался. Это сейчас карагандинцы мгновенно ответят, что только в их городе есть единственный в мире памятник крылатой фразе — тому забавному присловью, с которого началась наша беседа. Мне было труднее, но я все же вспомнил тогда — пусть не о самой веселой и забавной, но, наверное, самой необычной, да что там — просто феноменальной карагандинской знаменитости — говорящем слоне Батыре.

Андрей Попов (1958) — родился в Караганде (Казахстан). С 2003 года живет в Москве. Кандидат филологических наук, доцент. Отличник образования Республики Казахстан. Автор научных и научно-методических работ по истории и теории литературы. Печатался в журнале «Нева», а также в региональных российских и казахстанских изданиях.

Но толком рассказать не получилось — к «чуду природы» женщина отнеслась с открытым недоверием и иронией.

— А летающих сусликов в вашем степном kraе нет? — уже в самом начале прервала она мой рассказ и, заметив, что ее реплика вызвала у меня обидное недоумение, добродушно пояснила: — Мультфильм в детстве видела. Кажется, так и назывался — «Летающий суслик». Ну а вы, наверное, вспомнили Михалкова: «У меня зазвонил телефон. — Кто говорит? — Слон».

— Это Чуковский, а не Михалков, — поправил я ее и, как мне показалось, удачно добавил, что теперь я не единственный, кто здесь читал стихи.

— Да, конечно, Чуковский, — подхватила она, нисколько не смущившись из-за своей оплошности. — Он еще «Айболита» написал, — поспешно уточнила женщина, решив продемонстрировать свою литературную эрудицию и реабилитироваться в моих глазах.

Продолжить начатую историю мне не удалось.

— Раз вы сказали, что в Википедии есть статья об этом слоне, я сегодня вечером ее найду и прочитаю, — снисходительно подытожила менеджер и предложила мне перейти к главному — рассказать об опыте работы и профессиональных достижениях.

Не знаю, смогла ли она убедиться в том, что я ничего не выдумал. На повторное, решающее собеседование — с профильным руководителем — меня не пригласили. Почему — не знаю: возможно, после упоминания о говорящем слоне усомнились в моей адекватности...

Между тем — слон был! В апреле 1980 года о нем даже *The Daily Telegraph* писала. О Батыре сняли документальный фильм. А телерепортажей, публикаций в российской и казахстанской прессе вообще не счесть. Может, даже их больше, чем тех, кому удалось услышать, как слон говорит! Мне вот не повезло. Я видел его только однажды. Запомнилось, как толпа детей у вольера — похоже, из старшей или подготовительной группы детского сада — хором скандировала, упрашивая: «Батыр, говори! Батыр, говори!»

А слон, развернувшись вполоборота к шумной ораве, упорно молчал и долго, невыносимо долго, не останавливаясь, уныло раскачивался из стороны в сторону. И даже звонкие детские голоса не могли перебить то ощущение полной безысходности и тоски, которое исходило от этого тягостного меланхоличного раскачивания.

Но обо всем — по порядку. Известно, что Батыр появился на свет в мае 1970 года в Алма-Атинском зоопарке у пары диких слонов, подаренных Казахстану первым премьер-министром независимой Индии Джавахарлалом Неру. Первенец этой пары, родившийся в мае 1968 года, был убит мамой-слонихой сразу после рождения. Та же участь ждала и Батыра. По непонятным причинам, которые ученые-зоологи объяснить не смогли, слониха и в этот раз отказалась от слоненка: пнула новорожденного и, похоже, затоптала бы его, но успели вмешаться работники зоопарка. Все попытки вернуть слоненка в вольер к родителям были безуспешными: поведение слонихи по-прежнему оставалось угрожающим. Так что Батыр — еще и слоненок-отказник. Говорят, что у слонов, в отличие от людей, такое случается крайне редко.

В 1974 году Батыра перевезли в Карагандинский зоопарк. А через четыре года впервые заметили, что слон «заговорил». Вот что пишет Алексей Погребной, главный исследователь слона-феномена, долгое время работавший в Карагандинском зоопарке: «Батыр произносил около 20 слов и коротких фраз, даже ругался нецензурно, блистая познаниями в ненормативной лексике... Слон не подражал человеческой речи, а именно коммуницировал с сотрудниками и посетителями зоопарка, прося воды или хвастаясь собой... Когда он хотел пить, начинал твердить: «Воды... Батыр,

воды...» Просто так он воды не просил. Когда Батыру установили непрерывно поступающую питьевую воду, слон просить ее перестал».

Я общался с Алексеем Погребным в конце 80-х. После встречать его не приходилось. Разные интернет-источники сообщают, что он уже давно живет в США. Кстати, издал там книгу о чудо-слоне. Отдавая должное неистощимой энергии и креативности Алексея, не могу в то же время умолчать о его — скажу мягко — склонности к гиперболизации.

Нет, я совсем не имею в виду, что он мистификатор и выдумщик. Звукоподражательные способности Батыра подтверждены видео- и аудиоматериалами, многие из которых демонстрировались на международных научных конференциях (часть аудиовизуальных записей была передана в МГУ). Публикации о слоне были размещены не только в массовых, но и в авторитетных научных изданиях, в том числе за рубежом.

И все же я с некоторым скепсисом отношусь ко многим свидетельствам о широте слоновьего лексикона (зоологи бы меня поправили — звукового репертуара). Если же они и в самом деле правдивы, то надо признать, что словарный запас Батыра по объему вполне сопоставим со словарем Элочки-людоедки из «12 стульев» Ильфа и Петрова, а использовал слон его даже более разумно — всегда ко времени и к месту.

Вот часть слов и выражений, которые произносил Батыр; к некоторым прилагаются ремарки Алексея Погребного, поясняющие характер звучания, сопутствующие движения и действия: «Батыр» (задумчиво-ласково и протяжно), «да», «дай», «дай-дай-дай», «раз-два-три» (кружась и пританцовывая), «иди», «ой-ё-ёй» (очень звонко), «воды», «ба-ба», «Батырушка» (протяжно), «Батыр хороший», «Батыр плохой», «Батыр воды», «дурак» (резко и отрывисто), «Батыр, Батыр, Батыр» (радостно бегая по вольеру).

Пусть упоминание о танцующем слоне и беге по вольеру останется на совести главного «батыроведа». На самом деле и в летнем загоне, и тем более в зимнем помещении никакой возможности бегать у слона не было. Да простит меня родной город, но надо признать: тогдашний карагандинский зоопарк скорее был «зооадом», «зверотюрьмой». Но однажды Батыру удалось вырваться из этой тюрьмы, тем самым оправдав полученное имя (с казахского — богатырь, герой). Летом животные содержались на территории зоовыставки в центральном городском парке. В один из дней (точнее, одну из ночей) Батыр сломал ограждение загона, потом проломил металлический забор и отправился на прогулку по парку. Вот во время этого ночного променада Батыр вполне мог и радостно бегать, и танцевать, и кружиться. Ну да — обломал при этом ветки деревьев, перевернул скамейки. Так он же слон! И не цирковой — особой танцевальной легкостью и ловкостью не отличался.

Но самое занятное — его ночной маршрут! Слон двинул прямо к парковому кафе, у которого и остановился. Крушить ничего не стал, а деликатно стучал хоботом по стеклянной двери. Вы представляете, что должен был пережить ночной сторож кафе, увидев через стекло огромного слона, да еще и что-то требующего: «Дай! Дай! Дай!» Так и просится заметить: ну не водицы же он просил испить! К слову, в достоверности этой истории ничуть не сомневаюсь: жил рядом с парком, о ночной вылазке слона слышал от многих, кому удалось увидеть, как с помощью милиции и спецтехники беглеца возвращали в зоопарк.

«Батыр блистал знанием ненормативной лексики», — делится своими наблюдениями зообиолог Алексей Погребной. Но им же самим это не сильно подтверждается. Он упоминает, как при многочисленных свидетелях слон как-то послал по известному адресу группу телевизионщиков, снимавших в зоопарке репортаж. Если верить карагандинскому «слоноведу», ругательный словарь Батыра исчерпывался широкоупотребительным трех-

буквенным словом и связанной с ним глагольной конструкцией. Ну и какие же это «блестательные познания»?

Известности Батыра во многом способствовали и журналисты центральных изданий. Очень активно — Валерий Володченко, в свое время работавший собкором «Комсомольской правды» по Казахстану. Он не раз писал о Батыре — и не только на пике слоновьей популярности, но даже спустя почти 30 лет после смерти слона. В нескольких его материалах Батыр действительно представлен отъявленным сквернословом. Оцените сами экспрессивные заголовки его статей: «Батыр был выпить не дурак и матерился виртуозно» («Комсомольская правда», 7 марта 2016 г.), «Говорящий слон Батыр был матерщинником и выпивохой» («Труд», 25 декабря 2021 г.).

Вот несколько штрихов к портрету «сквернослова и выпивохи» — забавных эпизодов, о которых вспоминает журналист:

«Полюбовавшись слоном, я уже собрался было уходить и на прощанье протянул могучему красавцу леденец. Слон конфету принял, сунул хобот в пасть и глухо проговорил:

— Батыр хороший.

Я онемел. Рабочие корчились от хохота. А слон продолжил:

— Еще буду...

Я зашарил по карманам, но ничего съестного не находилось. Слон разочарованно помахал хоботом, а потом произнес несколько слов, которые всем известны, но которые я не могу воспроизвести в печати даже в наши бесцензурные времена. Матерился слон, как и миллионы российских мужиков, умело, привычно и беззлобно...

Беседовать Батыр начинал не всегда, а лишь после того, как рабочие вливали ему в ведро с водой пару бутылок водки. И словарный запас сформировался у слона своеобразный, сами понимаете, какой. Такие уж у Батыра оказались учителя... Мой приятель, корреспондент республиканского радио, попытался сделать репортаж о слоне и пришел на запись с несколькими бутылками коньяка — чтобы и смотрителям-рабочим, и слону хватило. Но, видимо, переусердствовали ребята с горячительным напитком. Сам-то процесс интервью прошел весьма живо, но смонтировать потом пленку не удалось: вся запись состояла из отборного мата. Справедливости ради надо сказать, что не только слоновьего...»

Ну как вам? Поверим или усомнимся? Сейчас, когда прошло столько лет, многое из написанного о Батыре трудно оспорить или, наоборот, подтвердить. Его жизнеописание — в статьях журналистов, ученых, блогеров, в воспоминаниях персонала и посетителей зоопарка — постепенно обрастало все новыми деталями и эпизодами, характеристиками и комментариями, догадками и домыслами. По сути, Батыр стал городской (и не только) легендой или, как сказали бы культурологи, героем коллективно созданного «зообиографического мифа». Вспомнилась выпавшая из анекдота и зажившая самостоятельной жизнью ироническая крылатая фраза: «Россия — родина слонов» — насмешка над неуклюжими попытками утвердить российский или советский приоритет во всем и вся. А вот заявить «Казахстан — родина говорящего слона» — у нас есть полные основания! Да, все-таки жаль, что вопросами брэндинга регионов и городов в 80–90-е годы никто по-настоящему не занимался. Представляете, как бы возрос интерес к шахтерской столице, получив тогда запустить в массы слоган «Караганда — город говорящего слона»! Впрочем, и без такого слогана было много тех, кто приезжал в Караганду только для того, чтобы посмотреть на Батыра.

Конечно, преобладающая тональность публикаций о Батыре — смешная, забавная. Да и я, как справедливо заметят читатели, часто сбиваюсь на нее. Но в истории Батыра немало по-настоящему ранящего, горького, мрачного.

Многое открылось после его смерти, о которой зоопарк не сразу сообщил, по-видимому, опасаясь журналистского расследования и общественного возмущения. Наверное, поэтому вскоре последовало столько противоречивых объяснений случившегося.

Говорили, что Батыр умер от истощения. Желудок его чуть ли не наполовину был забит камнями. Он засасывал хоботом все, что можно было найти в вольере, — как поясняют, чтобы заглушить голод. Я слышал, что Батыру действительно могли несколько дней не давать пищи или давать совсем немного. Но делалось это только тогда, когда он бесновался, входил в исступление, а голод должен был это его безумие смягчить. Не знаю, так ли это было на самом деле. Ведь в 90-е в зоопарке погибли от истощения еще и другие животные.

Были и те, кто объяснял: слон, долгое время находясь в одиночестве, последние годы пребывал в депрессии и сам пытался нанести себе вред — глотал камни, бился головой о стены и столбы. По официальной версии, причиной смерти слона стал отказ почек. Рассказывали, что Батыр долгие годы в зимнее время страдал от холода, поскольку помещение плохо обогревалось, — именно это и привело к заболеванию почек.

Горожане этому объяснению не верили: большинство склонялось к тому, что смерть слона была вызвана длительным приемом алкоголя. Наверное, к такому заключению пришли потому, что практически во всех публикациях о Батыре непременно упоминали о его винно-водочных пристрастиях. Обиженные работники зоопарка, оправдываясь, жаловались как раз на журналистов, которые часто приезжали в зоопарк с бутылками спиртного: считали, что алкоголь поможет «разговорить» слона.

Я в свое время видел несколько глумливых фото, сделанных фоторепортерами или посетителями зоопарка: на одних видно, как Батыру вливают вино в хобот, на других — как он сам пьет из горлышка бутылки, придерживая ее хоботом. Работники зоопарка и сами признавали, что тоже давали Батыру алкоголь, но опять же, только чтобы его успокоить.

Наконец, многие убежденно говорили, что умертили слона намеренно: ввели смертельную дозу седативных препаратов. Некоторые, правда, возражали и уточняли, что произошло это случайно: по ошибке ввели не тот препарат.

Моей осведомленности о Батыре и последних годах его жизни я обязан еще одному случайному эпизоду, о котором сейчас расскажу. Как-то в ожидании автобуса стоял на остановке, через дорогу от которой — зоопарк. К остановке подошли две женщины (одна лет 35–40, другая заметно старше — под 70) и девочка лет 6–7. Несложно было понять, что это мать и бабушка с внучкой. С ними был еще молодой мужчина, который что-то увлеченно им объяснял.

Уже по первым фразам стало ясно: они были в зоопарке, а говорят о Батыре, умершем около года назад. Причем пожилая женщина, как я понял, сомневалась в том, что слон был любителем выпить:

— Не могу поверить, чтобы ему и вправду давали спиртное! Это газетчики раздули! А если все-таки поили, значит, должны ответить за издевательство над животным!

— Нет, никто его специально не спаивал! — втолковывал ей мужчина. Это ветеринары рекомендовали, говорили: во всем мире так делают, чтобы успокоить. Знаете, как он тут буйствовал! Конечно, ему и снотворное давали, седативные кололи, но лекарств не хватало, и тогда без алкоголя просто нельзя было обойтись, иначе он все бы тут разнес. И водку никто не давал. Только вино с нашего карагандинского винзавода привозили. Обычное вино. Мужики в зоопарке сначала подворовывали, тоже пили. Но потом резко пре-

кратили: кто-то пустил слух, что туда добавляют препарат от полового возбуждения, который вызывает импотенцию.

Молодая женщина засмеялась, а пожилая раздраженно съязвила:

— А чтобы закусить, каких зверей обворовывали?

Автобуса ждали долго: минут 20 (хотя для середины 90-х совсем и не долго!). Мужчина, как предполагаю, — знакомый этих женщин. Или дальний родственник — он обращался к ним на «вы». И было очевидно, что он как-то связан с зоопарком — может, сам работал в нем, а может, его друзья.

Повторю, к остановке они подошли, продолжая уже начатый разговор. Правда, из некоторых вопросов и реплик женщин было понятно, о чем мужчина им говорил раньше. Многое мне было известно, но о некоторых скрытых временем событиях из жизни нашего героя узнал впервые. Вот что удалось услышать и понять.

В последние годы своей жизни Батыр стал очень агрессивен. Смотрители отказывались с ним работать, со страхом заходили в загон, опасаясь за свою жизнь. Для укрощения слона использовали специальные багры, а еще плоские палки, на которые наматывали колючую проволоку с длинными острыми шипами, часто пугали факелами — слоны боятся огня. Ветеринары агрессию Батыра связывали с приступами длительного полового возбуждения — для слона крайне мучительного и невыносимого. Даже в природе опасны и агрессивны именно одинокие слоны. Партнершу для Батыра искали долго, но все-таки нашли — ее должны были перевезти из какого-то российского зоопарка. Кажется, из Омска или Оренбурга — не запомнил. Однако перемещение слонихи затянулось. В причинах я тоже до конца не разобрался. Мужчина сначала что-то говорил о слоновнике — его надо было расширить. Потом сердито объяснял, что виновато московское начальство, которое никак не могло довести дело до конца.

В декабре 1991 года слониха стала чужестранкой (надо ли объяснять почему), и это крайне осложнило брачные слоновьи перспективы: теперь надо было договариваться чиновникам двух суверенных государств. Россияне неожиданно запросили калым. Мужчина так и сказал — калым, видимо, пытаясь пошутить. Сторона жениха стала возмущаться — раньше о выкупе речь не шла. Потом вроде согласились, только просили сбавить цену, но россияне уперлись — и ни в какую не уступали.

— Говорят, наши писали письма в Москву высоким чинам, кажется, даже Гайдару, — уточнил мужчина.

— Надо было Назарбаеву позвонить Ельцину, — авторитетно, побойцовски заявила женщина — та, что постарше.

— Мама, ну что ты несешь? Назарбаев будет просить Ельцина за какого-то слона? Ты в своем уме? — грубо вмешалась ее дочь.

— Не какого-то, а говорящего! — обиженно и возмущенно продолжила пожилая. — И вообще — это Ельцин во всем виноват! Развалил Союз и слона нашего погубил. Если бы не он, привезли бы слониху, наш бы сразу успокоился, и ни вина, ни водки больше не понадобилось бы. Родили бы потом детеныша, и были бы сейчас у нас в зоопарке слон, слониха и слоненок.

Мужчина уже на ходу — пришел автобус — попытался робко возразить: все не так просто, никто не мог ручаться, что Батыр так сразу успокоится и примет «невесту». Но женщина его уже не слушала. Схватила за руку внучку и поспешила занять свободные места. Мужчина с молодой женщиной оказались в отдалении от меня, и я уже не мог расслышать, о чем они говорили. Да они больше молчали. Из автобуса я вышел раньше них, так что не знаю, продолжили ли они выяснять, кто виноват в смерти Батыра.

Меня иногда упрекают в излишней ироничности. Случается даже — в неуместной. Говорят, это мешает воспринимать серьезно то, о чем расска-

зываю или пишу. Но дело в том, что сама жизнь часто подкидывает такие сюжеты, эпизоды, реплики, о которых без иронии просто невозможно рассказать.

Ну вот как не сыронизировать по поводу такой ошеломляющей причинно-следственной связи: Ельцин как виновник гибели слона. Вот и я тогда мысленно съехидничал: «Как же глубоко она копает, однако! Сразу видно — по-шахтерски!» А сейчас понимаю: вот это точно была неуместная ирония!

Лихолетье 90-х именно людей старшего возраста сделало наиболее уязвимыми, незащищенными, а часто и обездоленными. Для многих из них — и не только в России — персональным воплощением зла, разрушившим Союз и сломавшим миллионы судеб, был Борис Ельцин. Не к месту здесь обсуждать, насколько оправданной и точной была такая персонификация. Но вполне очевидно, что расхожий вердикт «виноват Ельцин!» стал тогда чем-то вроде народного присловья, постоянно мелькающего в речи. И был этот вердикт чуть ли не всеобъемлющим, распространялся на все бедствия, неприятности и происшествия. Так что не удивительно, что женщина на остановке вдруг вспомнила Ельцина.

Вообще мне кажется, что эта старая женщина с ее комичным просто-душием отзывчивее многих нас, включая ученых-зоологов, исследовавших уникальный феномен Батыра, журналистов, выпускавших о нем игриво-дурашливые тексты и телерепортажи. Удивительно, как людям ее возраста удавалось тогда жить сразу в двух жизненных режимах — выживания и сопреживания. Она ведь искренне не хотела верить, что многолетний городской любимец был так охоч до вина. И даже через год после смерти с непрятворной горечью недоумевала: «Ну как можно было его не уберечь?»

Нелепая эта связка — Ельцин и слон Батыр, может, и возникла из-за ее порыва защитить, обелить образ загубленного слона. Продолжись спор, она со своей обескураживающей прямотой могла бы задать и такой не вполне учивый вопрос: «Ну так кто из них — выпивоха?»

Недавно впервые повез шестилетнего внука в Московский зоопарк. Был уверен: ему будет интересно. Ну кого он до сих пор видел — лошадей и пони в парке, да белок еще. И всё! И представьте себе: внук уже минут через 20 стал проситься домой. Ничего его не впечатлило! Предложил посмотреть на слонов — отказался. Ну вот тут я вспомнил про Батыра и хвастливо сказал:

— Арсений, а я видел говорящего слона!

— Да? — заинтересованно откликнулся внук. — На говорящего тоже хочу посмотреть. Пойдем!

— Нет, не здесь! В Москве слоны не говорят.

— А где?

— Подумай сам.

— А мама тоже видела?

— Да, когда была ребенком.

— Знаю, — обрадованно закричал он. — Знаю где! В Караганде! А он еще там?

— Нет, это было давно. Он умер.

— Наверное, старым стал, — печально вздохнул внук.

Я промолчал. Решил, что скоро он и сам поймет, что в зоопарках слоны, даже говорящие, умирают совсем не от старости.

P.S. Небольшое скорбное дополнение. Общаюсь в соцсетях с известным казахстанским блогером Наталией Тартаковски, узнал о горестной участии родителей Батыра: они тоже умерли не от старости. Слон Дубас и слониха Пальма были отправлены посетителями Алма-Атинского зоопарка.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Кирилл Ямщиков

Всё хорошее быстро горит

Ностальгия как метод

I

Положение дел новейшей русской литературы — или того, что мы, отринув детали, частности, называем литературой на русском языке, — одновременно и многообещающе, и отчаянно. Речь не об именах, не о голосах и тем более не о принципах письма; скорее — о том, что за всяkim письмом расположено.

Обнаруживая себя в конкретном отрезке времени, а именно — в двадцатых годах двадцать первого века, мы, пишущие и читающие, не владеем ясностью и безуокоризненностью откровения. Если проза и движется, то автоматически, бессознательно — вокруг тупика, диктуя известные фантазмы стиля, проговаривая упадок и расстройство сюжетных нервов; если поэзия и дышит, то — намеченным пунктиром эксперимента.

Редкие исключения, как водится, лишь подтверждают правило. Апофатически выискивая новации, риски, триумфы, мы не только удаляемся от первопричины тупика и невозможности предложить альтернативу, но — и вовсе перестаём его замечать; тогда и кажется, что литература по-прежнему жива и по-настоящему строптива. По руинам модернистской риторики был собран человек издевающийся, неутомимый комбинатор; впрочем, уже сейчас он выглядит музейным реликтом, отжившим себя элементом стиля.

Но кого предлагает встретить литература сегодня?

Я говорю о последних тридцати годах постсоветского бытования, на-метивших русской литературе ослепительные возможности и вместе с тем лишивших её зрения. Мы нашли коммерческий роман, но утратили скорбь; мы смогли усмехнуться, но не осознали карнавальности дней. Скоропалительно убежав от серьёзности к дурости, от дурости — к жалости и ангедонии, русская литература вновь оказалась перед вопросом: что, собственно, делать? Где та возможность, потенция, жажда, что позволит обрести полноту убедительности и выявить героем не последнего человека из германского словарика, но — человека беспримерно живого, утраченного Временем и Местом?

Здесь возникает проблема.

Наблюдая динамическое ускорение прозы, её, если угодно, активированный комплекс, я вижу — беру во внимание — одно-единственное общее,

Кирилл Ямщиков (2000) — прозаик, критик, эссеист. Родился во Ржеве. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Урал», «Волга», «Звезда», «Прочтение» и др.

что наблюдается у русского письма вне зависимости от его различий. Это, безусловно, *ностальгия*. Явившаяся ко столу не вчера и не сегодня, разобранная, казалось бы, на атомы, эта категория ухищрения — формального, смыслового, интоационного, — таит в глубине куда больше противоречий, чем представляется на первый взгляд.

Что составляет ознакомительную выборку русской литературы последних лет? Какие тексты были и остаются маркером узнавания — эпохи, себя, моды? Где, в конце концов, грань, разделяющая постсоветскую прозу и прозу российскую, то есть — новейшую?

Премиальные контексты успешно приучили нас к тому, что не всякий обласканный индустрией текст способен надолго задержаться в читательской памяти. Вряд ли кто-то вспомнит сейчас первого лауреата Русского Букера или, допустим, столь громкий в год выхода роман Елены Колядиной «Цветочный крест», однако многие — неожиданно многие — вспомнят и перескажут события романа Михаила Елизарова «Библиотекарь» (2007).

Скандалный и тенденциозный *тогда* и парадоксально хрестоматийный *сейчас*, именно этот текст Елизарова закрепился в истории русской литературы как факт удачи — и абсолютного торжества ностальгии. Фабула, которую, полагаю, многие из вас и без меня хорошо помнят, легка, намеренно авантюрна: забытый советский писатель Громов — типичный апологет себя и своего времени, — вдруг оказывается *широко известен в узких кругах*.

Дело в том, что каждая из его книг обладает имплицитной мощью и способна преобразить (если, конечно, прочтёшь написанное безотрывно от первой до последней буквы) тщедушную плоть, тщедушную мысль до неузнаваемого. Одна книга дарует всесиление берсерка, другая — абсолютную власть, третья — пробуждает сакральные воспоминания души, начиняя прошлое голосами какого-то поистине оккультного восторга.

За книги ведётся борьба между «библиотеками». Так зовутся группы единомышленников, объединённых — идеологически, материально — вокруг одного конкретного текста. Органон Громова представлен Книгами Силы, Ярости, Памяти, Терпения, Власти, Радости и — самое важное — Смысла. Последняя наиболее редка. Отыскавший её сможет подобрать ключи к действительности и развенчать парадоксы времени.

На основе этого альтернативно-фантастичного допущения Елизаров сообразил изумительно честный и миролюбивый роман. В самом деле: посреди кровавых баталий «под музыку Пахмутовой, слова Добронравова» мы наблюдали не гротеск ради гротеска, а попытку реванша: человек, уязвленный историей, переписывает её набело, позволяя себе хотя бы немного отыграться.

Советский миф здесь кокетливо вариативен и обладает чертами народной сказки: есть Избранник, есть Тайная Сила, есть, в конце концов, Откровение, столь нашей литературе родственное. Пройдя сквозь горнило потерь, Лёша Вязинцев не просто становился жертвой хаоса, но — вырастал в её мученика; тем показательней финал романа, мало с чем сравнимый по своей простоте и афористичности.

Отталкиваясь от историографических фантазий Владимира Шарова (что, если?) и показательных антимиров Виктора Пелевина (конспирология as possible), Елизаров написал ряд крайне своевременных — и словно бы неминуемых — опытов. «Pasternak» (2003), реваншизм которого, однако, несколько вытеснял его же художественную составляющую, важен нам как симптом эпохи; «Библиотекарь», напротив, важен нам как случай прозрения.

Ностальгический метод стал набирать обороты именно тогда: к концу нулевых. Букер Букеров получил роман Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» (2000), сенсацией масскультта стал «Дом, в котором» (2009) Мариам Петросян, ловко и небезосновательно переплавивший катастрофы девяностых в закупоренный, герметичный, интимный уни-

версум подросткового одиночества; наконец, в литературу пришла Наринэ Абгарян — и утвердила две, казалось бы, взаимоисключающих друг друга пропозиции: читательской сверхвостребованности и внушительного, безуко-ризенного таланта.

Нельзя, впрочем, не упомянуть издательские инициативы. *Ad Marginem* одну за другой публикует фантазии на тему проблемного прошлого («Сами по себе» (2000) Сергея Болмата, «Санька» (2006) Захара Прилепина, «Юбка» (2008) Олега Нестерова, «Венера туберкулёза» (2008) Тимофея Фрязинского), большое внимание обращают на себя труды «новых реалистов» — апеллирующие, несомненно, к авангарду деревенской и городской прозы («Елтышевы» (2009) Романа Сенчина,).

Переживает расцвет и так называемая Русская Дистопия — обращённая и к прошлому, и к настоящему, и к вероятному будущему («Кысь» (2000) Татьяны Толстой, «Нет» (2004) Сергея Кузнецова и Линор Горалик¹, «2008» (2005) Сергея Доренко, «2017» (2005) Ольги Славниковой, «День опричника» (2006) Владимира Сорокина, «Живущий» (2011) Анны Старобинец). Я сознательно беру в рамки произведения довольно расходящихся между собой контекстуальных периодов — ту же «Кысь» по-настоящему прочитали только к десятым.

«Настойчивое требование исторически значимого действия сегодня актуально, как всегда в России. Другое дело, что бремя этой необходимости теперь облегчено опытом ложных действий, знанием о том, какие виды исторической активности заведомо бездарны»², — писала Валерия Пустовая в 2007 году. Лабораторные опыты с ещё горячим вчера сыграли на руку тому многообразию стилей и голосов, что получила русская проза сегодня.

Венцом подобной эклектики стала книга Марии Степановой «Памяти памяти» (2017), вышедшая спустя десять лет после слов о «значимом действии» и оповестившая некий финал, итог формальных поисков двухтысячных. Необычайно важной оказалась и самоидентификация этой прозы, в меньшей степени зависевшая от русской традиции, но вовсю перебравшая «западный канон»: это, в сути своей, миссионерский жест доброй воли, приглашение узнать — открыть — текущие артефакты европейского письма.

Последнее, замечу, тоже не стояло на месте и закономерно (сквозь бурю деконструкций, отрицаний) пришло к ностальгии. Орхан Памук, стамбульский полуночник, собирая по кирпичику трактиры и вывески памяти, своего истинного прошлого (заметим, как отразилась эта манера в турецком кинематографе конца девяностых, в частности — фильмами Нури Бильге Джейланы); В.Г. Зебальд размышлял над историческим через семейное. Так же поступала Степанова — отдаляя нашенскую речь от возможностей орнамента, «цветения» слога; приближая его к туманной, минималистичной традиции я-проговаривания, я-наблюдения (Рэйчел Каск, Оливия Лэнг, Мишель Уэльбек, Дороти Эльмигер).

Культура и антропология; вот ключевые для этой прозы знаки одобрения. Радикальный, вне сомнений, проект реформации стиля — и его, в определённом смысле, возрождения, — придал ностальгии статус абсолютной темы, к которой можно прибегнуть даже в том случае, если никакой другой темой пишущий не обладает. Как и в чём это проявилось? В непрестанном поиске корней, оригиналов, источников происхождения; в недоверии к фабуле и пренебрежении читательским азартом. Формулой наивного отказа: уходом к эссе, размытием твёрдой воли демиурга внутри антиканона, бесплотной схоластической самости.

¹ Минюстом РФ внесена в реестр иноагентов.

² Валерия Пустовая. Скифия в серебре. «Русский» проект в современной прозе. — «Новый Мир», № 1, 2007.

II

В культуре американского мейнстрима есть понятие «ревизионистского вестерна», определяющее картины, тексты, звучания, так или иначе направленные против догматов жанра, критикующие его основы. Дело пошло, кажется, ещё с «Искателей» (1956) Джона Форда, картины сумрачной, зловещей: от вестерна в ней одни декорации. Техасско-индейские войны переходили из контекста истории в контекст метафизики: поиски Итаном Эдвардсом крошки Дебби, что украли ten little Indians, были поисками себя в гуле противоречий, обуявших американское общество аккурат после Гражданской войны.

В новейшей русской прозе таких «ревизионистских» эскапад набралось порядком: говорю здесь даже не об исторической романтике с привычной для неё глубиной прорисовки (Леонид Юзефович, Олег Хафизов, Алексей Иванов), сколько о настойчивом погружении в глубь общечеловеческой памяти. Это — обязательно — процесс реверсивный: в рассказе Татьяны Толстой «Белые стены» (1997) дом аптекаря Янсона являет собой хронотоп в-разрезе; сдирая — слой за слоем — обои, условная рассказчица обнаруживает под ними газеты, сообщающие прошлое целой страны.

«Начав рвать и мять, мы все рвали и мяли слои времени, ломкие, как старые проклеенные газеты; рвали газеты, ломкие, как слои времени: начав рвать, мы уже не могли остановиться, — из-под старой бумаги, из-под наслойений и вздутий сыпалась гонкая древесная труха, мусорок, оставшийся после древоточца, после мыши, после Янсона, после короедов, после мучного червя с семейством, радостно попировавших сухим крахмалом и оставивших после себя микрон воздушной прокладки между напластованиями истории, между тектоническими плитами чьих-то горестей».

В этом причудливом рассказе-эссе с излюбленным Толстой местом действия (дача, загородный посёлок, детское *безвременье*) ощущается та интенция, что определит русское письмо внутри неспокойного, требующего метаморфозы XXI века. Вспять обращённые ретардации, уклончивые виньетки, экфрасисы, интерлюдии, заманчивые даже на расстоянии и неминуемо соблазнительные вблизи. Анатомически хладнокровно оперируя читательскими ожиданиями, Толстая не развенчивает миф, не кормится им, а обращает сырой материал хронологии в самую поэтическую из метафор.

«Ревизионистская» манера, сполна оформившаяся к концу девяностых и выпестовавшая таких разных художников слова, как Шаров и Проханов, Масодов и Павлов, Пелевин и Бутов, не только заложила фундамент своеобразной ностальгической деконструкции, но и так называемой «новой искренности», которую почему-то до сих пор так и не расшифровали — систематизировали — окончательно. Как считает Юлия Подлубнова, «к трансформациям «новой искренности» небесполезно приглядеться поближе. Потому как оказывается, что «новая искренность» состоит из нескольких разновидностей «искренностей», имеющих подчас кардинально разную семантику»³.

Это исключительно ценное замечание применимо и к условностям метамодерна, внутри которого, как считают некоторые исследователи, мы обитаем (вполне убедительно) прямо сейчас. Сомнение вызывает — по праву — само качество «искренности» как художественного принципа: ведь, кажется, всегда была проза краткой дистанции и дистанции критической. Лихоносов не близок Трифонову, Пепперштейн — Алешковскому, и всё это столь же очевидно, как дважды-два-четыре.

³ Юлия Подлубнова. К маме с небритым ногами: «новая искренность в эпоху метамодерна». Знамя, №2, 2023.

С уверенностью можно проследить лишь интенции в повествованиях последних шести-семи лет, когда на передовую литературного процесса выступили — почти единовременно — одинаково искренние (и вместе с тем предельно *несхожие*) Алла Горбунова, Евгения Некрасова, Анна Шипилова, Оксана Васякина, Вера Богданова, Анаит Григорян, Дарья Благова, Анастасия Сопикова и многие другие. Трагическое, радикальное сближение объекта с субъектом внимания, отсутствие демаркационной линии между проговариваемым и подразумеваемым даровало небывалую оптику внутри-мейнстримного авангарда.

Поколение «Дебюта» сменилось поколением «Лицей», и как таковая разница статусов, контекстов, целеполаганий упразднилась. По справедливому замечанию Станислава Секретова, «начинающие авторы не всегда стремятся «представительствовать от комсомола» — некоторые прозаики поколения двадцати- и тридцатилетних сразу пробиваются в «высшую лигу». Юным писателям никто не запрещает наравне с мэтрами участвовать во «взрослых» премиальных гонках. В числе номинантов и финалистов больших литературных премий 2010-х имена молодых дебютантов встречались едва ли не всегда. Но в списках победителей — крайне редко»⁴.

То, что дебютанты очерченного периода, дебютируя, шумели, но не забирали главных премий, совершенно ничего не говорит нам о читательском внимании; контексты премиальные и издательские разнятся друг с другом, как я писал выше, довольно заметно. Секретов противопоставляет новейшей тишине громкие, по его мнению, дебюты двухтысячных, но будто бы игнорирует выявленное Андреем Немзером «замечательное десятилетие» девяностых и кардинальные метаморфозы начала десятых.

Именно сейчас, как мне думается, русская литература вплотную подобралась — нет, не к тупику, вблизи которого блуждает весьма давно, но к осознанию усталости от этого блуждания. Что ожидает нас после «Петровых в гриппе и вокруг него» (2016) Алексея Сальникова, «Земли» (2019) Михаила Елизарова, «снарка снарка» (2022) Эдуарда Веркина — романов, озвучивших итоги, до апоплексической высоты поднявших романные настроения последних тридцати лет, упразднивших — нарочито смело — и трагику спальных районов, и бесконечное самолюбование последнего человека в зеркальце истории, и его же невозможность сделать хоть что-нибудь, что — изменило бы наше с вами «никогда» к лучшему.

Несколько иные процессы мы наблюдаем в русскоязычной прозе, удалённой — территориально — от самой России: будь то «Демонтаж» (2023) Арена Ваняна, один из громких дебютов последних лет, написанный по следам истории независимой Армении, или «1916. Волчий кош» (2023) Тимура Нигматуллина, бойкий истерн о Казахстане времён Первой мировой войны. Радостное узнавание, так или иначе настигающее нас в процессе изучения такого близкого — и вместе с тем столь далёкого русского письма — исключительно обогащает физиологию литературы.

Что же, однако, в сердце нашей прозаической стихии?

Аналогичное освоение матриц. Впрочем, куда менее грандиозных: речь о нулевых и десятых, ставших для многих дебютантов их персональными «девяностыми». Алла Горбунова пишет о дворовых посиделках и школьных перепалках с таким отчуждением метода, с такой резкостью и прямотой («Конец света, моя любовь» (2019), что впору говорить о феномене гайгерманизма в русской литературе, об абсолютной симпатии к урбан-декадансу).

То же самое — у Анастасии Сопиковой, чей дебют «Госка по окраинам» (2022) ощущается как импровизация на материале перестроичного кино. *Верните мой две тысячи седьмой* увязан с лирическим минимализмом Ка-

⁴ Станислав Секретов. Молодые десятые. Десятилетие негромких дебютов. Знамя, № 4, 2020.

закова/Нагибина, умением — противопоставить неуютному прошлому дворов и подъездов ещё больший неуют спального благополучия. Искренность, порой-таки срывающаяся на издевательскую наготу, опрокидывает нажитые представления о романе — и делает воздух письма благоприятно хулиганистым.

Летаргия воспоминаний; на цыпочках уносящиеся мгновения. Мршавко Штапич («Плейлист волонтера» (2020) вспоминает об иссякшем быте поисковика как о другой, оставленной жизни; Алексей Поляринов конструирует неторное *right here, right now* путём слияния и поглощения ветхих мифологем постмодерна, но, как ни старается, раз за разом переводит на русский тех же Пинчона и Гэддиса, Уоллеса и Антrima, мало обнаруживая, в конце концов, самого Полярина («Кадавры» (2024)).

Мне представляется, что контекст стилевой и повествовательной «безыскусности», столь явно утвердившийся в последние годы (тексты Дмитрия Данилова как пример непривычной её манифестации) стал реакцией на невозможность догнать западный канон, на усталость — в том числе — и от этой беготни. Пищающие-читающие обрелись в положении, когда перенимат чужое — гораздо вреднее, чем вспоминать своё; и только благодаря этой, видимо, честности мы вспомнили об абсурдизме за тридцать лет до оного (ОБЭРИУ, «ничевоки») и антиромане за сто миллиардов световых лет до Аллена Роб-Грие и Мишеля Бютора («У» (конец 20-х, начало 30-х) Всеволода Иванова, «Повесть о Сонечке» (1937–1939) Марины Цветаевой, «Странствия и приключения Никодима Старшего» (1917) Алексея Скальдина).

Прямо сейчас мы наблюдаем конвертацию безыскусного в традиционное и — параллельно — возрождение карнавальной чувственности, того, что делали с прозой Константин Вагинов, Артём Весёлый, Леонид Добычин, Андрей Николев etc. Так, кажется, и не случившийся бэби-бум неоавангарда конца девяностых (Василий Кондратьев, Дмитрий Голынко, Олег Юрьев) осуществляется у нас на глазах: как иначе объяснить природу текстов Дмитрия Гаричева, Антона Секисова, Леонида Александровского, Алексея Конакова, Александра Соболева, Артёма Серебрякова?

Их ностальгия оказалась методом проникновения в диспропорции ушедшего времени, высвечивания тех его blind spots, что нуждаются в контексте и не могут без него. Только сейчас мы наладили поставки влияний и смогли определиться с тем, что ещё тридцать лет назад составляло неочевидную, полную загвоздок мысль: есть, значит, культура ностальгического преобразования, но мы не осознаём её величия. Так и происходит — номинативно — с литературой вообще: всеми признанные легенды уходят в никуда быстрее своих фамильяров, что неустанно работают — действуют — во- преки, не благодаря.

Петербургский текст — как следствие карнавала — возродился, наверное, трижды — столь разные голоса выплавила «Поэма без героя» (1940–1962) и лечебно-психиатрическая, сонорная поэтика «второй культуры». Без объединения «Горожане» не было бы Довлатова, Битова; без последнего, думаю, не возникло бы целого легиона интеллектуалов «петербургского фундаментализма» (Павел Крусанов, Сергей Носов, Александр Секацкий etc.); без Елены Шварц мы не прочли бы Аллы Горбуновой, да и весь этот контекст — продержав на себе художественные опыты двадцатых, тридцатых годов, — не одарил бы нас россыпью талантливейших имён.

Наследуя забытым, оборванным традициям письма, новейшая русская проза берёт от них не внимание к эксперименту и формальному новаторству, но — стилевую плотность, укоренённость в детали, радость от слияния с контекстом Золотого и Серебряного веков, вот эту довольно комичную «ностальгию по настоящему». Попытки обнаружить, высказать иное — закончились; теперь мы заняты последовательным «обручением» манер.

Ностальгия по природе своей — материал адаптивный, легко коммерциализирующийся, и трудно вообразить себе ту или иную мифологию отжив-

шего времени, в которой бы не нашлось места для сочувствия. Елизаров и построил свой главный роман на открытости читателя — к недавней памяти, ко всему, что разъединило поколения; к торжественному краху великого, сложного, исключительного по своему размаху проекта — проекта не столько геополитики, сколько онтологии.

Всем рано или поздно должен был явиться новый человек — не ядовито-лубочный *homo soveticus* из сочинений Александра Зиновьева, — но подлинный Гражданин за границами определений, всеядный Данко, что пронесёт над скорбящими огненное сердце, и то, истлев, раскроет двери в Абсолют. Проект разворошили, не подбравшись даже к середине; и наметы, мысли, гипотезы канули в лету, став в одночасье — отчего-то — никому не нужными, а потому столь трогательными и «беззащитными».

III

Каковы два основных взгляда на происходящее.

«Время женщин», и правда целебное для новейшей русской прозы, меняет алгоритмы взгляда, задаёт вопросы, которые прежде не задавались. Схожее — лет двадцать назад — прогремело в литературе Японии: сугубо мужская, как бы стоящая на сваях полюбовного отношения к смерти как к женщине — и зависти к миру, эту смерть приберёгшему, — она вдруг взяла и уступила первенство женскому роду. Хигути Итиё, провозвестница тонких линий, воплотилась в таких именах как Ёко Огава, Хироми Каваками, Саяка Мурата, Банана Ёсимото, Юкико Мотоя, Миэко Каваками. Это — замечу — лишь малая галерея портретов. Видимо, сама действительность ощутила необходимость в смене регистра, заново собранной панораме; и тогда-то женские голоса заиграли по-настоящему.

У нас имеются всплески феноменального — были же (автономно, ни откуда) и Людмила Петрушевская, и Виктория Токарева, и, положим, Нина Садур, — но их прозаическая невесомость казалась номинативно враждебной всему, что создавалось в те годы *официально* и на *мужском наречии*. Теперь же мы располагаем камерным пантеоном, где каждому из феноменов отведена своя терраса и пагода.

Но что до ностальгии?

Предаваться ей всё труднее — ввиду многообразия испытанных техник. Мария Ныркова, написав «Залив терпения» (2023), аккуратно и учиво со-прягла два блуждающих мира — преодоления исторического через семейное (уже вспоминавшаяся здесь Степанова) и осознания себя внутри ре-а-ль-но-го. То есть — внутри ничем не приукрашенного, свободного от красоты технического риска.

В дело снова вступает сексуальность, неэстетическая её ипостась, и ясные на первый взгляд объекты письма наделяются чуть менее ясной глубиной. Поездка по местам — классический травелог — разбивается на эссе, любовное письмо, интимный дневник (здравствуй, Сей-Сёнафон), исторический экскурс, байку, мем, нескончаемый полночный думскроллинг, — и крохотный, без шуток, роман становится серией текстов, укомплектованных в единое полотно.

Вот, пожалуй, довольно плодотворный извод ностальгии текущего времени. Хотя бы потому, что уже непозволительно — странно, должно, — писать, увидев забытый в книге цветок, «на память нежного свиданья, или разлуки роковой». Новейшая проза вынуждена слепить, как лучом прожектора, прямотой, незатёртостью чувств, плотским раздрам и всем, что попадается под руку.

Близко к этому принципу штурмует реальность Анна Иванова. Её повесть «Краснодарская прописка» (2023) старается как можно дальше уйти от синтаксической, идеальной, ситуационной нормы — и вволю наглотаться Шабаша. Очень прямой, тусклый в методе, бесструктурный и характерный

для новейшей «ностальгии» текст: предаёшься хандре о самом мелочном и попутно куёшь афоризмы, пускаешь ноздрями горячий пар, несёшься сломя голову; а куда — не особо важно.

Чувство новизны достигается нехитрым синтезом — комплектованием — грязи, порнографии, диадектики и хулиганства, такого, знаете, возвышенного эдвардианского инфантилизма. Иванова пишет не-биографию, не- очерк, не-литературу и тем самым, однако, лишь ближе подводит себя к обязательствам авангардной этики; выдумать прелестное в безобразном и заявить — как на духу! — «а в землянке Людоед: — заходи-ка на обед».

Острота проблематики стирается, едва авторы сами выступают героями-резонёрами взамен бумажных человечков. Сбежавшие из-под карандаша, они радуются тому, что больше не надо трудиться, ковать драматургию, рвать, плавить струны, развешивать чеховские ружья и готовиться к обязательной перестрелке; что теперь можно попросту сказать: мне холодно! — и все увидят в этом не минусовую температуру и вину отопления, но Данте, отдельный круг ада и тысячу один парафраз.

Путешествие в обратно я бы запретил, хочется сказать, отмахиваясь от назойливой безыскусности. Не каждый опыт и не каждое противоречие однаково душеспасительно; порою мы калечим память для того, чтобы выбить из неё — как из должника — энную метафору, криклившую запятую, симпатический знак препирания. Вот оно, контрастное отличие нынешней ситуации от ситуации десятилетней давности — ностальгия теперь чересчур своя.

Писателям старшего поколения — той же Наринэ Абгарян — фабульное опрошение вредит, а не помогает. «С неба упали три яблока» (2015) хороший роман, но не потому, что в нём, как на распродажу, вывалены все умерщвлённые — и ещё подрагивающие на ветру, скрипящие — внутренние демоны, но потому, что это новое Макондо, большая мифология и крепко сбитая история. В ней вовремя расставлены точки.

Подчеркну: «новая искренность» женской ностальгии сознательно желаёт пересборки метода, оглашения задорной сюжетной нормы — и, между прочим, предлагает свою героиню, свои идеи: так, дебютная книга рассказов Анны Шипиловой «Скоро Москва» (2024) напоминает экспериментальные концепции социалиста Золя, стремившегося каждым своим романом изучить — в духе анатомического театра — тот или иной общественный класс; правда, у Шипиловой вместо социальной критики — любовь и нежность по отношению к близким ей характерам, выписывание некоего символического ряда, в котором типажи и голоса сливаются в сплошное — лишённое контекстуальных различий — отчаяние.

С мужскими голосами всё обстоит иначе.

Медовая ностальгия Елизарову удалась меньше, чем звонкий, торопливый и харизматичный боевик из жизни задротов-сектантов. Ровно потому, что искренность, сопряжённая с желанием удивить, поведать, заинтриговать, никогда не потеряет в цене. «Земля» без конца и без края, без конца и без края мечта — о принципиально новом слове в литературе. В ней чувствуется поза, неприкрытое бахвальство: смотри, как я выкрутил ритм, смотри, какое я подобрал сравнение!

Упивались «даром» и Юрий Олеша, и Владимир Набоков, и кто только не, однако упоение их было самодостаточно — как часть метода, как непрекаемая основа всяческого размышления. Елизаров же о другом. Романистика идей ему закономерно противна; чистокровно удаётся писать лишь о личной — коллективной — уязвимости перед лицом перемен. Благодаря ей удалось «Библиотекарь»; благодаря ей удались «Мультики» (2010). Да и некоторые песни, чего скрывать: «небо-небо, синее, как глобус...».

Отдельным пунктом укажу ностальгическую угрозу (страх её), сполна отразившуюся — неравномерно и прихотливо — в самых разных эссеизмах. «Ким Ки Дук (Приехал в город)» Леонида Александровского (2022), «Духи для роботов и манекенов» (2023) Александра Чанцева, «Сад, где живут кен-

тавры» (2024) Андрея Гелианова — вынесенная за скобки печаль сердца, нежелаемая и последовательно, с кропотливостью учёного, изничтожаемая. Работы крайнего жанра, доступные любому проявлению и любой трактовке: музыка ассоциаций, оратории конструктивизма.

«И ангел, западая на крыло-костыль, дыша ампутированным воздухом, но светясь светом, добротой и объятиями, говорит: живи! В этом нет смысла, поэтому живи!»⁵

Ностальгия пробралась в суть письма, письмо не мыслит без неё траектории; именно поэтому Александр Гольдштейн писал «опыты поминальной риторики», а не литературно-критические очерки. Мы поминаем сказанное, говоря поверх; мёртвые слова множатся, плодят фальшивки и пригревают ложное, гладкое, раболепное. Всё, что умело пронзает читательский взгляд — смерть близкого, одушевление грозы, распад атома, — тут же умерщвляется ничтожностью формального выбора.

Говоря иначе, высшей сложностью теперь было бы писать конкретно, увлекательно и без оглядки, не признавая ностальгию маленькой хозяйкой большого дома. Проза новейших лет, при всей её цельности, как-то боязливо плялится на дверной глазок: а что, если звякнут и потребуют смысла? Сидишь, обложившись вещами, в коридоре формы, прямо на чемодане — и чешешь сухие ладони. Сколько же это лет прошло, а я всё сижу и пялюсь?

Кажется, нечто подобное и высмеял, доведя до абсурда, Эдуард Веркин в «снарке снарке»: отказ от фабулы и вымысла обнажает в нас пустоты, удобные к заполнению. Чем, спросите? Всё той же неуместной — подменившей и сознание, и смех, и совесть, — ностальгией.

Схожий кризис — недавно — преодолела культура отечественных стриминг-платформ. Наловчившись принимать ностальгию смешными порциями, не растягивая её на дыбе, а лишь отталкиваясь — так, для прыжка, — повсеместные шоураннеры принялись взяточно рассказывать о наших с вами неврозах, обходя, собственно, мерцающие тут-там ловушки. «Слово пацина» (2023), «Лада Голд» (2023), «Дети перемен» (2024), «Лихие» (2024) топчутся на сюжетном пунктире «Бригады» (2002), но говорят о настоящем — актуальным языком, языком коммерческой мифологии.

В том и причина многообещающе-отчаянного положения дел новейшей русской прозы: она борется с хаосом ещё большей невнятницей и боится структурировать погоду в доме, стеснённая фантазмами любви и призраками достатка. «Замечательное десятилетие» девяностых оформило уже забронзовевших классиков, те — призвали на смену мальчишеский бунт «Дебюта», а «Дебют», в свою очередь, растворился в спокойной индустриальной работе. Вот этой мифологизации рутины и не хватает — путём шаблона, чертежа, трафарета.

Потёртое седло жанра скрипит, но мы по-прежнему остаёмся перед историей, а не её деталями. Вслед за Львом Лунцем приходится повторять — озвучивать — неминуемое: «мы владеем всем, кроме фабулы». Только она и может спасти от блуждания впопыхах, от повторов, от сизифового декадентства, которое нам давно не к лицу. Рассеянное сейчас не склоняет к пониманию драматургии, но склоняет к пониманию её истоков. Слишком долго ностальгия диктовала условия труда; пора бы взять на вооружение обрыдлую скуку будней, мимолётное наблюдение в горсаду; чтобы написать время, которое ни разу не собьётся, и место, которое ни разу не забудется.

⁵ Александр Чанцев. Духи для роботов и манекенов. М.; СПб, «Пальмира», 2023. — стр. 176.

Павел Глушаков

Литературные отражения

Из записей и выписок

Заметки и выписки, собранные в этой публикации, объединены по принципу текстового диалога, реального или потенциального. Иными словами, автор одного текста вполне мог иметь в виду текст другого автора, включаясь в своеобразную литературную игру. Но даже если этого интертекстуального пиршества и не было и мы не присутствуем на пресловутом собеседовании на пиру (тютчевское: «*Его призвали Всеблагие, Как собеседника на пир*»), то и случайные схождения говорят о многом. В этом втором случае перед нами что-то похожее на отражение в зеркале: отражающиеся могут и не знать о существовании друг друга и самого зеркала, но от этого их отражения не становятся менее реальными, существенными, существующими.

Публикуемые материалы составляют некоторый продолжающийся цикл (см., например, последние по времени статьи: «Эпизоды: десять этюдов в пространстве классики» // *Знамя*. 2024, № 8; «Жанровая память и мотивный след: Из историко-литературных заметок» // *Новый мир*. 2025, № 4).

Семен Кирсанов:

С утра,
ища громаду ту,
я в поезд строчек
впрягся,
я жду
у всех комендатур
и знаю:
выищу,
дойду,
добьюсь,
увижу Маркса.

Кто пропуск даст?
Кто надорвет?
Кто впустит
без опаски?

Павел Глушаков (1976) — родился в Риге. Выпускник Латвийского университета, доктор филологических наук. Автор книг по истории русской литературы: «Шукшин и другие», «Мотив — структура — сюжет». Постоянный автор «Нового мира», «Нового литературного обозрения», «Знамени».

Дежурь
у Троицких ворот,
у ГПУ,
у Спасских!

Дежурь,
хотя б и ночь, и дождь,
жди,
у Кремля серея!
Но помни:
Маркса не найдешь
в картинных галереях!¹

«Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня; будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете прийти» (Ин. 13:33).

Александр Твардовский, «Василий Теркин»:

Пусть читатель вероятный
Скажет с книжкою в руке:
— Вот стихи, а все понятно,
Все на русском языке... <...>

С мыслью, может, дерзновенной
Посвятить любимый труд
Павшим памяти священной,
Всем друзьям поры военной,
Всем сердцам, чей дорог суд.

Александр Пушкин, «Что в имени тебе моем...»:

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке. <...>
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...

Иосиф Бродский:

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.

¹ Так в тексте: Кирсанов С. Товарищ Маркс. М.: ГИХЛ, 1933. С. 8.

Между тем ревнители поэтической точности могли бы заметить, что, собственно, на остров можно приплыть, а не прийти. Однако это «пешее движение» в «петербургско-ленинградском» тексте было уже традиционным. В 1952-м, пребывая в казахстанской ссылке, Елена Тагер писала:

Все равно умру в Ленинграде
И в предсмертном моем бреду
К Воронихинской колоннаде
И к Исаакию прибреду².

* * *

Роберт Рождественский «210 шагов» (1978):

<...>
двести десять шагов...
(Это я потом
шаги подсчитал.
А тогда в ночи
стоял — оглушен.
А тогда в ночи
я ответа
ждал.
И остаток века
над миром
шел...
Это я потом
шаги подсчитал.
Приходил сюда
наяву и во сне.
Будто что-то
заранее
загадал,
что-то самое
необходимое мне...
Я глядел в глубину
будто в темное море
огромной стены,
без берегов.
Веря в то,
что соединиться должны
время жизни моей
и время
шагов!..)
Грохот сердца.
И высохших губ немота
Двести десять шагов
до знакомых дверей,
до того —
опаленного славой —
поста
молчаливого входа
в его Мавзолей...

² День поэзии: 1965. Л.: Сов. писатель, 1965. С. 298.

Федор Достоевский, «Преступление и наказание»: «Идти ему было немногого; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. <...> с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее.

С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одною стеной на канаву, а другою в -ю улицу. <...> Лестница была темная и узкая, «черная», но он все уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и любопытный взгляд был неопасен. <...> ...по этой лестнице и на этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая. <...> Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку: жилица оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки».

А. Пушкин (1829):

Зорю бьют... из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах начатый стих
Недочитанный затих —
Дух далече улетает. <...>

А. Апухтин (1873):

Валится книга из рук, разговор упадает, бледнея...
Эх, кабы вечер придинулся! Эх, кабы ночь поскорее!

С. Маршак (1958):

Сон приходит втихомолку,
Пробирается сквозь щелку. <...>
Книга выпала из рук.

Когда в 1950 году поэт-песенник А. Пришелец сочинил слова известной песенки

То берёзка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый,
Где найдёшь ещё такой?!

он, вполне вероятно, соединил в своем тексте два других произведения — М. Цветаевой и К. Симонова:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё — равно, и всё — едино.
Но если по дороге — куст
Встаёт, особенно — рябина... («Тоска по родине! Давно...»)

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодаТЬ,
Идти на смерть... Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать. («Родина»)

Лермонтов и Некрасов:

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей все, что в пустыне далкой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем,
Прекрасная пальма растет. («На севере диком...»)

В сверкающий иней одета,
Стоит, холдеет она,
И снится ей жаркое лето —
Не вся еще рожь свезена... («Мороз Красный нос»)

Есть в некоторых классических стихах одна особенность, делающая великие поэтические тексты несколько уязвимыми при устном произнесении. К примеру, «Смерть поэта» Лермонтова:

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный моловой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

Это «с свинцом» (повторенное еще в «Сне»: В полдневный жар в долине Дагестана / С свинцом в груди лежал недвижим я...) дает искажение «с винцом», невольно ерническое, даже еретическое.

Или в прекрасной «Некрасивой девочке» Заболоцкого возникает неминуемое оглушение в слове «сосуд», от которого чтец может избавиться лишь «форсированным» и малоестественным произнесением звонкого [д]:

Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Тут, по-видимому, сама ткань произведений сопротивляется устному произнесению, подчеркивая какую-то интимность (даже в случае со «Смертью поэта»!), «устность» («буквализм», в том смысле, что при чтении буква «д» становится знаком, не оглушается) фонетической структуры этих текстов.

Три доктора и трамвай:

«Доктор Фаустус» (1947):

«...На остановке Терезианштрассе я решил сесть в один из трамваев, идущих в Швабинг. <...> Мы как раз проехали университет... когда случилось нечто невероятное, совершенно неожиданное и потому непостижимое. В вагоне раздались выстрелы, короткие, острые, дробные вспышки, три, четыре, пять, с дикой одуряющей быстротой следовавшие одна за другой, и Швердтфегер напротив меня, скимая обеими руками футляр со

скрипкой, повалился сначала на плечо, а потом на колени какой-то дамы справа от него, которая так же, как и его соседка слева, в ужасе от него отпрянула...<...> ...она уронила или, вернее, отбросила револьвер в ту сторону, где лежала ее жертва».

«Доктор Живаго» (1957):

«Однажды утром в конце августа Юрий Андреевич с остановки на углу Газетного сел в вагон трамвая, шедший вверх по Никитской, от университета к Кудринской. <...> В это жаркое утро в набитом битком трамвае было тесно и душно. <...>

Сверкнула молния, раскатился гром. <...>

Доктор почувствовал приступ обессиливающей дурноты. <...>

Он стал протискиваться через толпу на задней площадке, вызывая новую ругань, пинки и озлобление. Не обращая внимания на окрики, он прорвался сквозь толчью, ступил со ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и больше не вставал».

Доктор Айболит (1929):

И прибежала зайчиха,
И закричала: «Ай, ай!
Мой зайчик попал под трамвай!
Мой зайчик, мой мальчик
Попал под трамвай!
Он бежал по дорожке,
И ему перерезало ножки...

В.А. Жуковский:

<А. С. Пушкин>

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
Что выражалось на нем, — в жизни такого
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
Пламень на нем; не сиял острый ум;
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
Было объято оно: мнился мне, что ему
В этот миг предстояло как будто какое виденье,
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь?

Н.В. Гоголь, «Вий»:

«Медленно поверотил он голову, чтобы взглянуть на умершую и...

Трепет пробежал по его жилам: пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело, прекрасное, нежное, как снег, как серебро,казалось, мыслило; брови — ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; уста — рубины, готовые усмех-

нуться... Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закрутившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее».

У Н.А. Некрасова в «Несжатой полосе» есть хрестоматийный образ покинутости, запустения:

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,

Только не сжата полоска одна...
Грустную думу наводит она.

Но уже у Пушкина в «Полтаве» встречаем близкую по функциональности деталь — дверь покинутого дома:

Иль этот запустелый двор,
И дом, и сад уединенный,
И в поле отпертая дверь...

Финал эйзенштейновского «Ивана Грозного»:

«Горят леса.
Движутся русские. <...>
Очертя голову
Бежит по болотам Курбский...
Провалился в топь... <...>
Вдали узкая полоска
Балтийского моря. <...>
И, завороженный, сходит к волнам царь Иван.
И смиряется море. <...>
«На морях стоим
И стоять будем!»
Несется с экрана.
О кончанье фильма»³.

«Медный всадник» Пушкина:

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. <...>
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел. <...>

³ Эйзенштейн С.М. Избр. произведения: В 6 т. Т. 6. М.: Искусство, 1971. С. 417–420.

...и юный град <...>
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво. <...>
И думал он: <...>
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.

«Бесприданница» А.Н. Островского и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина:

К а р а н д ы ш е в . Так не доставайся ж ты никому! (*Стреляет в нее из пистолета.*)

И, пред мертвою сестрой
Сотворив поклон земной,
Старший молвил: «Спи во гробе;
Вдруг погасла, жертвой злобе,
На земле твоя краса;
Дух твой примут небеса.
Нами ты была любима
И для милого хранима —
Не досталась никому,
Только гробу одному».

Эпиграмма С. Маршака, в которой использовано имя, отчество и фамилия одного из советских «культурных руководителей», завершалась так:

<...>
И даже не Хрущев в нем отражен,
А Дмитрий Алексеич Поликарпов⁴.

Сама форма последней строки как бы предвосхищает явление другого деятеля — Дмитрия Александровича Пригова.

Своим восклицанием «...слушайте музыку Революции!» Александр Блок как бы задал ритмический образец последующим не менее известным призывам (воплотившимся в массовые плакаты, ставшим социальными и даже рекламными лозунгами): «Мойте руки перед едой!», «Уходя, гасите свет!», «Летайте самолетами Аэрофлота!» и др.

А. Гребнев, работавший вместе с Ю. Райzmanом и Е. Габриловичем над сценарием фильма «Странная женщина» (1977), признавался: «...сказать по

⁴ Цит. по: Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева. — М.: Книжная палата, 1991. С. 233.

правде, никогда не нравился фильм...<...> Такая вот “Анна Каренина” на советский лад, и тоже с рассуждениями, но без поезда в финале⁵.

Между тем сказанное заставляет усомниться в том, смотрел ли Гребнев фильм по собственному сценарию: дело в том, что картина заканчивается эпизодом, в котором главная героиня и ее молодой возлюбленный (в разных вагонах) устремляются на поезде в открытый финал...

В стихотворении С. Маршака «Все то, чего коснется человек...» (1945) использован, кажется, ахматовский структурный прием — благоговейное неназывание имени заветного героя. И герои выбраны «сакральные»: Пушкин и Ленин:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

Ср.:

<...>
Давно стихами говорит Нева.
Страницей Гоголя ложится Невский.
Весь Летний сад — Онегина глава.
О Блоке вспоминают Острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский.

Сегодня старый маленький вокзал,
Откуда путь идет к финляндским скалам,
Мне молчаливо повесть рассказал
О том, кто речь держал перед вокзалом. <...>⁶

В кинофильме «Трактористы» (1939) прозвучала такая песня на слова Б. Ласкина:

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной обнят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.

Этот «суровый край» мог быть чем-то близок пушкинской пустыне:

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

⁵ Гребнев А. Записки последнего сценариста. М.: Алгоритм, 2000. С. 115.

⁶ Маршак С. Сочинения: В 4 т. Т. 2. М.: ГИХЛ, 1958. С. 51–52.

В цикле «Памяти матери» (1965) А.Т. Твардовского неожиданно⁷ возникает цветаевский и ахматовский мотив, сближающий совершенно не похожих поэтов:

Как не спеша садовники орудуют <...>

Как будто птицам корм из рук,
Крошат его для яблони. <...>

Но как могильщики — рывком —
Давай, давай без передышки, —
Едва свалился первый ком,
И вот уже не слышно крышки.

Они минутой дорожат,
У них иной, пожарный навык:
Как будто откопать спешат,
А не закапывают навек. <...>

М. Цветаева, «Вчера еще в глаза глядел...» (1920):

Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.
Само — что дерево трясти! —
В срок яблоко спадает спелое...
— За всё, за всё меня прости,
Мой милый, — что тебе я сделала!

А. Ахматова, «Когда погребают эпоху...» (1940):

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит.
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают, дело не ждет. <...>

⁷ См. восклицание исследователя творчества поэта: «Какой скачкообразный переход! От садовников — к могильщикам» (Македонов А. Творческий путь Твардовского. М.: Художественная литература, 1981. С. 331).

ТОЛСТЯКИ НА УРАЛЕ: ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛКА

ПРИЗРАК ВО ПЛОТИ

Геннадий Воронин. В шкафу: Повесть. — «Знамя», 2024, № 12.

Геннадий Воронин — молодой в плане литературного стажа автор, выпускник Creative Writing School, мастерской Ольги Славниковой. На начало 2025 года список его публикаций в толстых литературных журналах исчерпывался рассказом «Стекла» в «Юности» и повестью «В шкафу» в «Знамени».

Повесть «В шкафу» обладает одним несомненным достоинством: она написана так, что, несмотря на ёмкость заложенных в неё проблем, прочитывается на одном дыхании. Обычно мы так говорим о литературе развлекательной, жанровой. «В шкафу» равно далека и от развлекательности, и от жанра, невзирая на элементы милицейского детектива в фабуле. При этом она читается легко и усваивается быстро. Наставник Воронина Ольга Славникова во вступительном слове к журнальной публикации еще облегчила читателю понимание: «...Мне в его рассказах и повестях нравится внезапный финальный поворот, когда все описанное прежде предстает в новом свете, так что хочется перечитать текст заново». За этим авансом следует «толстый спойлер»: «Повесть «В шкафу» — про слепую материнскую любовь, когда взрослый сын-негодяй буквально заменяется призраком».

Сюжет повести достаточно простой. Любящая мать Валентина Ивановна всю жизнь положила на сыночка Антона, даже с мужем развелась, когда тот стал слишком явственно ревновать жену к отприску-дошкольнику. Спешу успокоить: речь не об эдиповом комплексе и не о сексуаль-

ных экспериментах. В повести достаточно девиаций, но все они завязаны не на интимной жизни. Отец ушел из семьи потому, что еще совсем мелкий сын отбирал у него любимую чашку, удобное место за кухонным столом и даже половину супружеской постели — привык спать около мамы, раскидываясь на весь остаток койки, не думая о папаше. Потому после развода женщина ощутила лишь освобождение: «Ничего, сынок, когда-нибудь ты поймешь. Не грусти, что мы остались вдвоем и нет больше папы. Справимся. Вместе с ноющей болью Валентина Ивановна чувствовала облегчение — им с Антошой наконец станет спокойнее, проще». А затем ожидаемо (но не для мамаши) что-то пошло не так: «Развод, а после — десять счастливых лет, полных нежности, терпения, самоотверженной любви. Как можно было ожидать, что Антоша сперва перестанет ее замечать, а потом решит бросить институт ради службы в армии?» Именно на этой стадии, когда «ангелок с золотистыми завитками мягких детских кудрей» предстает как «двадцатилетний матерщинник, обретший по-армейски и считающий родную мать абсолютно пустым местом», и завязывается сюжет недлинного, но насыщенного событиями и эмоциями повествования. Здесь важно не только основное событие повести, но и то, как расставлены акценты на пути к нему.

Женщина приходит в церковь, толком не зная зачем, получает замечание от служки (прямо в храме у нее зазвонил телефон) и исповедуется молодому вдумчивому священнику. Тот советует поговорить с сыном, признаться ему в своей истовой материнской любви. Да вот беда — как раз по телефону сын затребовал денежного доказательства любви, срочно и на карту. Но Валентина Ивановна верит, что это временный морок, который можно снять вкусным обедом, задушевной беседой... Однако сына дома нет, а вместо него на пирожки приходит милицейский майор, объясняющий: в их подъезде злодейски убит и ограблен пенсионер. И все оставшееся до точки время, а это не более двух тревожных дней, матери кажется, что в шкафу в спальню кто-то есть. И она готова костью лечь, только бы не выдать

затаившуюся в шифоньере кровиночку!.. Но при этом ничтоже сумняшеся сдает Антона полиции. Правда, думает, что сдала не его, а несимпатичного приятеля Олежона... Как это происходит, не суть. Но когда полицейские увозят Антона-не Антона, из шкафа появляется умильное существо:

«Счастье-то какое, даже не попытался вырваться. Показалось, сын осунулся и почему-то выглядит моложе.

— Ну, что ты стоишь, я тебе борща налила и котлет нажарила!

Антоша смотрит матери в глаза, улыбается нежно, а сам весь как нарисованный.

— Ничего себе, мам, ты как знала».

Этот похорошивший златокудрый ангелок говорит и делает все, как хочется Валентине Ивановне: с аппетитом наворачивает ее котлеты, обещает восстановиться в институте, на ночь же исчезает в своем убежище и нежно прощается: «Мама, до завтра». Умиrottворение Валентины — кульминация повести.

Можно трактовать историю матери и сына через известные приемы литературы ужасов: к ней относятся и явления призраков, и «чужие», прикидывающиеся «своими». Тем более что автор как будто намекает на такую версию говорящей фамилией главной героини: Примакова. Конечно же, это указание не на звездное родство женщины. Напротив, повесть вовсе не о богатых и знаменитых. Фамилия свидетельствует о том, что женщина способна «примять» чужака и растить как родного, не догадываясь о его чужеродности. Антон становится при таком раскладе кем-то вроде злобного пришельца в культовом фильме Ридли Скотта. Но это не единственная возможность прочтения.

Повесть также похожа на остросоциальное высказывание против усиленно прививаемого обществу тренда семейных ценностей. Автор показывает изнанку «крепкой семьи», «материнской любви» и других священных и потому словно бы не осмысливаемых понятий; демонстрирует, что никакой социальный институт сам по себе не панацея, не спасение от индивидуальной порочности человека. Тоже неплохое объяснение.

Но мне видится в сюжете «В шкафу» сатирическое пародирование ме-

тодов мотивационной психотерапии с ее конструированием желанной и позитивной реальности. Все возможные гуру буквально заставляют людей воображать себя в условиях, разительно отличающихся от их непрятательного бытия, чтобы построить таковые в действительности. Уже всем известны скандалы, произошедшие вокруг «марафонов желаний». Воронин не проводит такие параллели впрямую. Он тонко прописывает, как мать вообразила себе идеальное чадо на месте реального охломона — а от подлинного отпрыска избавилась, ибо он не укладывался в ее славные представления. Мне нравится такое прочтение (возможно, потому, что не нравятся мотивационные терапевты с их манипуляциями).

Кроме того, у повести есть несколько чисто литературных достоинств, усиливающих впечатление от актуальной идеи. 32-летний автор работает руководителем проектов по развитию бизнеса в Яндексе. Казалось бы, от писателя с таким жизненным опытом следует ожидать произведения об «офисном планктоне» или гламурных слоях общества. Но Воронин убедительно описал будни и быт заурядных москвичей, проникнув в психологию и слепо любящей матери, и балованного сына, из которого вырастает преступник, — и за внимание к таким «маленьkim людям» ему респект. Может быть, в выборе именно таких персонажей есть элемент социального предубеждения: только лицо незавидного общественного положения способно убить из-за тридцати тысяч. Такая же заданность чувствуется в описании полиции и ее сотрудников — они все какие-то бездушные, механистичные, антипатичные. На этом фоне бросается в глаза, насколько смачно даны сцены приготовления еды и приема пищи — с женской дотошностью и с мужским удовольствием от вкусной еды. Пироги с вишней Валентины Ивановны и борщ с айсбергом сметаны усиливают достоверность описываемого мира. Материнские хлопоты вокруг кормежки придают той половине повести, где обретается Валентина Ивановна, материальности, тяжеловесности. Недаром ведь Антон, уже став фантомом, ужинает, хотя призраки в

питании не нуждаются. «Плотский» призрак — интересная находка. Видимо, это указание на то, что души в Антоне нет. Если вдуматься, ее нет ни в одном действующем лице повести.

Отмечу, что рассказ «Стекла», дебютная публикация Воронина, проще и брутальнее, чем повесть «В шкафу». Там университетский преподаватель насищает студентку: ему поставлен смертельный диагноз, и он решает «оторваться напоследок». Разумеется, диагноз оказывается ошибкой. Но отвечать за содеянное приходится всерьез, и героя карает не только социум, но и метафизика. Между двумя текстами Воронина очевидны переклички: преступление как двигатель сюжета, вопросы воли и нравственно-го выбора, мистический подтекст, легкий в рассказе и крепущий в повести. Думается, что это не совпадение, а основные черты и принципы воронинской прозы. Конечно, хотелось бы увидеть их в динамике. Ольга Славникова в предисловии отметила, что с нетерпением ждет выхода первого романа Геннадия Воронина. Соглашусь с наставницей — мне тоже любопытно посмотреть, как автор сработает в крупной форме.

Елена САФРОНОВА

УХОДИМ ПОД ЗЕМЛЮ

Игорь Воеводин. Раскопки: Рассказ. — «Дружба народов», 2025, № 1.

Рассказ (а по сути небольшая повесть) начинается с того, что двое друзей, два московских интеллектуала — одного зовут Андрей Владимирович, а второго — как автора рассказа, Игорь Александрович — приезжают в заброшенное село Астафьево где-то в Тверской области. Приезжают на «копательскую охоту» — бродить по лесам и оставленным домам с профессиональным миноискателем Garret Pro, искать забытые артефакты. Вскоре они окажутся не одни: на пяти машинах приедут отставные военные, потом появятся инспекторы лесоохраны. А после и вовсе нахлынут тени давно умерших людей, когда-то живших в этих местах или до сих пор

обитающих в памяти главных героев. «Раскопки» начинаются как история обычной поездки столичных ребят в недалекую, но почти необитаемую местность, но постепенно повествование выстраивается в историю об обретении памяти, о сложных взаимоотношениях двух миров — мертвых и живых. О механизмах памяти, устройство которых нам непонятно.

«В некоторых местах лучше не бывать», — говорит один из героев «Раскопок». И это не только про заброшенный поселок. Это и про воспоминания главного героя, который в далком поселке постоянно обращается к образу своего покойного отца: «Когда умер отец, Александрович-старший, я отказался верить в его смерть. Приехали из военкомата, отец был военный музыкант, привезли гранитный памятник, а на нём фото отца и ракета, улетающая в космос с реверсивным следом. А я говорю им: «Уносите памятник, мой отец жив, вы ошиблись адресом», — и закрыл дверь. Только сейчас, двадцать лет спустя, я признал, что отца больше нет со мной».

Другие участники истории вспоминают свои соответствующие истории. «— Моя бабушка, когда получила похоронку, тоже так говорила. Это — не он. Однофамилец. Война закончится, и вернётся, — произносит толстый охотник.

— Вернулся? — спрашивает охотник в тельняшке.

— Нет. Но первые годы приходил ночью к бабушке и звал за собой в лес. Очень она мужа любила своего. Она откроет глаза, а он стоит на пороге, весь белый. Она подойдёт, чтобы обнять, а он во двор, потом в лес. Утром искали её в лесу. Стали дверь на ночь запирать, чтобы не ушла, — завершает рассказ толстый охотник».

Игорь Воеводин сделал главным героем рассказа себя — успешного издателя, человека, в общем непростого (о котором его друг говорит: «страшный человек, только собак боится»). Понятно, что это такой авторский прием — построить повествование на каких-то личных мотивах, переживаниях, фактах личной биографии. Впрочем, нельзя утверждать, где здесь личные истории, а где — сюжеты, порожденные авторским воображением. Но покойники, тени забытых людей

занимают довольно много места в повествовании. И мне кажется, что это неслучайно. Более того — «Раскопки» Игоря Воеводина касаются одной важной, на мой взгляд, тенденции, которая только формируется в отечественной прозе, когда в реалистичных произведениях в повседневность героев все более властно и уверенно вторгается мир покойников. Понятно, что тому есть причины. Вокруг нас в последние годы все больше сообщений о гибели, преждевременной смерти мужчин — чаще всего молодых, здоровых, сильных. Реалии СВО пока только-только начинают получать осмысление в современной прозе. Речь не о воспоминаниях штурмовиков вроде книг Даниила Туленкова, не о новой военной прозе, а именно о прозе городской, обычной, прежде не касавшейся этой темы.

Кстати, Игорь Воеводин лет пять назад курировал издание прозаической серии, которая так и называлась — «Городская проза». И в этой серии выходил роман Семена Лопато с приметным названием «Мертвые видят день». Эта книга, к сожалению, не получила признания, ее почти не заметили, но я роман Лопато запомнил и сразу же вспомнил его, когда читал «Раскопки». Там такой сюжет: сентябрь 1942 года, советская подводная лодка выходит в атаку на немецкий корабль. Но потом гаснет свет, главные герои теряют сознание, а приходят в себя где-то на песчаной косе в незнакомой местности, и рядом — в полном составе экипаж немецкого эсминца, который они атаковали. Все они мертвые. Бывшие враги, попав в загробный мир, больше не испытывают ненависти друг к другу, им важно добраться до некоего дворца, где лучшие из лучших получат высшую награду — снова стать смертными и вернуться к своему ратному труду. У нас много писали о войне, но такого взгляда, как в книге Семена Лопато, я еще не встречал.

В романе Дмитрия Филиппова «Собиратели тишины», получившем недавно главную награду новой литературной премии «Слово», есть целая глава, посвященная работе поисковиков — отрядов волонтеров, которые проводят раскопки на местах былых боев. И сюжеты о том, как местные

чиновники курируют эти раскопки, перемежаются с эпизодами, описывающими реальные бои и реальных красноармейцев 1941 года, включая тексты боевых донесений и неотправленных писем. Эта тема занимает почти половину романа «Собиратели тишины». Вторая часть посвящена описанию участия главного героя в кровавых боях за Авдеевку, уже в качестве фронтового сапера. Но здесь, в «Собирателях тишины», связь между погибшими под Ленинградом в 41-м и под Авдеевкой восемь десятилетий спустя заявлена четко, обусловлена самим сюжетом. «Родионов присмотрелся внимательнее — действительно, вся земля в районе высоты была подпачкана какой-то чёрной плёнкой. Похожие следы он видел во время службы в Чечне, когда нефть простирали на поверхности в районе месторождений.

— Что это? — спросил Родионов.

— Органика. Перегнившая. На этом месте под землёй находились предметы органического происхождения. Скорее всего, человеческие останки».

И здесь раскопки, и в рассказе Игоря Воеводина — тоже раскопки, хотя там главные герои ищут не незахороненных бойцов (впрочем, военные артефакты возникают и в этом рассказе), но так или иначе соприкасаются с мирами мертвых.

Ведь все эти тексты — и «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова, и «Мертвые видят день» Семена Лопато, и «Раскопки» Игоря Воеводина — не просто так обращаются к теме мертвых (павших, погибших, не упокоенных, бродящих где-то в загробных мирах) людей. Тут совершенно нет смысла говорить о каких-то мистических, зыбких, потусторонних связях с «тем светом». В этих текстах видится мне интересная литературная тенденция.

Ведь все эти тексты так или иначе затрагивают тему сложных, неуловимых, порой очень зыбких отношений нас, нынешних, с теми, кого больше нет. С родителями. С бывшими жителями заброшенной деревни. С павшими героями. Возможно, сегодня мы присутствуем при рождении новой литературной традиции — возвращении памяти через непосредственное столкновение в обычной жизни с артефак-

тами, которые становятся символом такого же неосознанного до сих пор прошлого.

А может, появится и новый герой — и даже целая плеяда героев. Людей, для которых память — это не просто личные воспоминания, но и тяжелый труд. Труд установления имен неизвестных героев, придания нового импульса поисковому движению (сколько непогребенных сегодня в полях Донбасса?). Наше настоящее когда-нибудь станет прошлым для наших детей и внуков.

Вот на такие мысли навел меня рассказ Игоря Воеводина.

Владислав ТОЛСТОВ

ПРОСТЫЕ, СТРАШНЫЕ СЛОВА

Лидия Слонимская. Блокада. — «Звезда», 2024, № 8, 9, 10, 11.

Документальный эффект — один из самых сильных и в то же время страшных литературных приёмов. Сильных — потому что не забываеться. Страшных — по той же причине.

Талантливый прозаик может писать так, что его текстам веришь — как раз за счёт документального эффекта. Можно очароваться, можно испугаться — но всё равно в глубине души понимаешь, что читаешь прозу, где правда помножена на вымысел — и где истину вернее искать в смысле произведения, а не в его художественных особенностях и деталях. Совсем другое дело, когда берёшь в руки дневники — тем более написанные человеком, пережившим блокаду Ленинграда. Потому что их автор видел смерть, познал её — и, в отличие от многих, кто с ней столкнулся, сумел сберечь себя и написать о ней. Так, как не напишет об этом прозаик, не имевший такого страшного, изламывающего душу и психику опыта.

«Мы жили тогда в осаждаемой близости со смертью, она шла рядом, ощущалась под локтем, была почти зрина. В эти страшные месяцы я научилась относиться к ней как к существу — злобному, гнусному и коварному, с которым надо вступать в рукопаш-

ную. Это отношение сохранилось у меня и сейчас. Если мне тогда удалось спасти мальчика, то потому, что я, сколько возможно, не спускала с него глаз, чтобы не пропустить момента, когда она к нему подкрадется. Ведь она — смерть — бездетная, матери надо бороться, чтоб она не отняла у нее ее дитя. В те страшные месяцы мы заглянули в области, куда людям не положено смотреть, со смертью стали запанибрата, неведомое стало до невероятности простым. Я ждала за это наказания, хотя и не по своей воле увидела недозволенное. Видел и так же чувствовал это недозволенное и мой мальчик. Мы оба наказаны — смерть свое взяла».

Книга воспоминаний Лидии Слонимской «Блокада» пропитана смертью. Она кроется в каждой детали, в каждой картине, которую автор не рисует, а вспоминает (это самое страшное!) — начиная с описания зимнего быта на Дворцовой, когда почти всё время и силы приходилось тратить на поиск воды (порой даже испорченной керосином от проехавшей мимо машины), и заканчивая гибелью единственного сына. Лидия Слонимская сумела его эвакуировать из блокадного Ленинграда, но не смогла вытянуть блокаду из его тела — голод не всегда убивает сразу. Матери удалось, несмотря на все сложности и препятствия (особенно бюрократические), переехать в Москву — совершенно другой мир. «С маленькими чемоданчиками в руках мы двинулись в город и прежде всего спросили, нет ли тут поблизости рынка. Рынок был. Кое-как мы до него доплелись, купили цельный белый хлеб, сырых яиц, помидор и тут же жадно стали есть. У нас был такой вид, что, проходя мимо, люди останавливались и глядели на нас с жалостью».

Здесь важно отметить, что Лидия Слонимская вышла из аристократов. Она была не только талантливым переводчиком, познакомившим советского читателя с произведениями Майн Рида, Джека Лондона, Теодора Фрэнсиса Поуиса, Оноре де Бальзака, Эмиля Золя, Ги де Мопассана, Жюля Верна, Дэвида Гарнетта, но и потомственным литератором — её мама была внучкой О.С. Павлищевой, родной сестры А.С. Пушкина (мужем её,

кстати, стал известный пушкинист — А.Л. Слонимский). То есть в ней текла кровь человека, создавшего современный русский литературный язык, — и это вдвойне страшно, когда понимаешь, что автор «Блокады» прошёл часть жизни не сидя за письменным столом в загородной усадьбе, а стоя на морозе с шести утра до восьми вечера, чтобы получить последнюю горсть муки.

Страшно, что культурный слой, веками накапливавшийся в Петербурге, оказался погребён под бомбами и обледенелыми трупами. Но Лидия Слонимская всё равно осталась верна своему предназначению. Она не смогла спасти сына — но сохранила своё прошлое в тексте, тем самым создав будущее. Несмотря на описанные нечеловеческие условия жизни, «Блокада» Лидии Слонимской — это не просто история выживания, но и история сохранения памяти. Так, в 1993 году издательство «Пушкинского фонда» выпустило «Дневник Надежды Осиповны и Сергея Львовича Пушкиных в письмах к дочери Ольге Сергеевне Павлищевой. 1828—1835», подготовленный Лидией Слонимской (перевод, предисловие, комментарии). Этот труд она не смогла издать при жизни, но письма, которые легли в его основу, были спасены ею в блокадном Ленинграде и чудом вывезены в Москву. Посвящён дневник «памяти сына Владимира Александровича Слонимского, погибшего 3 июля 1944 г. в Москве жертвой блокады Ленинграда — последнего в роде Ольги Сергеевны Пушкиной-Павлищевой». Всего одно короткое предложение. Но оно наводит на размышления.

Нападение нацистской Германии на нашу страну и последовавшие за ним несчастья, в том числе блокада Ленинграда, нанесли серьёзный урон не только населению, генофонду, счастью каждой семьи — они и уничтожили многое из того, что хранила литература. Окончательно пресёкся древний, существовавший многие века род. Погибли молодые люди, которые могли бы сделать очень много хорошего, использовать свой талант, доставшийся от предков, во благо. Если задуматься, если бы не было Великой Отечественной войны, то история нашей страны пошла бы по дру-

гому пути. Были бы другие внешне- и внутриполитические события. Другой опыт. Другая литература — возможно, тех писателей, которых мы знаем ещё со школьных времён, просто бы не было. Были бы другие имена, другие произведения, другие люди. Другой мир. О котором, конечно, можно только фантазировать. «Нет на свете худших занятий, чем быкать и перекобыльствовать», как сказал бы на это один из героев рассказа А.И. Куприна «Последние рыцари».

«Блокада» Лидии Слонимской — это хорошо структурированный, наполненный страшными деталями поток сознания, чувств, переживаний, отрывков из писем, оценок происходящего и искреннего желания выжить. Эта рукопись могла бы потеряться в архивах, если бы не серьёзный труд библиографа Татьяны Акуловой, сумевшей получить разрешение хранителя документа М.Г. Бурачковой, родственницы Слонимских, и наполнить «Блокаду» многочисленными сносками, которые помогают лучше погрузиться в контекст и ещё яснее осознать ужас того, что рассказано на страницах книги. Это, конечно, стало возможно благодаря редакции журнала «Звезда», подготовившей текст к публикации и заново открывшей российскому читателю имя выдающегося переводчика, сумевшего пережить блокаду Ленинграда и рассказать о ней.

«Приблизительно в это же время упала бомба в Зоосад и убила любимую всем городом слониху. Часть животных успели, кажется, раньше вывезти, оставшиеся погибли с голodom, частью были съедены».

Казалось бы, два простых предложения — и сводящий с ума ужас, затаившийся в них. Простые, ровно идущие друг за другом слова, которые пугают сильнее, чем многие придуманные сюжеты. Вообще «Блокада» представляет собой наглядное подтверждение того, что литература — это далеко не только один стиль. Это материал. Это пережитое. Это смысл, который автор хочет донести до читателя. И для того, чтобы его передать, часто самые верные слова — простые.

Александр РЯЗАНЦЕВ

ОТРЫВКИ ПАМЯТИ

Яков Гордин. Взгляд и нечто. — «Звезда», 2024, № 1, 3, 5, 7, 9, 11.

В прошлом году петербургской «Звезде» исполнилось сто лет. В этом девяностолетие должен отпраздновать Яков Гордин, с первых послесоветских лет возглавляющий редакцию журнала совместно с Андреем Арьевым. Очевидно, двойному юбилею и была посвящена публикация автобиографических «отрывков» под общим заглавием «Взгляд и нечто», печатавшихся на протяжении всего 2024-го в каждом нечётном номере «Зезды».

В роли вдохновителя невольно выступил главный редактор «Знамени» Сергей Чупринин, точнее, его книга «Оттепель. Действующие лица», разбредившаяся, по словам Гордина, «память о баснословных временах», ведь со многими «действующими лицами» нынешний соредактор «Зезды» был лично знаком. В том числе и с теми, чьи имена в книгу Чуприна не вошли. Литераторов, которым в «Оттепели» не нашлось места, Гордин перечисляет с намёком: а стоило бы, а должны быть. Однако в подобную ловушку наверняка доводилось попадать каждому критику и литературоведу, составляющему те или иные списки в своих штудиях. Я сам пять лет назад оказался в аналогичной ситуации со статьёй «Молодые десятые». После её выхода меня не раз спрашивали, почему одних начинающих прозаиков я в тексте упомянул, а других проигнорировал. Звучали доводы, что писателя *N* нужно было вычеркнуть, а писателя *X* добавить. И для каждого собеседника *N* и *X* были разными, каждый называл свои имена. Так и в случае с книгой Чуприна: будь у неё другой автор, список персонажей явно бы частично отличался.

А ещё кое-что в очерках о «действующих лицах» Яков Гордин хотел бы уточнить. И у него есть чрезвычайно важные «свидетельские показания». Например, о Фёдоре Абрамове, ставшем одним из центральных персонажей первого «отрывка» из цикла «Взгляд и нечто». Если продолжать судебные аналогии, то Гордин выступает в роли адвоката Абрамова. Прекрасно зная о личностных недо-

статках писателя и прямо подтверждая, что тот в аспирантские годы действительно участвовал «в травле своих профессоров. В том числе и непосредственного своего учителя Григория Александровича Гуковского», он всё-таки находит для него слова защиты. Соредактор «Зезды» приводит доказательства, согласно которым Абрамов не имел отношения к аресту Гуковского. Но главное — личное общение. Гордин вспоминает, как однажды, общаясь с Абрамовым «о незащищённости писателя в советском мире», обронил: «Ну вам-то, Фёдор Александрович, опасаться нечего. Вы лауреат, член большого секретариата и так далее...», на что получил многое объясняющий ответ: «Всё так... Но если я рыпнусь всерьёз, они раздавят меня, как вошь!». Ценный штрих к портрету советского писателя! Любопытно, что во втором «отрывке» из цикла «Взгляд и нечто» Якову Гордину приходится вносить уточнения в чужие слова уже о собственной персоне. В воспоминаниях Марины Ефимовой (Рачко) фигурирует «молодой человек с офицерской выпрской». Так при первом знакомстве она оценила будущего соредактора «Зезды». Но многое из написанного о себе Гордин опровергает. «Мне неизбежно приходится обращаться к мемуарным источникам, и вот тут необходимо по мере возможности выявлять плоды „ложной памяти“ у вполне добросовестных мемуаристов. Кроме того, у людей литературно одарённых в дело вмешивается неукротимый творческий импульс».

В своих же мемуарах Яков Гордин хочет говорить только о том, что реально происходило, — и никакого художественного «украшательства». Впрочем, сперва от жанра мемуаров он откращивается: «То, что представлено читателю, — не мемуары. Это скорее автобиография, где, по сути, существенно одно только действующее лицо — автор. Остальное — активный фон, отражающая плоскость. Нечто под взглядом автора». Тем не менее во втором «отрывке» сам же осторожно причислит «Взгляд и нечто» к жанру «свободного мемуара», к концу же третьего прямо назовёт написанное мемуарами. От жёсткой структуры «отрывков» цикла Гордин

тоже постепенно отходит. В первом — два главных героя: Фёдор Абрамов и его «прямой антипод» Леонид Рахманов. Во втором — снова два ключевых действующих лица: Лидия Гинзбург и Александр Гладков. В третьем автор делится идеей сопоставления «двух глубоко нетривиальных персонажей» — Павла Громова и Рида Грачёва, однако тропки памяти всё сильнее начинают расходиться. Заключённая в гранит река выходит на свободу. И это прекрасно. Наверное, воспоминания и должны быть хаотичными, когда даже сам мемуарист не подозревает, за какой крючок из прошлого зацепится в следующий миг. О природе памяти Гордин будет размышлять чуть ли не во всех «отрывках». То констатирует факт: «Не стану утверждать, что у меня идеальная для вспоминателя память. Ничего подобного. Много провалов. Но какие-то ситуации запомнились почти фотографически. Зрительно. Чего не могу сказать о разговорах», то делится удивлением: «Вообще неожиданно выныривающие из бумажных залежей письма разных лет из разных мест убеждают меня в своеобразии механизмов памяти. Я начинаю понимать, что жил много лет назад не совсем той жизнью, которую могу сегодня воспроизвести без опоры на конкретный материал... И я пытаюсь вспомнить себя совсем молодого — и проверить своим тогдашним опытом самоощущение авторов писем».

Письма становятся существенным источником, опорой для автора. Многие из них Гордин частично или полностью цитирует. Переписка с друзьями и коллегами — дело привычное. Когда-то речь шла о бумаге, теперь же всё ушло в интернет. Задержаться же хочется на том, что сегодня исчезло практически полностью, — обстоятельных письмах-откликах читателей на журнальные публикации. За шесть лет моей работы в редакции «Знамения» с подобным столкнулся лишь однажды. Отлично помню то написанное от руки письмо, поступившее из глубинки, которое меня просили передать автору статьи, вызвавшей у читателя желание высказаться. А ведь раньше такое было в порядке вещей! Приведу цитату из письма Гордину 36-летней давности: «Побудила меня

взяться за ручку Ваша статья о поэте Иосифе Бродском („Нева“, № 2, 1989). Я внимательно прочёл, ещё раз прочёл, и так грустно стало, печально, криво, одиноко. Будто сам заново пережил тот день, когда меня — 5 лет назад — вот так же, как И. Бродского когда-то, по-зорили „за тунеядство“... Мне уже 26 лет... Живу у приятеля „на кухне“ и ничего уже не хочу, кроме того, чтобы выстрадать — до конца то, что у меня пытались отнять и отняли: веру... Я, наверно, сломался, сдал характером... Потому и оставил то, за что был безжалостно наказан: за любовь к поэзии... И вот после Вашей публикации вдруг увидел: и люди, и справедливость живы, может, ещё раз... Словом, снова принялся за работу. Как бы ожил. Написал несколько небольших циклов, поэму, понемногу вернулся к испанской». Вот оно — настоящее, живое!

И литературные журналы живы. Естественно, цикл «Взгляд и нечто» рано или поздно выйдет отдельной книгой. Но что-то совершенно точно окажется отредактировано. Так, думается, может исчезнуть постскриптум к отрывку из № 5 и фрагмент из № 3, заставивший Гордина это вынужденное послесловие написать: «В предыдущем „отрывке“... я привёл рассказанную мне „свидетелями“ более полуверса назад историю о том, как незадолго до своей смерти Павел Петрович Громов попытался скечь свои рукописи непосредственно в квартире. Мне это показалось правдоподобным, поскольку я видел „костище“ — прогоревший паркет... Сейчас выяснилось, что это не более чем литературный миф, а „костище“ появилось, соответственно, при неизвестных обстоятельствах уже после смерти хозяина квартиры...» Вот вам и «ложная память» мемуаристов, с которой Гордин боролся до этого. Сам в ту же ловушку и попался. Но я это говорю совершенно без ёрничества. Напротив — такого рода истории идут тексту лишь на пользу. А дальше уже дело за нашими потомками, которые, хочется верить, сложат воедино воспоминания всех свидетелей и разберутся, где чистая правда, а где приукрашенная.

Журнальные архивы помогут.

Станислав СЕКРЕТОВ

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ

БУДНИ КАЛЛИГРАФА

Ито Огава. Канцтовары Цубаки / Пер. с яп. Д. Коваленина. СПб.: Polyandria NoAge, 2023.

Удивительно, но в Японии, стране с очень высокой плотностью населения, где все буквально сидят друг у друга на головах, очень распространен жанр так называемой повседневности. В таких произведениях ритм повествования всегда очень размежеван, а герои занимаются тем, что готовят дома выпечку и ходят на фестивали. Подобное было бы возможно только в очень спокойной малолюдной обстановке. Тем не менее такой жанр очень популярен, и именно такую книгу написала Ито Огава. Переводчик Дмитрий Коваленин в предисловии сразу предупреждает, что ее роман «Канцтовары Цубаки» вовсе не о гейшах и убийствах и не о супергероях, поэтому любители остротюжетного чтения могут пройти мимо. Вместе с тем этот роман, несмотря на чрезвычайную прозаичность повествования, является — не побоимся этой похвалы — важным посланием не только для современной Японии, но и для всего современного человечества. Он посвящен искусству эпистолярного общения между людьми, которое практически ушло с наступлением компьютерной эры. После прочтения этой книги читателю станет понятно, что написание письма — это действительно искусство, где есть миллион нюансов и мелочей, освещенных многовековыми традициями. Чтобы хоть что-то в этом понимать, нужно учиться с детства.

Таким специалистом по написанию писем является главная героиня по имени Хатоко Амэмия. Ей всего 25 лет, но она уже является сложившимся мастером-каллиграфом и знает о письмах почти все. Она никогда не знала своих родителей и с младен-

чества воспитывалась у Наставницы, которая ей вроде как родственница и одновременно нет. На этот счет информация в книге противоречива. То, что Хатоко полжизни считала эту женщину своей бабушкой, девушка называет заблуждением, а в другом месте один раз говорит, что Наставница была материю ее отца. Известно также, что Наставница в возрасте одного года вместе с сестрой-близнецом была отдана в семью Амэмия, поэтому, может, и нет никакой родственной связи.

Так или иначе, Наставница заменила Хатоко родителей. С младенчества она учила девочку тому, что та является потомком древней династии каллиграфов, которые в Средние века были очень уважаемыми людьми. Они писали письма для аристократов и даже властей предержащих и были вхожи в их внутренние покой, становясь своего рода доверенными лицами. Поэтому Хатоко просто обязана освоить это древнее искусство и продолжить традицию. В результате девочка лишилась всех радостей детства и вместо этого каждый день училась красиво выводить иероглифы. Все ее одноклассники на летние каникулы отправлялись кто в горы, кто на море, и только она сидела дома за каллиграфией. Наставница даже запрещала Хатоко пить колу и есть фастфуд. Это не могло не привести к подростковому бунту, когда Хатоко перешла в среднюю школу. Хатоко обозвала Наставницу ведьмой и в одночасье превратилась в «гангуро» — это японская женская субкультура развязных девчонок с вызывающей внешностью.

Когда Наставница умерла, Хатоко уже вступила в сознательный возраст. Она решила сбежать из Японии и оказалась за границей. Там она впервые осознала, что навыки, которым ее обучали дома, на самом деле ценные, и начала зарабатывать написанием красивых иероглифов для западных обывателей, помешанных на Японии. Потом пришло известие, что умерла и тетя Сусико (та самая сестра-близнец Наставницы), и произошло то, что чего Хатоко так боялась, — она унаследовала семейный магазин «Канцтовары Цубаки». Пришлоось вернуться в Японию.

Заведение это весьма старомодное. Приходят сюда в основном школьни-

ки, да и то порадовать их удается не всегда. Например, Наставница в свое время принципиально отказывалась продавать механические карандаши со сменными стержнями, считая их слишком легкомысленным капризом моды, так вот Хатоко и после ее смерти лень что-то менять. Конечно, можно было бы обновить ассортимент, привлечь не только школьников, но и взрослых людей, но Хатоко просто не хочет этим заниматься. В целом дела плохи. Место непроходимое, клиентов мало, да и еще Хатоко в Новый год открывается только 4 января, хотя другие заведения Камакуры, где происходит действие, работают уже с 1 января. Юная владелица магазина понимает, что дело идет к разорению. Тут еще и родственники стали заявляться с просьбой продать магазин и на его месте построить что-нибудь приносящее прибыль. Удивительно, но Хатоко против. Это та самая Хатоко, которая ненавидела Наставницу, да и магазин тоже. Причина же в том, что парадоксальным образом она полюбила традиции, связанные с этим домом, и для нее это бесценно. Зарабатывает она мало и, хотя и ходит почти каждый день ужинать в рестораны, позволить себе жареного угря, например, не может. Выручают только заказы на каллиграфию, и вот здесь читатель знакомится с уникальным феноменом японской эпистолярной культуры.

К Хатоко обращаются с разными просьбами. Кому-то нужно уведомить друзей о разводе, другой хочет написать рабочее письмо, третий желал бы сообщить о разрыве дружбы. Объединяет их одно: сами они написать не могут, просто не умеют подобрать слов. Более того, в романе даже описан случай, когда в семье возник конфликт по причине того, что у человека был скверный почерк. Хатоко же подходит к делу серьезно и профессионально. Письмо — это не только текст. Это еще бумага, чернила и конверт. Во всех этих тонкостях молодой каллиграф разбирается как никто другой. Российского читателя наверняка поразят обилие имеющихся здесь нюансов. Например, письма с соболезнованиями пишут полупрозрачной тушью, чтобы казалось, что написанное разбавлено слезами. При этом в письме

ни одно слово нельзя использовать дважды, а рядом с именем усопшего нельзя упоминать звания и титулы — смерть не любит окончательных умозаключений. Некоторые письма позволительно писать только пером или ручкой определенной марки (изготовленной при этом сто лет назад), а для других следует брать в качестве бумаги так называемый «овечий пергамент», лучшие образцы которого делают из кожи мертворожденных телят.

Впрочем, можно сказать и сверх того. Написание письма — это даже больше, чем текст, бумага, чернила и конверт. Это ни много ни мало духовно-телесная практика. Наставница учила Хатоко, тогда еще ученицу начальной школы, чтобы та, выводя иероглифы, держала спину прямо и следила за дыханием. Девушка и теперь относится к своему ремеслу очень серьезно. После написания письма она отправляется в город перекусить и расслабиться, потому что если не расслабится, то может не уснуть. Это значит, что и дух, и тело во время такой работы пребывают в большом напряжении. Один раз она прямо говорит: чтобы быстро и легко написать письмо, нужно быть в хорошей физической форме.

Но Хатоко не только пишет письма, она еще и провожает письма, написанные другими, так сказать, на тот свет. В Японии мало его просто порвать и выбросить, все обставлено целым ритуалом. Во внутреннем дворе дома Хатоко есть специальный камень-алтарь, называемый «фумидзука», где сжигают письма. В семье Амэмия этот алтарь почитался выше самого Будды. Так вот, теперь она сжигает здесь письма других людей, когда к ней обращаются с такой просьбой. При этом у Хатоко совершенно нет навыков маркетолога. Она не стремится рекламировать свои услуги, и о том, что она пишет и сжигает письма, знают лишь немногочисленные соседи. Даже более того: Наставница год за годом вколачивала ей в голову, что каллиграф — это Воин Тени, который берется за любой заказ от любого клиента. А Хатоко однажды отказывается писать письмо для человека, когда узнает, что он литературный редактор. По ее мнению, даже самый неопытный редактор должен уметь работать

со словами, поэтому пусть сам и пишет письмо. Это был тот редкий случай, когда Хатоко вышла из себя.

А ведь ремесло каллиграфа действительно переживает не лучшие времена. Наставнице приходилось уже опускаться до того, чтобы писать меню для ресторанов. И это притом что она до последних дней жизни совершенствовала свои навыки. Юная Хатоко этого не понимала. Даже если бы и были постоянные заказы на письма, зачем вообще этим заниматься, если это сплошное притворство? С возрастом, конечно, ее мировоззрение поменялось. Хатоко отошла от бунтарства юности. Да, школьные годы она потратила на занятия каллиграфией и сейчас не может припомнить ничего радостного из тех времен. Были, конечно, редкие и очень кратковременные моменты счастья, и справедливости ради отметим, что она о них не забывает. В юности она едва ли испытывала горячую любовь к Наставнице, но после ее смерти по-прежнему ощущает присутствие этой женщины. А главное, она пришла к своего рода высшему смириению. Сегодня она безмерно благодарна тем, кто ее родил, оберегал и растил. И особенно Наставнице. Бунты юности ушли полностью, потому что теперь, хотя она не набожна и не суеверна, Хатоко всегда выполняет синтоистские ритуалы и часто заглядывает в храмы по случаю праздников. Сейчас Хатоко, по-видимому, не хочет отказываться от своего редкого ремесла и задумывается о моральной стороне вопроса. Писать письма, чтобы помочь людям стать счастливее, это по-

нятно. А как насчет писем, которые могут или должны причинить боль?

«Канцтовары Цубаки» — это мягкая, неторопливая и почти медитативная проза об искусстве написания писем. Вместо острого сюжета здесь описание будничной жизни японцев, в которой по-прежнему играют огромную роль ритуалы и обряды, привязанные к течению года. Вот и Хатоко обращает внимание на приметы времен года. Лето начинается, когда кончаются слиновые дожди и становится слышно верещание цикад. Сверчок, попавший в дом, принес осень. Похрустывание инея — зиму. Чириканье воробьев — весну. Хатоко ведет размеренную жизнь и не страдает от потрясений. Но и у нее, всего лишь 25-летней, уже есть осторожный вопрос к судьбе: а в чем же счастье? У Хатоко есть ощущение, что чего-то в ее письме недостает, то ли легкости, то ли тяжести. Эта легкая неудовлетворенность, разумеется, не доводит ее до нервных потрясений, но способна напомнить ей о собственном несовершенстве. Ее рассказ о себе — это спокойное повествование человека, который победил страсти и поставил привычку выше счастья. Да и смысл ее жизни совсем не связан с эгоистическими желаниями. Составляя письма, она ни много ни мало хочет понять других людей. И в этом, несмотря на небольшой возраст, заключается ее зрелость. Одно плохо в прекрасном русском переводе этой книги. Посвященная искусству письма, она издана, да простят меня читатели, на туалетной бумаге.

Сергей СИРОТИН

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Субстанция (2024). Реж. Корали Фаржа. Производство: Великобритания, Франция, США.

Так называемые треш-фильмы всегда проходили в качестве кино категории Б. Это значит, что к ним не было высоких требований в плане качества актерской игры и сюжета, а визуальная сторона могла быть вообще вызывающей и неприемлемой для широкого зрителя. Таковы были, например, фильмы американской студии «Трома». Кровь, раны, гной, увечья — вот что показывалось в фильмах этой студии, что называется, крупным планом. Причем все это было не вспомогательным приемом, позволяющим сделать серьезное высказывание, а самоцелью. Но, как известно, андеграунд и малая культурная традиция иногда становятся мэйнстримом. Именно это мы наблюдаем в фильме «Субстанция», который претендует на «Оскар» в 2025 году. Здесь нужно правильно расставить акценты, правда, сделать это непросто. С одной стороны, этот фильм содержит яростную критику западной погони за вечной молодостью. С другой, завершается он тем, что зрителей в прямом смысле поливают потоками крови. Так что это, алармизм или глумление?

Обрисуем в двух словах сюжет, чтобы было понятно, о чем речь. Деми Мур играет немолодую кинозвезду по имени Элизабет Спаркл. Некогда Элизабет блистала на сцене, но времена большой славы в прошлом, теперь она довольствуется тем, что ведет телевизионное фитнес-шоу. Для женщины за 60 у нее совершенное тело, и шоу пользуется популярностью. Но руководству канала нужно любой ценой еще повысить рейтинг, поэтому Элизабет объясняют, что лучше ей уйти на покой и заняться кулинарией, а на

ее место возьмут кого-нибудь гораздо моложе. Элизабет в шоке, для нее это смерти подобно. И тут она узнает, что есть технология клонирования, когда всего один укол позволяет твоему телу породить улучшенную версию тебя. После недолгих колебаний Элизабет решает сделать этот укол и ввести в свой организм субстанцию. Здесь и начинаются элементы треша. Из огромного и уродливого разреза на ее спине появляется обворожительная девушка, которая называет себя Сью. Она молода, сильна и амбициозна, поэтому легко выигрывает кастинг на фитнес-шоу, с которого выгнали Элизабет. Руководство канала и инвесторы в восторге от нее, рейтинги зашкаливают, зрители хотят видеть ее днем и ночью. Ей даже предлагают вести новогоднее шоу — вот до чего доходит ее популярность. Но есть одно но.

Прежде чем Элизабет согласилась на укол, ей объяснили, что старая Элизабет и молодая Сью — это один и тот же человек. И им необходимо меняться. Неделю «живет» Сью, пока Элизабет пребывает в отключке, а на следующую неделю они меняются местами. Из этого правила не может быть исключений. Но как же Сью может думать о полумертвом теле Элизабет в своей ванне, когда ее молодая жизнь так прекрасна? Забывая о том, что Элизабет тоже нужно давать «пожить», Сью начинает сталкиваться с побочными эффектами, которые тоже оформлены в треш-стилистике. В этом и заключается интрига. У Сью на носу новогоднее шоу, для нее это смысл жизни, но ей нужно уступить место Элизабет. Подчинится ли она инструкции или, наплевав на нее, реализует себя по максимуму?

Создатели фильма признавались, что вдохновлялись романом Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Действительно, сюжетные идеи очень похожи. Дориан Грей оставался вечно молодым и предавался порокам, тогда как его портрет впитывал всю мерзость распутной жизни. Так же и здесь. Пока Сью блестит на шоу и хочет, нарушая правила, все большее времени проводить в молодом теле, организм Элизабет начинает буквально разлагаться. Совсем несложно понять, к чему ведет такой сюжетный замысел. Погоня за молодостью — это

самоцель западного мышления. Молодость и карьера — это абсолютные ценности, ради которых не жалко никаких средств. Элизабет Спаркл всю жизнь делала ставку на свое тело, как будто искренне не понимая, что молодость не вечна. За годы успеха она оказалась не способна подготовить себя ни к какой альтернативной деятельности. Если она не видит себя на экране, она считает себя никчемной неудачницей. Но разве не нужно иногда просто остановиться и задуматься? А может, есть другие ценности? Разве покой достойной старости не заслуживает уважения? Если бы создатели «Субстанции» хотели донести до нас только эту мысль, возможно, треша в фильме было бы поменьше. В итоге же впечатление складывается другое: режиссеру и сценаристу важно не предостеречь нас, а упиться местью тем, кто не понимает предостережений.

Сама идея о том, что мы можем и должны быть улучшены в некую более совершенную версию, отражает нашу глубокую неудовлетворенность тем, что мы собой представляем. Западная цивилизация — это цивилизация вечного недовольства и желания сделать лучше. Старости здесь места нет, это позорный стыд, ее просто не должно быть. Кажется, что избавиться от нее могут помочь современные технологии. «Субстанция» доводит эту мысль до логического предела. Не нужно никакой долгой работы над собой — все результаты достигаются после простейшей операции, обычновенного укола. Но фильм учит нас: горе тому, кто поверит в эту технологию, потому что у нее есть побочные эффекты.

Ошибка Сью в том, что она, так сказать, плохо читала инструкцию. В ней было ясно сказано, что Сью и Элизабет — это одно целое, но именно это и оказалось для молодой девушки неприемлемым. Поначалу она испытывала стыд за старую версию себя, а потом воспылала к ней ненавистью, пожелав убить Элизабет. «Субстанция» — это скорее развлекательное кино с кровавыми сценами, но в основе его лежит фундаментальная идея о балансе черного и белого в нашем мире. Не только невозможно все время пребывать на белой полосе,

но даже стремиться к этому не нужно, потому что, убирая черное, наоборот, погрузишься в бездну мрака. Режиссер не придает этой идее ярко выраженной формы, но она ясно считывается. Многие великие психологи говорили о том, что с темной стороной не следует бороться, ее следует скорее интегрировать. Не стоит расщеплять душу, и это было ясно сказано в самом начале — Сью и Элизабет одно целое. Так что Сью заплатила высокую цену именно потому, что выбрала путь борьбы с самой собой. Нетерпимость к старости и уродству — это отрижение человеческой природы, а вечный мир молодости бывает только на телевизорах, но не в жизни.

Если посмотреть с другой стороны, то «Субстанция» рассказывает нам о том, что любая даже самая совершенная технология имеет недостатки. Это мы знаем из медицины: любое лекарство имеет побочные эффекты. Даже более того — чем эффективнее лекарство, тем сильнее побочные эффекты. В этом фильме технология возвращения молодости кажется просто изумительной, сплошная радость и никаких слез. Но это только на поверхности, а в глубине запускается процесс не просто старения, а уже разложения. В общем, принцип действия у «субстанции» оказывается банально наркотическим. Поначалу быстрый эффект и эйфория, а потом долгая и мучительная расплата. Человеческий организм просто не предназначен для жизни в вечной эйфории. Если ты живешь в постоянной и беспредельной радости, значит, где-то крадешь внутренние ресурсы, которые однажды тебя полностью истощат. За молодостью Сью стоит полуторуп Элизабет в ванной. А разве можно построить счастье, скрывая в ванной полуторуп?

И все же создатели «Субстанции» в угоду кровавому зреющему явно переусердствовали с наказанием для Сью и Элизабет. Вроде бы этот фильм действительно учит нас смирению и принятию старости, но делается это вовсе не в миролюбивой манере психологического кино, а через жестокое устрашение. Поэтому ближе к концу становится совершенно понятным замысел режиссера и сценариста. Он состоит в том, чтобы эффектно и чрезвычайно мучительно наказать

человека, который отрицает себя. Не научить, не раскрыть глаза на свои ошибки, а превратить в монстра, на которого приходится смотреть в зеркале и безмерно страдать. Это даже не назидательное кино, это пляска на кровавом карнавале.

А вот стоило ли вообще так жестоко наказывать Элизабет? Ведь ее можно понять. Остается только догадываться, каких усилий ей стоило поддержание фигуры в таком возрасте. Наверняка вся ее жизнь состояла из тренировок и диет, по сути, аскезы. Разве это не достойно уважения в нашем мире соблазнов? Почему мы должны осуждать ее желание не уходить с экрана? Любой психолог скажет, что человеку чрезвычайно важна самореализация, а вот когда ее нет, может наступить депрессия. Что плохого делает Элизабет, подавая пример тысячам женщинам следить за здоровьем? Да и вообще почему мы должны

считать неправильным культ вечной молодости, ведь быть молодым быть прекрасно? Безусловно, современная цивилизация просто маниакально зациклена на этом культе и не видит других радостей в жизни. Известны истории женщин, которые хирургически удаляют себе часть желудка, чтобы меньше есть и не полнеть. Но идеалы в нашем таком неидеальном мире тоже нужны. Они мотивируют и несут жизнеутверждение. Лучше всего, конечно, было бы найти баланс между стремлением к молодости и признанием своего возраста. Только вот создателям «Субстанции» такой баланс не интересен. Их задача состояла в том, чтобы ввести треш-эстетику в культуру большого кино. Эта задача, безусловно, выполнена, но без малейшего сожаления к человеку, которому иногда свойственно ошибаться.

C.B.C.

Андрей Першин
Цветущая древность

В сердце унёс бы! нет, тенью бежит!
Ближе посмотришь — это жизнь.
Я возьму эту прелесть неумелой рукой,
Древность порадую новой весной.

Бяошэн (837–908), «Поэма о поэте»

Яркий свет не воспринимается без сгущения тени. Чтобы увидеть, мы должны не только устраниТЬ, но и выстроить какие-то преграды. Через закопчённое стекло посмотреть на затмение. Или догадаться, что маленькая дремучая звезда — ослепительна. Догадаться, значит, и отделиться от реальности своего открытия всей окружающей видимостью, как закопченным стеклом, выглянуть за край осязаемого. В этом смысле весь мир предстаёт оптической системой, и в платоновских пещерах, и в глубинах глубин будто коренится новая ясность, невозможная прозрачность. Если «время — рас-tение, состоящее из одного корня», как выразился поэт Аркадий Тюрин, то прозрачность коренится и в самом времени, как в пещере. Для поэтического воображения такая инверсия выглядит совершенно естественно. Препятствие, даже в виде времени и мира, выступает свидетельством и множителем яркости того, что сквозь него слабо пробивается. Вот почему Джармен мог назвать тень — королевой цвета или совсем буквально обобщить свои интуиции: «Чем дальше отстоит от нас цвет во времени и пространстве, тем ярче он горит». Горит или взывает, влечёт и запечатлевает, как у современного китайского поэта:

Драгой со дна реки подняли
много черепков старинных.
Едва видны на одном очертанья
усадьбы и парка...
Не знаю, куда подевался тот парк,
но всю его благодать сохранил один
небольшой обломок фарфора.

(Чэнь Дун, «Обломки древнего фарфора», из переводов Б. Мещерякова и Гу Юя)

При беглом взгляде удивительное лишь слегка мелькает в банальном и рутинном. Парадоксально, но именно привычный порядок вещей составляет оптику чуда. Оказывается, чудо знакомо с нами гораздо лучше, чем мы с ним. Узнать или вспомнить? Древность подбрасывает следы, но у древности нет символов, потому что и символы для неё лишь завеса.

С бурной реки теченьем
сравнивай что угодно —
не сравнимы ни с чем останутся
камни на дне её.

(Мати Тавара, перевод Дмитрия Коваленина)

Далёкое и близкое обмениваются тьмой и тенью, пока свет стоит, всё наполняется. Явно или неявно древнее торжествует в своём постоянстве посредством случайных вещей. Пускай знание как свет, но тогда оно не имеет облика, незнание как тень и тревога, но пластично и подчас определяет форму. Жизнь будто течёт между этими берегами, а без них невозможна. И одного любого берега — недостаточно.

Опять любви светила проплывают
над головами нашими туманными,
а мы сидим на разных берегах
в неведенье. И кажется естественным,
что я тебя не видел никогда,
что вдруг ты возникаешь в древнем свете.

Желанье? Сожаленье? И желанье,
и сожаленье, тот же горький жар.
Астральное вино пылало солнцем
расплавленным, и ты пила глотками
и вглядывалась в слепоту пейзажа.

(Марио Луци, перевод Е. Солововича)

Жизнь соприкасается с сиянием древности и сама же ищет точки этого соприкосновения, будто в самом свете она хотела бы отразиться. В жизни хочется встретить вечное и прекрасное, не подвластное времени, но в вечности жизнь хочет встретиться с жизнью. Тот же горький жар, да.

В отличие от вечности, древность не лишена ощущимой витальности. И это также одна из тайн поэзии. Тех самых, что всегда на виду. Древность жива, то есть и внутренне последовательна. Во многих случаях догадку о целостности жизни и опыта, об их последовательности, превосходящей всевозможные бытовые измерения, называют судьбой, кармой, Путём и пр. Разве судьба природы не в том, чтобы каждую весну оживать и обновляться? А судьба поэзии? Благодаря древности и поэзия цветёт. Смеющийся и плачущий, «аленький» или маленький, невидимый, чудесный, вянущий, как в коане, — кажется, цветок поэзии может быть любым и может быть только живым. Непоэтические «Комментарии» Витгенштейна полны поэтических метафор: «...цвет светится в своём окружении. Так же, как и глаза улыбаются лишь на лице». Иногда нужно сделать шаг в сторону, чтобы рассмотреть необычайное. Иногда необычайное — это наконец рассмотреть обычное. «Лицом к лицу лица не увидать»? Сойти с дороги ради цветов, как завещал Ван Гог.

В качестве шага в сторону предлагаю соотнести два казуса не поэзии, но, скажем, истории архитектуры. Каждый из них позволяет освежить взгляд на внутреннюю трансмиссию древности, ощутить её слабый пульс, а вместе они, возможно, послужат иллюстрацией разницы между действительным осмыслением и символической преемственностью. Разница эта чрезвычайно важна и для поэзии, ведь речь идёт о слитности опыта или, напротив, его разрыве, отмене за счёт метафорической переадресации... В 2009 году отдел исторических памятников Министерства культуры Франции утвердил план долгостоящей «реставрации» Шартрского собора. Собор, несколько раз лишь чудом избежавший разрушения, вдруг изменился. Архитектурный критик Джонатан Гленси пишет: «знаменитые тёмно-серые стены, пережившие несколько столетий, были раскрашены и позолочены — в яркие,

ослепительные цвета: кремово-белый, лоснящийся жёлтый и обманку-отделку под мрамор. <...> По словам искусствоведа Адриана Гётца, новое впечатление от витражей в расписных стенах похоже на “показ фильма в кинотеатре, где забыли выключить свет”. <...> Сочетание его священной геометрии, древних камней, пронизанных разноцветным призрачным светом, и ощущения глубокой духовности, которое делало его таким необычным, ныне утрачено навсегда». Вторит подобной оценке и американский критик Мартин Филлер: «такое же безрассудство, как приделать голову Нике Самофракийской или руки Венере Милосской». Команда реставраторов заявляет о воссоздании оригинального декора XIII века. Осколок фарфора со дна реки мог сохранить и вернуть свет прошлого, а здесь, вопреки буквальной попытке это сделать, свет прошлого оказался утраченным. Связь времён прервалась — она требовательна к маршруту возвращений. А вот другая известная история. Отец принца Оттона, первого короля Греции, получившей независимость в 1832 году, Людвиг I Баварский, был истый грекофил. Он верил, по словам Глэнси, «в глубинную чистоту и строгость греческого искусства и архитектуры. Он воображал себе храмы и общественные здания Афин V века белыми, как снег в Баварских Альпах. <...> Именно поэтому монументальная архитектура неогрек, что охватила с конца XVIII века всю Европу и её колониальные владения, включая Америку, оставалась такой же суровой, и да, всё такой же германской». В 1877 году Лоуренс Альма-Тадема впервые выставил свою картину «Фидий показывает фриз Парфенона своим друзьям», Парфенон в этой романтической интерпретации предстаёт красочным. Сегодня уже известно, что в вопросе цвета, декора, настроения древних Афин правы скорее были романтики, а не классицисты. Парфенон, который позже послужит и церковью, и мечетью, и складом, возводили и украшали с 447 по 431 год до нашей эры как пёстрый символ афинского могущества. Ярко раскрашенный барельеф фриза изображал мифические битвы с богами и гигантами, кентаврами, троянцами и амазонками, а само здание было ориентировано на созвездие Гиад, дочерей Атласа. В сравнении с живой пышностью искусства древних Афин, изысканный белый мрамор классицистов напоминает отшлифованные ветрами и дождями белые кости. Ну, или те самые альпийские снега, в которых неожиданно всходят древние семена. Древность — это ещё и лёд, скорлупа сокровенной жизни.

Ива цветёт, погружённая в снег,
Ива должна спешить
Жить здесь как птица, как человек,
Если решила жить.

Жить — значит в талую землю успеть
Бросить свои семена,
Песню свою хоть негромко пропеть,
Но до конца, до дна.

(Варлам Шаламов, «Арктическая ива»)

Древность может быть неподъёмной, непроницаемой. Такая древность — диалектический способ сбросить груз избыточных ожиданий и невыполнимых требований, сбросить не за счёт падения, но одним лишь присутствием перед её стеной, сбросить груз в смысле обнаженности самого факта жизни, как у деревца из стихотворения Варлама Шаламова. Как ива, как птица, как человек, до дна или до неба, — благодаря древности поэзия цветёт, а благодаря поэзии ... может расцвести древность. Не камень на дне реки, не приученный камень храмов и не только горький жар или сожаление. В вечности жизнь хочет встретиться с жизнью, цветок древности — это встреча.

Не счесть, сколько раз разрушались и вновь возникали
жилища, мосты, корабли.
Пускай под лучами, дождями, ветрами
наши кости
белеют, дряхлеют, дробятся,
чтобы новым посевом взойти из земли.
Это будет всегда, это было до нас.
Но сердце встречается с сердцем
один только раз.

В этот миг распрымляются складки пространства,
замирает летучее время
и свершается чудо.
Все песчинки речные становятся каплями света,
позабытая музыка вдруг возникает из ветра,
золотыми становятся птицы,
становятся рыбы живым серебром,
и развеянной жизни крупицы
становятся снова единым зерном.

(Премендра Митра, 1904—1988, «Древнее», перевод Н. Горской, избр.)

Встреча не случайна, но заложена в самой архитектуре восприятия. Мир — это уже диалог. Действительно, витальность, и не только витальность древности, связана с коммуникацией. Долгое время неотъемлемым атрибутом живого казалась подвижность, пока техническая революция, от водяных мельниц и лесопилок до автомобилей и роботов, окончательно не дискредитировала движение в качестве критерия жизни. Теперь уже коммуникация выглядит убедительной отличительной чертой одушевленного существа, но и она под давлением обстоятельств, от всевозможных социальных и культурных практик, выхолащающих её, до современных нейросетей, её имитирующих, теряет этот статус. Лишь в сознательной абстракции, в трансгрессии один разум вправе надеяться на встречу. Верно и обратное, встреча становится трансгрессией. Встреча сердца с сердцем, как в стихах Премендры Митры, или встреча вообще. В мире иллюзий степень реальности встречи всё же выше реальности разобщённых людей. Встреча удостоверяет личность, субъект поверяется трансгрессией. Поэзия, возможно, раньше других искусств и наук интуитивно усвоила это открытие. Цветущая древность помогла ей и в этом.

В древних сказаниях говорилось,
Что в борьбе с цветами никто не смог их победить,
И что если встретишь такой красивый цветок,
Следует издали его обходить.

Я проходил сквозь персиковый сад за холмом.
Неожиданно возникли деревья,
Надевшие красочные маски,
И преградили мне путь.

Стоило лишь ветру подуть слегка,
Как с веток гурьбой
Спрятнули цветочные воины и окружили меня.

Я объяснил им, что мне срочно надо перейти
Реку «Весенний дождь», лежащую впереди,
Но они даже не шелохнулись.
В таких случаях всегда
Надо давать водку, рыбу и песню спеть заодно,
Но мне с трудом удалось уйти,
Рассказав лишь стихотворение одно.

(Сон Чхан Хо, перевод Г.Н. Ли и Мен Суок)

Древность — мечта о равновесии. В идеале любое место, любая вещь или явление это равновесие. Да где же его взять, идеал? Как чувствам, направленным вовне, и сердцу, тонущему в реке, поменяться местами? Встреча внешнего и внутреннего, проницаемость или полное отсутствие их взаимной границы означала бы невероятную свободу. Это уже тревожит, ведь собственная наша телесность тогда выглядит слишком лишней. Как естественно — стремиться внешнее привести в соответствие с внутренним, изменить среду либо отыскать место и дело всецело «по душе». Какая трудная задача быть счастливым! Древнее — это когда внутреннее, а не только внешнее идёт на встречу. В средневековом индийском наставлении говорится: «Всё существует, как дерево в семени, и распространяется вовне, как запах цветка».

Астры — о, дни тревоги...
Облик древней чары возник,
В равновесии держат боги
Чаши весов на миг.

И вновь — золотое стадо
Небес, лепестки и свет.
Что древней жизни надо
Под крылом умирающих лет?

И вновь желанное — въяве,
Хмель, роза и красный восход.
Лето в речной оправе
Следит касаток полёт.

И снова — предположенье,
Но всё уже ясно давно.
И ласточки льнут к теченью
И пьют эту ночь, как вино.

(Готфрид Бенн, 1886—1956, перевод Г. Ратгауза)

«Всегда оставлять несколько слов равновесию, чтобы снова их изобрести», — говорит поэт Клод Руайе-Журну. Встретиться даже с самим собой — значит уже меняться с древностью местами: «Неподвижность того, кто пишет, приводит в движение мир». Подвижный мир полон первородной магии... Маленький хоббит Сэм мечтал встретиться с эльфами. Какова она, цветущая древность? Эта мечта исполнилась самым неожиданным образом, когда он помогал другому хоббиту, Фродо, бежать из дома, как можно дальше от прежней мирной жизни, которую оба так ценили. Как зачарованный слушал Сэм беседы и песни эльфов, сидя у костра в случайном лесном приюте. Наутро эльфов не оказалось, они ушли, а Фродо спросил Сэма, не разочарован ли он. «Мне кажется, моё мнение не в счёт, — задумчиво проговорил Сэм. — Понимаете, они вроде как выше моих нравится — не нравится... Я бы сказал — они другие, не такие, как я воображал. Они и старые, и молодые, и весёлые, и печальные, всё одновременно». Беспринципную радость ощутил Фродо, когда столкнулся с другим вариантом вечно молодой древности, услышав голос прекраснейшей Речной Дочери, Златовики (Goldberry), под кровом Тома Бомбадила: «Так бывало, когда ему приходилось слышать раньше голоса эльфов, но здесь чары были иными: там звёздный свет имел льдистый оттенок вечности, а здесь всё было милее и ближе смертному сердцу, чудно, но не чуждо». Не удивительно, что именно поэзия и мифологическая древность призваны сделать мир Толкина осозаемым и узнаваемым. Немало чудес и в мире обыденном из детских учебников. Целый день вся природа помогала Златовике стирать одежду. А на планете Земля примерно сорок тысяч лет непрерывно шёл дождь, и не просто дождь, а бесконечно отчаянный ливень, наполнивший моря.

Мы ведь старше, чем слова и мысли
В наших венах, будто реки, — ток тоски
Праморя с их пеной образов, их снами
про грядущее — в потоке этом плещут,
ищут узнавания приметы... Голуби

Голуби всемирного потопа за плечом кружат
Птицы, канувшие в глубь такую
нашей памяти
что являются нам только
в снах нежданных и мечтах, дождём омытых

Сотворенье мира непрестанно
в нас и всюду происходит Мы не выбираем
наши мифы Мифы выбирают нас Из мифа
голуби летят с масличной ветвью через бездну
в нас распахнутую

(Стейн Мерен, «Миф», перевод А. Нестерова)

С похожей интонацией, но куда обречённее звучит мысль Аллена Гинзбурга: «Хоть нет здесь у меня жилья, // во снах скитался часто я, // там древний дом найти пытаюсь». Но люди не сны или не только сны. Из-за слабости тел, физических, социальных и прочих ограничений равенство людей не менее разнообразное и гибкое, чем различие. А значит, разнообразна и встреча. Вслед за её пластикой разрастается эмпатический космос, распространяется запах цветка. И вот уже кто-то хочет повторить за Аполлинером, чей мир, кстати, «опутан и поныне античным пламенным дождём» его просьбу. А может быть, это он сам? Ведь яркий свет не воспринимается без сгущения тени. В переводе Натальи Стрижевской просьба (или заповедь) звучит так:

Простите неведенье мне
Простите что правил не знаю древней игры
стихотворной
Я ничего не знаю отныне я только люблю
Я взглядом цветы вновь обращаю в пламя
Божественны мысли мои
И я улыбаюсь тварям которых не я создавал
Но если б однажды тень наконец стала плотью
И явила бы взору все лики моей любви
Я бы склонился перед твореньем своим

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи и не вступает в переписку по поводу отвергнутых материалов.

Рукописи, в которых отсутствуют данные об авторе (имя и фамилия, обратный адрес или телефон), не рассматриваются и не возвращаются.

Все произведения, опубликованные в журнале «Урал», размещаются в Интернете. Если Вы считаете, что публикация электронной версии нарушает Ваши авторские права, просьба заранее предупреждать о Ваших возражениях.

Перепечатка любых материалов возможна только с согласия редакции. Ссылка на «Урал» обязательна.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикаций.

Журналы с полиграфическим браком возвращать в типографию.

Уважаемые подписчики!

Обращаем ваше внимание, что оформить подписку на наш журнал на 2025 год можно по единому индексу 73412:

- на сайтах: <https://www.pressa-rf.ru/> или <https://www.akc.ru/> (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов);

- в отделе продаж агентства ОАО «АРЗИ», направив заявку по электронной почте: Govorkova@arzi.ru или позвонив по тел. (495) 680-99-71 (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов).

А также:

- в любом почтовом отделении через электронный каталог «Почта России». Приходите, называете индекс ПС429 — и вас подписывают!

Подписку на журнал «Урал» можно оформить также в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город» по адресу: Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 130, телефоны: 262-65-43, 262-78-98.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-58576 от 14 июля 2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

**Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»
Учредитель — Министерство культуры Свердловской области**

Главный редактор — Олег Анатольевич Богаев

Редакция:

Сергей Беляков — зам. главного редактора по творческим вопросам

Надежда Колтышева — зам. главного редактора по вопросам развития

Константин Богомолов — ответственный секретарь

Андрей Ильинов — зав. отделом прозы

Юрий Казарин — зав. отделом поэзии

Валерий Исхаков — литературный сотрудник

Александр Зернов — литературный сотрудник

Татьяна Сергеенко — корректор

Юлия Кокошко — корректор

Наталья Бушуева — бухгалтер

Редакционная коллегия:

О. Богаев, С. Беляков, Н. Колтышева, К. Богомолов, А. Ильинов, В. Исхаков

Редакция журнала «Урал»: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24, 4-й этаж
Адреса электронной почты: editor.ural@mail.ru, poetry@uraljournal.ru (для поэзии)

Телефоны:

376-57-49 — главный редактор

376-57-54 — зам. главного редактора по творческим вопросам, отдел прозы, отдел публицистики

376-57-41 — зам. главного редактора по развитию, ответственный секретарь, отдел критики

376-56-25 — бухгалтерия, отдел поэзии

Оформление обложки — Альберт Сайфулин.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии

ООО «Издательство УМЦ УПИ» 620078, Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2

Подписано в печать 18.03.2025

Дата выхода в свет 27.03.2025

Формат 70x108/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 20,6

Тираж 1100 экз.

Заказ № 8068

Цена договорная

Журнал «Урал» в Сети:

**<http://uraljournal.ru/>
http://vk.com/zhurnal_ural**

Электронная версия журнала «Урал» находится по адресу:

<http://magazines.russ.ru/ural/>